

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1976

СОДЕРЖАНИЕ

Фр. Копечный (Брно). О новых этимологических словарях славянских языков	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. П. Сунник (Ленинград). К актуальным проблемам алтаистики	16
Б. К. Гигинейшвили (Тбилиси). Падежная система общедагестанского языка в свете общей теории эргативности	31
М. М. Маковский (Москва). Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке	40
И. П. Иванова (Ленинград). Структура слова и морфологические категории	55
А. А. Брагина (Москва). Синонимы или quasi-синонимы?	62

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Т. И. Дешериева (Москва). К проблеме определения категории глагольного вида	73
Э. Р. Теишнев (Москва). О языке калмыков Исык-Куля	82
В. И. Иванов (Чебоксары). Соотношение размеров предложения и абзаца	88
М. А. Пейсахович (Ровно). Астрофический стих и его формы	93

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

С. О. Карцевский. Сравнение	107
---------------------------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

С. Эрвин-Трипп (Бэркли). Социоллингвистика в США	113
Л. К. Граудина, В. Э. Сталтмане (Москва). Русско-латышские языковые связи	123

Рецензии

О. С. Ахманова, Т. Н. Шпшкина (Москва). <i>Э. Бенвенист. Общая лингвистика</i>	130
В. Г. Гак (Москва). <i>О. И. Москальская. Проблемы системного описания синтаксиса</i>	136
В. Г. Костомаров (Москва). <i>И. Ф. Протченко. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи (социоллингвистический аспект)</i>	141
М. А. Бородина (Ленинград). «Атласул лингвистик молдовенеск»	145
А. И. Журавский (Минск). <i>А. Ф. Манаенкова. Лексика русских говоров в Белоруссии</i>	148
Р. М. Цейтлин (Москва). <i>Г. П. Князькова. Русское просторечие второй половины XVIII в.</i>	151
Л. И. Скворцов (Москва). <i>В. Д. Бондалетов. Условные языки русских ремесленников и торговцев</i>	156

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	160
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
 Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
 Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
 О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. П. Ярцева

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Фр. КОПЕЧНЫЙ

О НОВЫХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

После выхода в свет в 1886 г. первого этимологического словаря славянских языков Миклошича скоро исполнится сто лет. Другой, еще шире задуманный словарь Бернекера («*Slavisches etymologisches Wörterbuch*») выходил в 1908—1913 гг., но было издано всего не более трети словаря. С тех пор выходили только этимологические словари отдельных славянских языков, при этом нигде не ожидалось, и, к сожалению, не могло ожидать-ся, что сначала выйдут диалектные и исторические словари этих языков. Из законченных словарей следует упомянуть вышедший почти одновременно с Бернекером и прекрасный для своего времени русский этимологический словарь Преображенского (1910—1914), далее — польский словарь Брюкнера (1927), болгарский — Младенова (1941) и, особенно, вышедший в 1950—1959 гг. трехтомный этимологический словарь русского языка М. Фасмера (недавно был закончен его четырехтомный русский перевод с ценными дополнениями О. Н. Трубачева) и дважды издававшийся чешский словарь Махека (1957 и 1968). Из широко задуманных, но до сих пор незаконченных, или даже только издающихся назовем этимологический словарь Фр. Славского, выходящий с 1952 г. и достигший теперь трети; 10 лет спустя начал выходить коллективный болгарский этимологический словарь и — с чрезвычайно замедленными темпами издания — этимологический словарь украинского языка Рудницкого¹. С 1971 г. начал выходить тщательно готовый в рукописи сербскохорватский этимологический словарь Скока в редакции В. Путанца. Работа над общеславянскими словарями (разная по объему) была начата в СССР в 1953 г., в Польше — в 1954 г., а в СССР — в 1961 г. Первым, однако, начал выходить в 1963 г. уже давно подготовленный известными немецкими славистами Л. Садник и Р. Айцетмюллером «*Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen*». Темпы издания этого очень широко задуманного и технически своеобразного по своему замыслу труда все же таковы, что едва ли можно надеяться на его окончание (ведь за 12 лет в 7 тетрадях закончена буква *b*).

1. В течение короткого полуторагодового промежутка времени вышли первые тома словарей, подготавливаемых тремя этимологическими коллективами (брненским, краковским и московским): первым появился в середине 1973 г. первый том брненского «Этимологического словаря славянских языков» (далее — Б)², на 344 страницах, в 294 статьях, а в декабре 1974 г. вышли первые тома словарей московского коллектива (далее — М)³, на 214 страницах, в 476 статьях, и краковского (далее — К)⁴, на 487 стра-

¹ Обо всех этих и других этимологических словарях, выходящих или задуманных, см. мой обзор в «*Slavia*» (33, 1964, стр. 457—466).

² «*Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena*», 1, Praha, 1973.

³ «Этимологический словарь славянских языков», М., I—1974.

⁴ «*Słownik prasłowiański*», Warszawa, 1974.

ницах, в 1084 статьях, причем почти 100 страниц занимает принадлежащий перу Ф. Славского очерк словообразования. Цифры не являются здесь вполне надежным критерием объема (само собой разумеется, и качества) проделанной работы, даже в отношении словарей М и К, которые, несмотря на различные названия, имеют одну и ту же цель — установить лексическое богатство праславянского языка. Брненский словарь ставит своей целью объяснение всего славянского словарного состава⁵, т. е. более широкого круга лексики, и начинает издаваться в ином порядке: первые два тома содержат этимологическое истолкование «периферийных слов», конкретно — предлогов (и предложных префиксов), союзов, частиц и местоимений (в широком смысле слова, т. е. и так называемых местоименных наречий), а первый том включает также и послелоги. Следовательно, эти выпуски посвящены словам, которые (особенно это относится к союзам и частицам) уже достаточно долго оставались на периферии этимологических исследований.

Однако приведем, с той же оговоркой, и дальнейшие цифровые данные для сравнения: сокращений языков и диалектов содержат Б — 190 (из них 99 славянских языков и диалектов; во втором томе добавится 117, из них 54 славянских), М — 187 (из них 76 славянских), К — 107 (44 славянских). Библиографические ссылки в Б — 587, в М — 634, в К — 700. Очевидно, что в следующих томах будут даны дополнения; например, второй том брненского словаря, представленный в декабре 1974 г. на рецензирование, содержит 316 дополнительных названий (общее количество использованных источников около 2100). Насколько обманчивы показания цифр, обнаруживает такое замечание: в московском томе в библиографическом аппарате отдельно даются «источники» (по отдельным славянским языкам) и «литература» (некоторые издания упоминаются в двух местах: например, «Lexicon Palaeoslovenicum» Миклошича — в старославянских источниках и в сербскохорватских). А если обратить внимание на количество источников по отдельным языкам, то получатся такое соотношение: русский — 83, украинский — 72, сербскохорватский — 51, словенский — 35, белорусский — 31 (32), болгарский и чешский — по 26, словацкий — 15, польский — 12 (!), кашубский (вместе с поморскими диалектами) — 7, старославянский — 6, македонский — 5, нижнелужицкий — 4, верхнелужицкий — 3, полабский — 2 (отсутствует «Juglers Wörterbuch» Олеша⁶; не приводит его и К). Вполне понятен некоторый уклон в сторону русского, точнее — восточнославянских языков (так же, как в брненских публикациях, — в сторону чешского); ясно также, что ограниченность источников определяется в одних случаях объективным положением вещей, в других — концентрацией главных источников (например, польских). Иногда здесь сказывается замысел работы; мы бы не опустили как источник для старого поморского издания Хинце «Die Schmolsiner Perikopen», которое не упоминают ни М, ни К, или «Słownik do górnołużyckiego katechizmu Warychiusza» Ст. Стаховского. Разумеется, нельзя исключить и влияние случая. Едва ли было бы так велико число источников для сербскохорватского без сотрудничества В. Михайловича.

Вследствие различий в концепции, в технике и порядке издания сравнение всех трех словарей очень затруднительно и мы не будем его еще более осложнять обращением к словарю Садник — Айцетмюллера (далее С — А), хотя он и напрашивается на сопоставление с М и К. Можно лишь в общих чертах отметить, что этимологическому анализу уделяется осо-

⁵ В этом отношении он близок к немецкому «Сравнительному словарю славянских языков» Л. Садника и Р. Айцетмюллера (L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wiesbaden, 1963—).

⁶ R. O l e s c h, Juglers lüneburgisch-wendisches Wörterbuch, Köln — Graz, 1962

бенно в М) больше внимания, чем у Бернекера, и что, естественно, в этом проявляется прогресс этимологических исследований в последнее время. Есть и еще одна весьма существенная черта, общая для всех этих словарей, — ограничение гнездовой подачи лексем, которая необходима при корневой этимологии (и, очевидно, также и при подходе С — А), но, естественно, вынуждена отойти на задний план при краковской и московской концепции — дать все богатство праславянского словарного фонда, так что каждая словарная единица (в том числе и производная) имеет самостоятельное значение. Но и в брненской концепции преобладает интерес к слову как таковому, а не как деривату; начиная с третьего тома, мы будем приводить дериваты с разумным отбором (я имею в виду этимологически нерелевантные дериваты; релевантные же, само собой разумеется, образуют самостоятельные словарные статьи). Однако, хотя внимание к слову как таковому обусловило в М и К практическое устранение гнездовой подачи материала, есть между ними в этом пункте и любопытные различия: М вообще не применяет гнездового принципа, за исключением (и это очень интересно) случаев с сочетаниями на *a*. Статьи *a-by*, *a-če*, *a-le*, *a-ni*, *a-si/a-se* (эти две формы объединены, но удивительно, что разделены *a-ti* и *a-to*) и т. д. приведены вне алфавитного расположения сразу же после *a* (они все-таки не считаются до конца самостоятельными статьями)⁷, тогда как К помещает их в соответствии с алфавитом среди прочих статей на *a*. И все-таки ясно, что, например, между *asenъ/-нь* и *asenouchъ(jb)* нет иных различий, кроме самой сущности производного относительного прилагательного (которое, однако, синтаксически причаждлежит, собственно, к группе форм имени существительного); но есть в этом отношении непреодолимая пропасть между, например, *a* и *ače* (и не очевидно, что *a* здесь этимологически тождественно *a*⁸). В К основные производные также даются самостоятельно; есть самостоятельные статьи *boščъkъ* (как «уменьшительное») при *boščъ*; *brzъ*, *brzo* и *brzъkъ* и дальнейшие производные от этой основы; *blizъ*, *blizokъ*, *blizъkъ*, *blizъ* и дальнейшие производные (а само *blizъ* дается особо как прилагательное и особо как предлог), имеются даже *bělošъ* и *bělochъ* и т. п., есть, кроме статьи *byti*, самостоятельные статьи *bě*—3-е лицо ед. числа аориста, *by* как союз, *bimъ* как условное наклонение, *bōdō* как будущее время к *byti* (в праслав. ?)⁹; причастие *bōdy*, 3-е лицо мн. числа *byšę* и т. д., но вторичные производные приводятся под первичными: *s. v. berzovъ* есть *berzovica* и *berzovъka* (и то и другое — «что-либо из березы»), далее *bersovъсь* «березовый лесок (или прут)» и *berzovikъ* то же и «гриб»; далее, под одним заглавным словом объединяются не только варианты *bersta/bersto/berstъ*, *berkъ/berka/berkyni*, *bobrъ/bebrъ/bōbrъ* и т. д., которые М дает (или стремится дать) самостоятельно, но и уменьшительные *berzica/berzъka*, даже абстрактные *blizostъ* и *blizina*. На количестве статей это не отражается¹⁰, вторые формы фигурируют как отсылочные статьи (М таких статей не содержит).

Самое различие в предмете исследования первых томов (Б содержит предлоги с соответствующими префиксами и послелоги, К и М начинают обычную подачу лексического материала с букв А) делает почти невозможным сравнение Б, с одной стороны, и К и М, с другой стороны. Только в том случае, если мы привлечем к сравнению пробный выпуск брненского

⁷ В конце тома М приведено число статей — 466; мы указали здесь 476, так как сошли эти сочетания с *a* за самостоятельные статьи.

⁸ Интересно, что его непалатальный вариант *akol/jako* уже не находится под *a*, а дается как самостоятельная статья в алфавитном порядке (как и *atje*).

⁹ Ср. об этом: «Slavia», 42, 1973, стр. 144—146.

¹⁰ Славский, однако, в предисловии (стр. 10) говорит о почти 900 статьях (варианты он, очевидно, не считает).

словаря ¹¹, можно будет сравнить хотя бы две очень содержательные статьи всех трех словарей, а именно *asi* и *aže* (*ažno* как новейшее производное не могло войти в оба праславянские словаря; М упоминает о нем на стр. 41). Поскольку работа над вторым томом бременского словаря давно закончена, можно было бы привлечь к сравнению целый ряд статей на *a*, но мы ограничимся, помимо упомянутых *asi* и *aže*, лишь союзом *a*, зато из предлогов обратим внимание на *bez*(ъ), хотя здесь мы ограничены в возможностях сравнения лишь с К (М заканчивается статьей *besědъlivъ*). Можно заранее предположить, что при поставленной нами задаче — подвергнуть прежде всего микроскопическому анализу грамматические слова — читатель и исследователь вправе ожидать здесь нечто большее, чем обычно до сих пор давали словари. И уж во всяком случае нельзя было бы ожидать в современных словарях меньше, чем говорится в старых. А именно так, к сожалению, обстоит дело со статьей *asi* в К. Правда, семантическая характеристика здесь несколько шире, чем у Бернекера, и если, как и в последнем, нет упоминания об уступительном значении «хотя», то это можно в отношении праславянского словаря объяснить тем, что речь идет о редком значении, представленном у Росы ¹². Удивляет, однако, односторонность (и рискованная однозначность) этимологического толкования, причем цитируется и пробный выпуск Б, где дается совсем иное объяснение ¹³. Здесь сделан шаг назад в сравнении и с Бернекером, который упоминает о двух возможных толкованиях: *a* + дат. возвратного местоимения *si*, что, однако, скорее всего является лишь воспроизведением объяснения в словаре Гебауэра, так как сам Бернекер намекает на возможность понимания *si* как опатива вспомогательного глагола. Московский словарь справедливо считает объяснение из дат. *si* «наименее вероятным», функция *si* была бы при этом совершенно неясна, тогда как от полумеждометного значения *a* + «пусть» можно легко и естественно прийти ко всем засвидетельствованным значениям. Прав, однако, С — А ¹⁴, когда требует еще других доказательств существования такого опатива и особенно доказательств с а м о с т о я т е л ь н о г о существования опативного *si*. И как раз эти доказательства дает упомянутый пробный выпуск Б (стр. 93—94), причем из многих языков: из древнерусского, старословенского (Фрейзингенские отрывки) и словацких диалектов. К тому же, пример из Фрейзингенских отрывков (*libo bodi dobro libo li si zlo*) приводит уже словарь Годуба — Копечного (стр. 331) ¹⁵. Наиболее доказательны, по нашему мнению, словацкие диалектные примеры типа *čo nám po tom, kto nám do saku duri, len si ryba naša* (т. е. «пускай ..., лишь бы рыба была наша»). К сожалению, эти примеры на самостоятельное *si* ускользнули и от внимания московского словаря, который также цитирует пробный выпуск Б, но не самостоятельное *si*, а только *-si* — послелог (стр. 94—96). Но то, что при существовании самостоятельного опативного *si* старое объяснение из дат. падежа возвратного местоимения совершенно отпадает, хорошо понимают составители М. Оба словаря и С — А присоединяют к *asi* по со-

¹¹ «Etymologický slovník slovanských jazyků», Brno, 1966 (ротапринт).

¹² Это было бы некоторым аргументом для М, который в отношении типа сложения ссылается на лат. *et-si* (но это сравнение, учитывая уступительное значение, подходило бы лишь семантически, а не этимологически).

¹³ Правда, не на цитируемых страницах 1—2, где действительно только *a* + *si*, но ссылкой на статьи *si* и *-si*; а под *si* представлены материалы о самостоятельном существовании опативного *si*.

¹⁴ См. С—А, стр. 4 (примеч. 3). Есть там у авторов психологически понятная ошибка, будто можно думать и о дат. падеже указательного *sv*, или же *se* (!), тогда как дат. падеж его звучит *sejti*.

¹⁵ М приводит тот же пример из кн.: F B e z l a j, Esei o slovenskem jeziku, Ljubljana, 1967, стр. 143.

ображениям мало понятным (и, как видно из примеч. 13, к тому же сомнительным) также русское просторечное *ась*, на основании вариантов *áse/ zě/ási* (приведенных К) — из первоначального *a se*. В М есть даже заглавное слово *a si/a se*. Это весьма удивительно, если учесть, что сам этот словарь их явно этимологически различает¹⁶: *ase* объясняется из *a* + «ср. род» (sic!) указательного местоимения *сь*, хотя при сравнении с лат. *ecce* неизбежно выявляется действительная характеристика этого *se* как междометия (хотя бы и родственного фонетически с этим местоимением). Особого внимания и комментария заслуживает также включение в ту же статью словацкого *azda*: некоторые значения старочешского *azda* действительно допускают толкование из *asi-da*, но для словац. *azda* достаточно ранее принятого толкования как соединения *a* с вопросительной частицей *za* (здесь можно было бы указать на вариантность *za/zda/da*).

Если *asi* занимает в К около 11 (неполных) строк, а в М — 64 (из них 8 строк посвящены *ase*), то для *aže* размеры статей почти уравниваются: в К — 23, в М — 25; 250 строк (часто неполных) в пробном выпуске Б по-настоящему нельзя сравнивать, так как в нем приводятся примеры на различные оттенки значения, что увеличивает размер статьи. В материалах М не приведено старословенское *ar*, опущено (как и в К) и чакавское *aš* «ибо, так как», далее старопольские формы *haže* и *jaž*, отсутствуют нижнелужицкие формы, зато добавлено словацкое диалектное *ež*, которое принадлежит к параллельному (j)eže (и могло бы быть приведено в близком значении также из ляхских говоров и из старопольского), приведено (в отличие от К) русск. *ажно*. О трудностях объединения именно для таких словечек огромного материала свидетельствует следующая гротескная ситуация. От внимания Московского словаря не ускользнуло кашубское условное *ažlě* (которое не приводится ни в Б, ни в К), но при этом опущено древнерусское условное *аже* (в условной функции *až* представлено также в староукраинском, старобелорусском, старочешском, старословацком и словацких диалектах). В рукописи второго тома Б структура этой статьи теперь совершенно иная, чем в пробном выпуске. Но и по пробному выпуску видно, что Б из всех трех словарей охватывает семантическую характеристику *aže* наиболее полно и удобно для синтаксиса, т. е. по семантическим типам, не разбросанно, как получается, если исходить из обзора материала по языкам. Языки для Б служат исходным пунктом (и то не всегда) лишь при перечислении форм. Ни один словарь (чтобы привести еще один пример) не упоминает об уступительном *až*, представленном в украинских диалектах, просторечном русском, старобелорусском и старочешском.

То же можно сказать и о статье *a* (пока что в Б неопубликованной). Бернекер определенно упоминает о трех значениях: «aber», «und» и «wenn». Славский, кроме того, говорит о редком уступительном значении (общеславянским является только его весьма стертый тип: *já stojím a ty sedíš*), а также об *a* как усилительной и присоединительной частице; не пропущено им и двучленное *a* — *a*, приведенное из македонского, хотя оно есть и в болгарском, сербскохорватском и серболужицком (здесь в двух функциях: 1) *a chudži a bohači* «как — так», 2) *a starši a mudriši* «чем старше, тем мудрее»). О. Н. Трубочев, явно имевший в своем распоряжении богатый семантический материал, выделяет, помимо основных двух значений «и» и «но», еще область, где *a* лишено конкретного значения (главным образом в древних языках). Словарь Б не мог так же, хотя и остроумно, но легко, уйти от обязанности подробнейшего семантического

¹⁶ Трудно понять, почему «определенные трудности разграничения... заставляют рассматривать их вместе» (стр. 40), тогда как самому словарю это разграничение ясно.

анализа и начинает его междометными значениями (междометное *a* Славский выделяет как самостоятельную статью, что возможно, хотя, с другой стороны, хорошо было бы показать переход от междометия *a* к союзу). Затем через полумеждометные значения *B* переходит к различным союзным значениям (наряду с этим возникло в старочешском и польских диалектах из междометного *a* еще *a* утвердительное). Кроме приведенных значений *a* — противительного и сочинительного (иногда присоединительного, временами с оттенком усиления), можно отметить у *a* еще следующие союзные значения: изъяснительное (только в старых языках, ср. ст.-чеш. *jakž otec uzří a ty jdeš k němu...*, ст.-польск. *użrzel wilka a on wieprza na si niesié*), целевое (например, ст.-чеш. *běž pryč, a se mná tuto nesendeš*), временное (серб.-хорв. *a sam ga vidio pred kućom, znao sam, da nije dobro*; макед. *a vlezte vo sobata, vednaž padna mrtov*), присоединительное с оттенком следствия (др.-русск. *аще забываеме...*, а часто *прочитауме*; ст.-чеш. *nýniel li tě léň slyšeti, a ti budu vyprávěti*; подобные случаи есть в старопольском и старосербскохорватском, редкое причинное (др.-русск. *того же лета на Русь прииде... княз Иван, а въ свою отчину пожалованъ богомъ и царемъ*), частое условное (ст.-слав., др.-русск., ст.-чеш., русск.: единственное значение, которое, помимо соединительного и противительного, приводит уже Бернекер) и редкое уступительное. О. Н. Трубачев дает в той же статье и вариант *ja*, который в части своих значений действительно может считаться протетическим вариантом к *a*, но имеет и другие значения, а также особый географический контекст, вследствие чего он и представлен в *B* самостоятельной статьей (очевидно, также и в *K*, так как в статье *a* о нем не упоминается). Этимологическое толкование в обоих словарях соответствует современному состоянию изучения, т. е. различные объяснения (в отличие от *asi*) перечисляются и критически оцениваются. Славскому междометное происхождение представляется менее правдоподобным, чем местоименное¹⁷; Трубачев настроен не так скептически. Хотелось бы здесь же заметить, что и другие соединительные союзы (например, *i, e, da, ta, te, tě, ti*) имеют скорее всего своим источником междометия; особенно показательны в этом отношении новейшие союзы *e* и союзы на *t*. Справедливо, однако, что бессрочных доказательств привести невозможно, хотя, с другой стороны, гипотеза о местоименном происхождении еще более основана на традиционной уверенности.

В отношении предлога *bez* мы вынуждены ограничить сравнение словарями *K* и *B*. В *K* он занимает одну страницу, в *B* — пять, однако *K* приводит, сверх материалов *B*, важную (может быть, исключительную) кашубскую форму *b^uoz* (свидетельствующую, вероятно, об ожидаемой в сандхи депалатализации?) и укр. диалект. *biz*; связанные с сандхи формы кашуб. *báš* и в.-луж. *bje* в *B* подсказываются контекстом. В сравнении с *B* в *K* отсутствуют только полаб. *priz* «без», образованное вставкой усилительного *r* (может быть, оно еще будет приведено под *perz*), и в.-луж. *bjezu*, вариант к *bjez/bjeze*, совершенно ясно обнаруживающий свой источник (оно имеет значение «между») ¹⁸. Большой объем статьи в *B* объясняется в данном случае не только более подробным разбором значений и подачей примеров к ним, но и большим вниманием к проблеме так называемого скращения с предлогом *přez* и более детальным этимологическим анализом. «*Pomieszanie*» предлогов *bez* и *perz* в *K* только констатируется, но не объясняется. А ведь этот случай можно гораздо доказательнее

¹⁷ Впервые это отметил Фр. Копечный в словаре Голуба — Копечного (s. v.) и еще ранее — в кн.: Ф. К о п е ч н ы, *Nářečí Určic a okolí*, Praha, 1957 (рукопись была закончена уже в 1933 г.).

¹⁸ Верхнелужицкий вопросник к нашему изданию «*Základní všeslovanská slovní zásoba*» (Brno, 1964), правда, этого значения «между» уже не дает.

и естественнее истолковать вовсе не как немотивированное «*romieszanie*»; его вполне прозрачным источником является образованная с помощью усилительного *r* форма *brez*. Только она (особенно после спонтанного изменения в *prez*) явилась причиной современного состояния — фонетического смещения при семантическом различении (значения «без» и «через» остались и после слияния различными по способу управления). Поводом было, таким образом, экспрессивное фонетическое усиление¹⁹, а никак не семантическое скрещение. В этимологической части, кроме того, следует считаться с соотношением форм *be* и *bez* (resp. *bežь*). Вряд ли можно отстранить форму *be* как следствие утраты в сандхи конечного *-z* (в сочетаниях типа *bez sily*, *bez zřobu* и т. п.). Скорее это первичная форма, ср. ст.-слав. *бе повелѣнѣа*, *бѣ размышленѣа* (*бѣ* в русск.-ц.-слав. памятнике — явление графическое); особенно интересно префиксальное серб.-хорв. *obreušiti*, где представлено также и экспрессивное усилительное *r*. Если бы первичной была форма *bez/brez*, то вряд ли возникло бы такое образование. Даже если речь идет о церковнославянском «сложении», то его элементы, в том числе и первый, исконные. Наконец, есть ведь литов. *be*, др.-прусск. *bhe* и (дополняя К) латыш. диалектн. *be/bä*. И так как Френкель выводит ливон. *beš* из **bet-ja*, то вероятна гипотеза о заимствовании латыш. литер. *bez* из славянских языков. Нельзя просто сказать, что традиционно сопоставляемое с ним др.-инд. *bahiš* и т. п. — это его «*dokładny odpowiednik*». Оно должно было бы звучать **bežь*, но такая форма не засвидетельствована (см. Б, стр. 45). Я думаю, что выделение грамматических и других периферийных слов принесло пользу и самой этимологии (не говоря уже о синтаксисе и сравнительной лексикологии).

В пределах буквы А статьи о союзах (частицах), естественно, общи для всех трех словарей: кроме *a*, это статьи *abo*, *aby*, *ače* (в М последнее озаглавлено *ače/ači*, в Б обе формы представлены порознь, в К нет *ači*, зато К, как и М, содержит *at'e*, resp. *atje*, которое в Б объединено с *ače*, а также отдельно *ačekli*, *ačkolivek*, материал о котором в Б и М помещен под *ače*), *ale* (в Б вместе с *ali*, которое в К и М дано отдельно; кроме того, К присоединяет к этим заглавным словам и *alebo*, resp. *alibo*, материал о которых есть в М, но не выделен заглавным словом; в Б *alebo/alibo/aljubo* дано самостоятельной статьей), *asi* (в М — под заглавным *asi/ase*, в К рефлекс *ase* приведены в материале, но оно не представлено в заглавии статьи, в Б оба слова даны самостоятельно: речь идет о формах, явно не связанных этимологически и семантически), *ati*, *ato* и *aže*. Статья *anc* (как в Б и К) дана в М под заглавием *a jьno/a ono*, этимологически же объясняется, в соответствии с традицией, из *a ono*. В конце концов и здесь допускается толкование из *a + no*, как в К и Б (последний иллюстрирует обе возможности и особенно подробно обосновывает вторую как чаще встречающуюся). Из широкого круга периферийных слов К, как и Б, приводит междометное и наречное *avo*: Б — под заглавием *avo(se)* и с этимологией *a vo*, что подтверждается серб.-хорв. *avo*, а К — с этимологией *a ov* (в М такое сочетание с *a* не приводится); М вместе с Б дает *ato/jamo*, которое в К не обозначено даже отсылочной статьей «*ato*, см. *jamo*», как здесь принято в подобных случаях. В Б, естественно, содержится еще масса других грамматических и под. статей, так как этот словарь не связан по ступатом праславянской древности; упомянем наугад *ada*, *ady*, *anda*, *ani* (междометие) и мн. др.

II. Теперь обратимся к сравнению двух собственно праславянских словарей. Ограничение праславянским фондом не означало очень существенного облегчения работы, как могло показаться на первый взгляд

¹⁹ Ср. уже в SaS, 28, 1967, стр. 399, 401.

В предисловии Трубачев насчитывает 10—11 заглавных слов, которые приводятся в М (хотя 5 из них с вопросом), но отсутствуют не только у Бернекера и Миклошича, но и у С — А. А теперь можно еще уточнить, что ни одного из них нет и в К. Уже это хорошо подтверждает старую истину, что если двое делают одно и то же, то получается не одно и то же: они могут взаимно дополнять друг друга, либо один из них более основателен или смел в стремлении к тем же целям, другой — более традиционен или осторожен.

Различный характер обоих рассматриваемых словарей проявляется в различном количестве статей: *besěda* в М является 470-й статьей, в К — 140-й. Следовательно, в М приблизительно на 330 статей больше, чем в К. И при этом К имеет в сравниваемом отрезке 26 статей, которых нет в М (если учесть еще один подраздел статьи, в соответствии с которым нет статьи в М, то будет 27). Статей, общих обоим словарям (опуская варианты в заглавиях и то, что иногда фигурирует в К только как отсылочная статья), — 126. Я не включаю в их число такие сильно расходящиеся варианты, как *bacharь* «сказочник, говорун, знахар, любовник» (в М) и *bachorъ*, «чародей» и «вихрь»²¹ (в К), хотя они семантически пересекаются, и в К (где *bacharь* помещено s. v. *bachati₂*) им дается разная этимология. Зато для нас, естественно, несущественны различные графические возможности в обозначении заглавных слов (ср. М *bergt' i*; К *berkti*)²¹.

Значительно большее относительное количество статей в М нельзя объяснить просто лишь отсутствием гнездовой группировки²², поскольку подразделы статей, приводимые в К под главными статьями, большей частью представлены и как отсылочные статьи²³. Однако это все-таки существенный фактор. Так, например, лексический материал, который у Бернекера собран в статьях *ablъko* и *abolnъ*, представлен в М (на шести с половиной страницах) и в К (чуть больше одной страницы) в трех главных статьях, общих для двух словарей: *ablo*, *ablъko* и *ablony*²⁴ (с последним в К объединено как вариант *ablony*). В М дается, помимо этого, еще 13 статей того же гнезда (из названий плода, например, еще *ablъ*, *ablъka*, *ablъkъ*; в К изменение рода отмечено s. v. *ablъko*, а рефлексов *ablъ* не приводится); зато в К есть слово *abluъko*, которое является здесь представителем всех деминутивов, поскольку под этим заглавным словом фигурируют и формы типа чеш. *jabličko* и диалектн. *jablătko*²⁵. Кроме общего гнезда *asenъ/asenъ* (в М — с обратным порядком вариантов), в М есть (на

²⁰ Это значение засвидетельствовано и для арханг. *бахорь*, которое в М не приводится.

²¹ Очевидно, по недосмотру статьи, начинающиеся на *bert-*, помещены в М перед *berz-*.

²² Например, прямо-таки требуют в М объединения пары типа *bedrica/bedrika*, *bedrenikъ/bedrѣnikъ* (может быть, так как объединены в одном заглавии *bedrunъka/bedrunical/bedrenъka/bedronъka*), *baziti/bazitti* (к *bazlo*) или сложения *belbeniti/-liti*, *belbelъ/-nъ*, *belbetati* (ни одной из этих статей в К нет), и в обоих словарях напрашиваются на объединение пары со столь незначительными расхождениями, как *bečati/bekati*.

²³ Однако не весь приведенный материал упоминается также в отсылочных статьях: ср. вышеупомянуто русск. *бахарь* s. v. *bachati₂*.

²⁴ Уже Бернекер обратил внимание на то, что севернославянские формы свидетельствуют об *ablony*, но не отказался от формы *abolnъ* из-за др.- прусск. *wobalne*. Лемма *ablony* опирается на гипотезу о происхождении топонима *Abella* из **ablonъ* (A. W a l d e — J. В. Н o f m a n n. Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1965, стр. 3 и сл.). В М представлено также заглавное *ablony*, но только для севернославянских форм, а для южнославянских — два других главных слова: *abolnъ* и *abolnъ₁*, в М не различается здесь чередование суффиксов *-ony/-anъ* (вследствие разницы в значениях), за которое ратует К.

²⁵ Такая практика не единична: например в статье *bermenъcel/bermъcel/bermъčъko* К объединяет различные варианты деминутивов уже в заглавии (в К эта статья имеется дополнительно к тому, что есть в М).

двух страницах против половины страницы в К и трети страницы у Бернекера) еще статьи *asenica*, *asenika*, *asenikъ*, *asenišče*, *asenovъjъ*, *asenyъ*, *asenyje*. Для гнезда названия березы (в М неполных 8 страниц, в К — 4,7, а у Бернекера чуть более четверти страницы) в обоих словарях вместе дано 24 статьи или подразделения статьи, против одной статьи у Бернекера, из них для обоих словарей общи *berza*, *berzica/berzъka*, *berzina*, *berzovъ(jъ)*, *berzosolъ*, *berzъje*, *berzъnъ/berzъnъ*: (эти последние в К опять-таки разделены, второй вариант обозначен *berzъn'ъ*), *berzъnikъ*. На первый взгляд, общей является и статья *berzъ*, но здесь под общим заглавием скрываются различные вещи: К имеет в виду «цвѣта березы» (главным образом в названиях животных; например, в чеш. диалект. *březí*, т. е. *březavá kráva*), тогда как в М — вариантное обозначение самой березы (в словен. и серб.-хорв. диалект.). В М дается еще сверх того 10 статей (*berzavъjъ?*, *berzika*, *berzik*, *berzicъjъ*, *berzovica*, *berzovikъ*, *berzovъсь*, *berzovъje*, *berzujъ*, *berzъje*), из них в К фигурируют как подразделения главной статьи *berzov* слова *berzovica*, *berzovik*, *berzovъсь* и есть еще дополнительно против М *berzovъka*; в статье *berzina*, наконец, приводится в материале, в соответствии со значением, и вариант *berzovina*. Даже если не умножать далее количество примеров, можно видеть, что большее число статей в М обусловлено не только самостоятельной подачей вариантов, но и большим привлечением производных, которым приписывается праславянский характер. Конечно, это весьма относительно, но в конце концов это можно сказать (несмотря на меньшее количество статей в К) об обоих словарях. Заранее очевидно, что каждый праславянский субстантив имел соответствующее относительно прилагательное и свой естественный деминутив (может быть, и более одного); что была также определенная парадигматическая возможность образования от прилагательных абстрактных субстантивов. Но дело не так просто: была парадигматическая возможность, но от возможности до действительности есть всегда определенная дистанция: в процессах парадигматического словообразования всегда реально параллельное образование, а при образовании уменьшительных производных мы, кроме того, находимся в аффективной области, на что указывает их вариантность (ср. выше *ablušъko* и примеч. 25). Очевидно, с аффективностью следует считаться и в отношении пар типа *asenika/asenica*, *berzika/berzica*; они являются наглядным доказательством в пользу тезиса Брюкнера²⁶ о нефонетической природе бодуэновской палатализации. Ее причиной было преобразование (очевидно, аффективное) твердых морфологических типов в мягкие: ср. исторически более древние сербскохорватские реликты на *-ika* и итеративы типа *-ticati* < *-tyhati*. А что можно сказать о «psl.» статьях типа *achъ*, *achati*, *achъkati* в К? Разумеется, праславяне, как и большинство других людей, каким-то образом *axali* и *axkali*, но вопрос в том, произносилось ли это *ax* с редуцированным. По нашему мнению, статей этого типа²⁷ (или *be* как основа для *bekati/bečati*) надо в праславянском словаре избегать или давать петитом. Проблематичность праславянского характера рассматриваемого слова часто обозначается в М знаком вопроса. Иногда и без него ясно, что дело не идет о праславянской древности; например, макед. болг. *бавез* — явно новое и даже модное образование. Можно было бы добавить много таких вопросов к формам,

²⁶ Ср.: ZfslPn, 2, 1925, стр. 300—304.

²⁷ Это относится равным образом к подобному материалу в статьях об аффективных словах: М приводит с. в. * *ba* как междометие, выражающее отвращение, чеш. *ba* (откуда прилагательное *bakaný*) и даже 'а' (здесь) — так называемый твердый приступ, *Kehlkopfverschlusslaut*), польск. *be*, которое Выдра переводит чешским *ek!* Прекрасный пример того, что речь идет уже о сфере не междометий, а непосредственно рефлексов.

представленным только в одном языке ²⁸ и образованным в результате своего рода парадигматического процесса: чеш. *básnice* следует и без знака вопроса (которого, к тому же, и нет, как и при *баеож*) считать эфемерным новообразованием периода Возрождения к *básník* (и последнее — тоже не праславянское), так же, как чеш. *břehatý* — редкое, но парадигматически образуемое прилагательное; и собственно сербскохорватским является, вероятно, *pomen agentis berač* и т. п. В М есть демуниатив *bebřekъ* (будет ли помещен s. v. *bobrik* и чеш. *bobřík*? В К, несмотря на свойственное ему пристрастие к демуниативам, это слово разумно опущено). Серб.-хорв. и словен. *beridlo* не может быть праславянским уже судя по тематическому *-i-*. Статьи типа *balakati* имеют для праславянского по характеру словаря не большее значение, чем упомянутое выше *achъkati*, и сам М ссылок на др.-инд. *balbala* хорошо определяет звукоподражательную сферу, охваченную в К статьями *bolboliti* и под.; влияние ономастической всегда остается живым и изменчивым, о чем свидетельствует чеш. *halekati* со множеством вариантов, приведенных Махеком s. v. *helekati*. Как сказано выше, есть спорные в этом отношении статьи и в более экономном и осторожном К — естественно, это прежде всего касается слов, которые в К избыточны в сравнении с М. Лишь под вопросом можно признать праславянскими *av'ati* (К отмечает, что оно представлено только в соответствии с префиксальными перфективными глаголами на *-iti*), отмененные *bermeněti* и *-iti*, *baňati/baňiti*, далее *bachati*₂ (экспрессивное к *bajati*), имя существительное *bag* (обратное образование от *bagati*).

С другой стороны, чрезмерное привлечение производных предположительно праславянского происхождения, к счастью, не является ущербом для читателя словаря; это просто дает больше материала, и М в данном отношении имеет больше права именоваться **э т и м о л о г и ч е с к и м** словарем славянских языков.

III. Выше уже было сказано, что этимологическая часть в обоих словарях обстоятельна, особенно в М, и это видно также по размеру этимологических разделов в статьях (в К они также, как правило, больше, чем у Бернекера), и косвенно подтверждается такими курьезными случаями: статья *bedrъ*, представленная только в К, опирается на древнерусский пример, а, наоборот, статья *belnъ*, представленная только в М, опирается на старопольский материал. Это зависит, естественно, и от концепции этимологического описания. Возможно, что К уже потому более краток, что как будто следует разумной и, главное, экономичной концепции К. Полянского: он стремится ввести праславянское слово в круг ближайших индоевропейских соответствий и не пытается ставить проблемы, которые нельзя решить на славянском материале, например, вопрос о связи слав. *agoda* с лат. *uva* (а М цитирует также мнения о дальнейшем родстве с корнем *aug-* «расти»). Подобное заметное различие в широте этимологического охвата есть, помимо статьи *agoda*, также в *astrebrъ* и *azъ*; более широким и тем самым (хотя не без исключений) более содержательным всегда является М. Впрочем справедливо, что, даже если мы не можем на славянском материале решить проблемы индоевропейской древности, более широкие масштабы всегда имеют большее информативное значение (в этом отношении курьезно, что в К s. v. *arъto* не упоминается польск. *kojarzycъ*, связь которого с *arъto* установлена в «Этимологическом словаре польского языка» Славского). В остальном оба словаря в принципе сходны; естественно, нельзя обращать внимания на мелочи: так, например, М должен

²⁸ Само по себе это обстоятельство не мешало бы, если бы речь шла о доказательстве праславянской древности в таких случаях. В предисловии Славский говорит, что на 900 основных статей на А и В 400 приходится на явные диалектизмы. В М на равный объем их окажется значительно больше.

был с. ч. *agne* цитировать 2-е изд. «Этимологического словаря чешского языка» Махека (как сделано в К), или, наоборот, К с. ч. *arbo* не цитирует разбор этого слова у Махека. Исключением является статья *aščerь*, которое К понимает как «пещерное животное», т. е. (*j*)*ašč-* + суффикс *-erь* (ср. *hou-ser, kačer*), менее вероятно *ja-ščerь* (где *šcer-* значит «прыгать», ср. литов. *škerj̄s* «саранча»), тогда как М отдает предпочтение толкованию *ask-šcer-*, где первый компонент — «пещера» или «дыра, нора», а второй означает «рыть» (дается ссылка на *šceriti*), т. е. «животное, роющее пещеры, норы». Различное толкование дается также для *ašutь* (что и не удивительно). Естественно, в М выпадают из сравнения те статьи на А, которые в К будут под иным заглавием. Еще одно общее замечание к материалу на А: могут быть обманчивыми непроверенные исторически ономастические материалы, например, *Jeseníky* не является исконным названием гор, приоритет здесь за нем. *Gesenke*, а *Jeseníky* первоначально было лишь местным названием из окрестностей Врбна²⁹.

Из статей на А обратим внимание еще на одну грамматическую статью — *atje*. По нашему мнению, — это такое же сложение *a* + частица *tje*, как синонимичное *ače* из *a-če*. По К, дославянская форма неясна; М еще более скептически, чем К, относится к реконструкциям типа *a-če*, но видит для праслав. *atje* весьма далекую параллель в лат. *etiam*: *atje* якобы относится к *etiam*, как *nyně če* к *nunquam* (а ст.-польск. *jacy kto* кажется сходным с лат. *quis etiam*). Однако приведенное «основание» как раз демонстрирует большую проблематичность таких отдаленных сопоставлений. Известно, что ведь и в самом древнерусском языке чередовались формы *нынѣча/нынѣчу/нынѣчи/нынѣче/нынѣчь* (см. комментарий к этому в Б, стр. 306). И в других случаях М разыскивает латинско-праславянские параллели. Иногда этот путь приводит к более надежным результатам, как, например, в случае параллели *orneus/asenovъ*, хотя и здесь нужно признать большее значение за тождеством формантов (ср. лат. *fraxineus, ulmeus, pineus, taxeus, populeus* и т. п., от названий деревьев на *-us*), чем за прямым генетическим родством всей пары: нельзя исключать параллельное образование. Вообще в этимологии как исторической дисциплине большой проблемой является проблема гарантированной непрерывности. Следует серьезно задуматься о возможности генетического родства форм из сферы звукоподражаний. Мы согласны с К и М, что *bacati* восходит к первичному междометию *bac*³¹, а предполагаемое Махеком *bat-s-ati* — это искусственное построение, но еще менее доверия вызывает некая индоевропейская праформа **bhad-ik-ājō* (лат. *fo dico*), относительно которой М соглашается с Георгиевым. Формы этого типа, как правило, не имеют индоевропейских связей, речь здесь идет явно о так называемом элементарном родстве.

Примечательно, что оба словаря этимологически объединяют *badati* (итератив к *bosti*) и *badati* «изучать» (последнее как метафору), хотя К различает их как *badati*₁ и *badati*₂ и хотя К и М хорошо знакомы с объяснением из *ob-ada-ti*. «Изучение», действительно, можно истолковать и как «обнюхивание», и как «обстукивание, ощупывание»; однако бесприставочное *jadati* представлено в старочешском в том же значении, что и более позднее *badati*, в связи с чем этимологию Зубатого следует при-

²⁹ См. об этом статью: L. Z a t o ě i l, «Slezský sborník», 44, 1946, 1—2, стр. 1—46 (особенно стр. 42).

³¹ Я бы отделил, однако, *bacati* «целовать» [например, болг. *бацам (бакам)*], для которого очевидна элементарная близость к итал. *baciare*, лат. *baciare*, нем. разг. *Bussert*, чеш. разг. *pusa* и т. п. Прав С — А (стр. 68), что здесь следует исходить из звука, но это и н о й звук, нежели удары, стук (ср. об этом: Ф. К о р е њ ъ Slavistický příspěvek k problému tzv. elementárn: příbuznosti, сб. «Языковедски изследования в чест на акад. Стефан Младенов», София, 1957, стр. 363—387, особенно примеч. на стр. 380).

знать наиболее обоснованной. Зато оба словаря отделяют *bagno* «болото» (в М этимологическая часть занимает больше страницы, в К — 3 строки) от *bagrъ*³¹ «красный цвет» (в М — почти страница, в К — шесть очень сжатых и исчерпывающих строк). К особенно наглядно демонстрирует другую возможность истолкования для *bagrъ*. Но то обстоятельство, что ареалы обоих слов различны (*bagrъ* — южнославянское, тогда как *bagno* в южнославянских языках неизвестно), является скорее аргументом против этого разделения (продолжения и.е. *bhāg-r-* и *bhāg-l-* также имеют и значение «болото»). Относительно *balamŏiti* М и К приходят к тождественному заключению (К: «rodzime ekspresywne złozenie»), а именно — что первый компонент является экспрессивным элементом³². Вследствие известного пристрастия к латыни М склонен предполагать для *babъjъ* основу *badl-*, т. е. и.е. **bhā-dhl-* (представлено в лат. *fabula*). В статье *baranъ* К ограничивается краткой констатацией, что вариантность корневого вокализма и непрозрачность морфологической структуры указывают на какое-то древнее заимствование. В вообще не упоминается подробный анализ, принадлежащий О. Н. Трубачеву³³. В столь же подробном этимологическом разделе в М О. Н. Трубачев в настоящее время приходит к выводу, что др.-тюрк. *baran* было, очевидно, лишь посредником при передаче ср.-иран. **bārān* < **vārān*, родственного др.-инд. *urāṇa* и греч. *ἄρῆν* и т. п. В *bata/bala* и подобных образованиях наверняка лучше усматривать вместе с М слова детского языка (типа *tama, tata, baba, papa* и др.), чем предполагать вместе с К уменьшительное, ласкательное сокращение слова *bratrъ*. Согласно М, *baviti* является не каузативом к *byti*, а скорее отыменным от **bava*, как *slaviti* от *slava* и *traviti* от *trava*. Эта остроумная догадка была бы еще более ценной, если бы *bava* была столь же очевидно праславянским словом, как *slava* или *trava* (М опирается в этой реконструкции только на восточнославянский материал, весьма далекий от сопоставляемых с ним др.-инд. *bhavas*, нем. *Bau* и лат. *javus*, которые семантически различны), и если бы в паре *traviti* — *trava* были те же семантические отношения. Слав. *Berka/berkъ* «Sorbus» могло бы быть, согласно М, даже славянским образованием **ber-k-* к **berq*; на эту мысль наводит семантическая параллель в латинском определении этого растения — *Sorbus aucuparia*, т. е. «ловящая (берущая) птиц». В статье *besěda* М отвергает (и, кажется, справедливо) объяснение как «сидение снаружи» [*besěda* первоначально означало «сидение» (без оттенка «снаружи»), ср. отчасти тот же путь, проделанный русским словом *посиделки*]. В К об этом старом толковании не говорится прямо: оно помешано в раздел литературы. Вместе с обоими словарями следует также с известной долей скепсиса оценить и соблазнительную параллель — литов. *besedėti* «продолжать сидеть». М предполагает (вслед за Розвадовским) связь с др.-инд. *bhasad-* «аднища», первоначально *«сидение» (можно ли исключить для др.-инд. слова подозрение в звукоподражательном происхождении — ср. ст.-чеш. *pezd?*). Короче говоря, «*pevnej etymologii brak*» (К).

Закончим очень сжатой характеристикой обоих новых словарей. К технически выполнен лучше, он хотя бы частично придерживается гнездового принципа и не членил материал так абсолютно, как М; однако К,

³¹ Есть еще *bagrъ2* (см.: V. M a s h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, s. v. *bahor*), которое М считает родственным с *běžeti*; К ограничивается возведением к и.е. *bhāg-* «сгибать».

³² Махек связывал его последовательно с тремя знаменательными основами: *blāto*, др.-инд. *bālas* «юный, детский» и, наконец, греч. *φηλος* «обманчивый», хотя уже Бернекер («Slavisches etymologisches Wörterbuch», I, Heidelberg, 1908—1914, стр. 40) предостерегал: «schwerlich zu... φηλος... oder zu ai. *bālas*».

³³ Ср.: О. Н. Т р у б а ч е в, Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960, стр. 73—76.

в сравнении с М, более краток, а также иногда, может быть (ср. выше о статье *asi*), в основном менее полон и более традиционен, осторожен в толкованиях; в М гораздо более содержателен³⁴ и уже поэтому более обстоятелен. И в этимологических толкованиях М более смел (ср. выше о *berka* или *badľjъ*) и при этом не утрачивает необходимую долю критичности. Исключением в этом отношении является, может быть, лишь слишком широкая концепция праславянского, но в этом ему иногда уподобляется и К. Об их соотношении в этом смысле свидетельствует отмеченное выше взаимное пересечение обоих словарей в отборе материала. В К дается, кроме того, почти на ста страницах очерк славянского словообразования (суффиксальная деривация).

Оба словаря дают хорошее представление как о соответствующих коллективах, так и об их ведущих этимологах.

Перевела с чешского Ж. Ж. Варбот

³⁴ Кроме того, что уже было отмечено в других местах, ср. еще такие числовые данные, взятые для сравнения более или менее случайно: гнездо *bajati/baja* представлено в М в 18 статьях и подразделениях статей и на 4,75 страницах, а в К — в четырех основных статьях и на полутора страницах. Этимологическая часть в некоторых статьях (для *bagno* и *bagrъ* данные см. в тексте)—*berza*: М — две страницы, К (вместе с *berzъ*) — четверть страницы; *bergъ*: К — четыре строки, М — почти страница; *bedro*: К — шесть строк, М — 42 строки; группа *belnъ/belena*: К — шесть строк (меньше, чем у Бернекера), М — 65 строк и т. д.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. П. СУНИК

К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ АЛТАИСТИКИ

Важность сравнительно-исторического исследования алтайских языков, взятых в целом, или их отдельных групп — тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской, а также корейской и японской — не вызывает каких-либо серьезных сомнений, несмотря на значительные трудности, возникающие в данной отрасли компаративистики. Этим определяется и особая актуальность ряда теоретических проблем алтаистики, многие из которых являются остродискуссионными. Центральной из них была и остается проблема происхождения материальной и структурно-типологической общности алтайских языков — общности, выявленной в результате довольно длительного сравнительно-сопоставительного, а затем и сравнительно-исторического изучения указанных языков лингвистами различных специальностей, школ и направлений.

I

Для основоположников современной научной алтаистики, сложившейся в последние полвека, исконное родство алтайских языков представляется бесспорным. Об этом свидетельствуют установленные алтаистами-компаративистами фонетические и морфологические соответствия между группами алтайских языков, прежде всего такими, как тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская¹.

Алтаистика в этом ее понимании определяется как одна из составных частей современного сравнительно-исторического языкознания, о чем недавно писал Э. А. Макаев, отметивший попутно, что «влачившая долгие годы жалкое существование алтайская гипотеза постепенно, но неуклонно превращается в строго научное и хорошо фундированное сравнительное алтайское языкознание»². Как опытный теоретик-компаративист Э. А. Макаев вместе с тем решительно возражает против известных попыток при объяснении природы алтайской языковой общности взаимодополнить или совместить понятия «лингвистической семьи» и «языкового союза». Только на базе генетически родственных языков, восходящих к общему языку-предку, может быть создана сравнительно-историческая грамматика соответствующих языков. Возможность создания такой грамматики — убедительное доказательство генетического родства (а не одного лишь взаимо-

¹ Подробнее см.: О. П. Суник, Проблема общности алтайских языков, сб. «Проблема общности алтайских языков» (далее — ПОАЯЗ), Л., 1971.

² Э. А. Макаев, [рец. на кн.:] «Проблема общности алтайских языков», ВЯ, 1973, 4, стр. 142.

влияния) той группы языков, по материалам которой такая грамматика может быть создана³.

Известно, что основы сравнительно-исторической грамматики (фонетики, морфологии), а также сравнительно-исторической лексикологии (этимологии) алтайских языков усилиями видных алтаистов-компаративистов нашего века созданы и, несмотря на порой уничтожающую, но далеко не всегда научно обоснованную критику, продолжают разрабатываться путем расширения языковых источников, уточнения или пересмотра отдельных выводов, совершенствования методики исследования, углубления предложенных реконструкций, пересмотра исходных языковых схем и систем архетипов.

Тем не менее, генетическое родство алтайских языков в силу ряда обстоятельств (в том числе и объективного свойства) не считается некоторыми алтаистами (сторонниками алтайского сравнительного языкознания) доказанным со всей необходимой убедительностью, а противниками «так называемой алтайской гипотезы в языкознании» начисто отрицается без каких-либо серьезных, как правило, компаративистических аргументов.

Так, например, В. Л. Котвич, много сделавший для развития сравнительного алтайского языкознания и монголоведения, в посмертно изданном труде пришел к заключению, что основу алтайской языковой семьи составляют не генетические связи, а типологическое сходство. Ставя под сомнение вопрос об общеалтайском языке, этот крупный ученый, правда, вместе с тем писал: «Во всяком случае существование этого общего языка следовало бы относить к очень отдаленному прошлому, не менее чем к началу первого тысячелетия до нашей эры. В эпоху гуннов (начиная с IV—III вв. до нашей эры) уже существовали совершенно обособленные тюркский, монгольский и тунгусский языки с различным словарным фондом и морфологией, близкие друг другу только типологически⁴.

Каких-либо доказательств для столь недалекой во времени (около 3 тысячелетий тому назад) локализации праалтайского языка и для столь же скоротечного обособления (в течение 6—7 веков) выделившихся из него пратюркского, прамонгольского и пратунгусского языков В. Л. Котвич не привел и привести, как кажется, не мог. Темпы развития языков или диалектов (в частности, их дифференциация и интеграция) в разные общественные эпохи очень различны. И чем глубже мы будем мысленно уходить в историю разных (в том числе первобытных) этнических общностей — носителей соответствующих языков (или диалектов), тем темпы общественного и языкового развития будут, как правило, значительно снижаться. Таковы уж общие закономерности развития ранних, доклассовых, обществ и сменивших их со временем обществ раннеклассовых.

Для ряда других сторонников сравнительного алтайского языкознания, немало сделавших для его развития, вопрос о происхождении алтайской языковой общности остается открытым, хотя алтайская теория (теория генетического родства алтайских языков) не только ими не отвергается, но и признается весьма полезной, заслуживающей всестороннего внимания и дальнейшей разработки, поскольку она представляется «очень вероятной» и применяется сторонниками алтаистики в их исследовательской работе.

Так, например, выдающийся венгерский лингвист Л. Лигети, как видно и по его работам, опубликованным на страницах журнала «Вопросы

³ Подробнее см.: Э. А. Макаев, О соотношении генетических и типологических критериев при установлении языкового родства, сб. «Энгельс и языкознание», М., 1972, стр. 290 и сл. (с указанием и критическим разбором литературы вопроса).

⁴ В. Л. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 351.

языкознания»⁵, неоднократно подчеркивал особые трудности, связанные с окончательным и безупречным решением проблемы происхождения алтайской общности. Главной из них, по его мнению, является нелегкая задача разграничения элементов возможной генетической общности, следы которой могут быть обнаружены во всех алтайских языках, от элементов общности вторичной, развивающейся в разные периоды тесных контактов тех или иных алтайских народов на протяжении по крайней мере двухтысячелетнего периода. Взаимные лексические заимствования не только из одних алтайских языков в другие, но и заимствования из неалтайских языков (явления субстрата или суперстрата) привели к значительной лексической общности в т о р и ч н о г о п о р я д к а и дали основания для установления разного рода соответствий, не относящихся к общеалтайскому праязыковому наследию, что создает большие трудности для применения сравнительно-исторического метода. «Не подлежит сомнению, — писал Л. Лигети, — что в своих сравнительно-исторических исследованиях в области алтаистики мы должны опираться только на тот языковой материал, который в отдельных языках может рассматриваться как непосредственное продолжение алтайского языка-основы»⁶.

И хотя списки различного рода лексических заимствований (по преимуществу достаточно поздних, начиная примерно с XIII в. нашей эры) давно уже опубликованы алтаистами, и составляют сотни лексем, задача отделения заимствований от общеалтайского наследия ввиду ее особой сложности не может быть признана выполненной.

Считаясь с обилем вторичных сходств в области лексики различных алтайских языков, Л. Лигети в статье, посвященной критическому разбору одной из явно несостоятельных попыток опровергнуть алтайскую теорию с помощью лексикостатистики⁷, писал: «... именно в случае генетического родства различные алтайские языки дадут чрезвычайно низкий процент общих элементов алтайского „основного словаря“ и чрезвычайно высокий процент элементов, относящихся к лексике после отделения языков»⁸.

Должно быть, поэтому и считаясь с тем, что многие соответствия в классической алтаистике основаны на заимствованной лексике, А. Рона-Таш, развивая точку зрения Л. Лигети на проблему происхождения алтайской общности, заметил: «...если алтайские языки генетически родственны, то доказывается это не на основании соответствий, а вопреки соответствиям, приводимым до сих пор в пользу алтайской гипотезы»⁹.

Постановка вопроса в виде альтернативы — или праязыковое наследие или заимствования — при решении алтайской проблемы не является, на наш взгляд, достаточно корректной и находится в противоречии с общим выводом автора, которому, как он пишет, не хотелось бы исключать возможности праалтайского «остатка» после исключения всех заимствований вывленных и еще не вывленных¹⁰.

Важно подчеркнуть и то, что даже если бы генетическое родство алтайских языков, которое в отличие от весьма близкого родства внутри каждой из алтайских групп, может быть только весьма дальним, было бы когда-

⁵ Л. Лигети, [рец. на кн.:] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, ВЯ, 1955, 5; его же, Алтайская теория и лексикостатистика, ВЯ, 1971, 3.

⁶ Л. Лигети, [рец. на кн.:] Г. Д. Санжеев..., стр. 135.

⁷ Дж. Клоусон, Лексикостатистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5.

⁸ Л. Лигети, Алтайская теория и лексикостатистика, стр. 33.

⁹ А. Рона-Таш, Общее наследие или заимствования?, ВЯ, 1974, 2, стр. 45. Ср.: Н. А. Сыромятников, Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках?, ВЯ, 1975, 3.

¹⁰ А. Рона-Таш, указ. соч., стр. 45.

вибудь опровергнуто¹¹, то алтаистика не исчезла бы бесследно. Целью алтаистических исследований явилось бы и в этом случае освещение тех глубинных закономерностей развития алтайских языков, к которым, по заключению Л. Лигети, «ни тюркологи, ни монголисты, ни специалисты по тунгусо-маньчжурским языкам сами по себе не могут даже приблизиться»¹².

Иначе говоря, принцип историзма не может быть осуществлен при исследовании многих нерешенных или еще не поставленных вопросов исторической тюркологии, монголистики или тунгусо-маньчжуроведения без разработки проблем алтаистики, несмотря на те исключительные трудности, которые связаны с решением одной из ее важнейших проблем — проблемы происхождения общности алтайских языков, взятых в целом. Вопрос о том — нужна ли алтаистика или ее следует «заккрыть» — явный анахронизм, плод печального недоразумения.

Таковы сходства и важнейшие различия во взглядах на алтаистику, ее проблемы и цели, между алтаистами, т. е. сторонниками алтайского сравнительного языкознания.

Совершенно иначе оценивают данную отрасль науки о языке противники алтайской теории и алтаистики вообще. Не останавливаясь здесь на возражениях лингвистов, слабо искушенных в компаративистике, или просто не верующих в родство недостаточно известных им различных алтайских языков и, в частности, потому находящихся алтаистику излишним бременем и для себя, и для тех, кто ею так или иначе занимается, остановимся на некоторых принципиальных возражениях против алтаистики компаративиста Г. Дёрфера — одного из наиболее настойчивых, хотя и не во всем последовательных противников алтайской теории.

Неоднократно объявляя без каких-либо убедительных аргументов выводы (или даже предположения) о генетическом родстве между известными группами алтайских языков абсолютно несостоятельными, а так называемую «старую алтаистику» не только бесполезной, но и вредной (destruktive), Г. Дёрфер в одной из своих статей, посвященной методике сравнительной фонетики тюркских языков¹³ и являющейся по существу рецензией на «Сравнительную фонетику тюркских языков» А. М. Щербача (тоже одного из противников «алтайской гипотезы в языкознании»)¹⁴, еще раз предложил отказаться от тех методов, которыми пользуются алтаисты, находя, что методы эти, разработанные «трижды святой индоевропейстикой», в сущности не применимы для исследования алтайской языковой общности¹⁵.

Г. Дёрфер высоко оценил смелость автора указанной «Сравнительной фонетики тюркских языков», оставившего, по словам рецензента, «изъ-

¹¹ Имеем в виду не опровержения чисто вербальные («не верю в родство», «его нельзя доказать, но невозможно и опровергнуть» и т. п.), а только научнообоснованные, предполагающие то или иное объяснение происхождения бесспорного факта материальной и структурно-типологической общности алтайских языков — факта, который никак не снимается ссылкой на несомненные или сомнительные (теоретически возможные?) лексические заимствования, в том числе заимствования на уровне праязыка или праязыков (общалтайского или групповых).

¹² Л. Лигети, Алтайская теория и лексикостатистика, стр. 33.

¹³ G. D o e r f e r, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, «Orientalistische Literaturzeitung», LXVI, 7/8, 1971, стлб. 325—344.

¹⁴ Откликом на эту обстоятельную рецензию Г. Дёрфера, содержащую вместе с тем немало спорного, и на некоторые его другие работы явилась статья: Э. В. Се в о р т я н, К источникам и методам пратюркских реконструкций, ВЯ, 1973, 2.

¹⁵ См. также: Г. Д ё р ф е р, Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропейстики?, ВЯ 1972, 3. Ср. ст.: Л. Г. Герценберг, Об исследовании родства алтайских языков, ВЯ, 1974, 2, явившуюся ответом на некоторые замечания Г. Дёрфера против алтайской теории.

езженный и ведущий в ту или иную сторону старую алтаистику», (стлб. 325), но вместе с тем заявил, что и «новый путь» (стлб. 325), избранный А. М. Щербаком, оказывается тоже «во многом ложным» (стлб. 325), ибо «по одним только современным тюркским языкам невозможно реконструировать пратюркский язык» (стлб. 332). «Прискорбным недостатком» указанной работы рецензент считает то, что автор ее «работает неисторически» (стлб. 327).

Что же предлагает Г. Дёрфер вместо этих двух якобы в равной мере ложных путей?

Оказывается, их синтез — «синтез более старых алтаистических тезисов и более новых антитезисов» (стлб. 325).

Не подменяется ли здесь общеизвестное понятие «синтеза» рекомендацией механического соединения алтаистики и антиалтаистики — вещей несовместимых или совместимых, быть может, только эклектически? Да и может ли дать синтез старых и новых, но в равной мере ложных, по мнению Г. Дёрфера, путей что-либо позитивное третье?

Общность алтайских языков, выявленную алтаистами, Г. Дёрфер рекомендует объяснять только заимствованиями — из тюркских в монгольские, а из монгольских в тунгусские. С запада на восток. И только!

Не предполагает ли такая односторонняя география заимствований абсолютно стабильного расселения различных групп алтайских народностей и племен от неолита до наших дней? Считается ли автор этой странной теории с документально засвидетельствованными в различных исторических хрониках многочисленными передвижениями предков современных алтайских народов с востока на запад и с запада на восток, с юга на север и с севера на юг?

Как сопоставитель, основательно знакомый с опубликованными в разное время алтаистическими исследованиями, Г. Дёрфер, конечно, знает, что во всех группах алтайских языков наряду с множеством лексических заимствований, отмечаемых в литературе¹⁶, имеется немало и общеалтайских слов или корней, о которых невозможно сказать, кто у кого их заимствовал и заимствовал ли вообще.

Поздние (или относительно поздние) лексические заимствования (культурные слова, многие этнографизмы или географизмы, а в ряде случаев и отдельные числительные или некоторые иные слова из так называемого основного лексического фонда) выявляются в отдельных группах алтайских языков достаточно убедительно, что так же относится и к заимствованиям из неалтайских языков (некоторых семитических и индоевропей-

¹⁶ Начиная по крайней мере с одной из ранних работ Б. Я. Владимирцова «Турецкие элементы в монгольском языке» (1911), написанной еще до полного и безусловного признания ее автором генетического родства алтайских языков, и кончая другими многочисленными работами как алтаистов, так и антиалтаистов, вопросы лексических взаимозаимствований (иначе — «лексических параллелей») в алтайских языках освещались многократно — и внутри отдельных близкородственных групп языков, и между языками, принадлежащими к разным группам — тюркской и монгольской, монгольской и тунгусо-маньчжурской, а также этой последней и тюркской. Неоднократно выдвигались и методы (критерии) установления заимствований: фонетический, семасиологический (в том числе этимологический), структурно-грамматический (морфологический), а также культурно-исторический, лингво-географический и т. п. См., например, указанную статью А. Рона-Таша, где приведены многие примеры заимствований. Об актуальности этой проблемы и далеко не полной ясности в ее решении свидетельствуют значительные расхождения между теми, кто ею так или иначе занимался. См., например, статью: Т. А. Бертагеев, Внутренняя реконструкция и этимология слов в алтайских языках, ПОАЯЗ, стр. 90 и сл., содержащую ряд убедительных доводов против упрощенного объяснения многочисленных тюрко-монгольских «параллелей» односторонними заимствованиями из тюркских языков в монгольские. См. еще: К. А. Новикова, Иноязычные элементы в тунгусо-маньчжурских наименованиях животных, ПОАЯЗ, стр. 236 и сл., а также: Н. А. Сыромятников, указ. соч.

ских, китайского и тибетского). Сложность проблемы заимствований определяется другим: весьма длительными (на протяжении тысячелетий) контактами различных алтайских племен и народностей с различной степенью интенсивности этих контактов. Фонетические критерии ввиду их несомненной исторической изменчивости (не всегда учитываемой) в различных группах алтайских языков для установления достоверности заимствований (особенно древних) оказываются во многих случаях шаткими, что нередко приводит к тому, что у разных авторов (а иногда и в разных работах того же автора) одна и та же лексема (или ее корень) представляется то заимствованием, то общеалтайским достоянием, то и тем и другим.

Как показал Т. А. Бертагаев в указанной выше работе, нет никаких серьезных оснований, ссылаясь на те или иные фонетические особенности реально засвидетельствованных (современных или старописьменных) монгольских и тюркских слов, утверждать, из какого в какой из этих языков были заимствованы такие, например, слова, как тюрк. *сабдак* и монг. *сагатау* «колчан», тюрк. *тамга* и монг. *ламага* «печать, тавро», тюрк. *аръз* и монг. *ариюн* «чистый», тюрк. *көк* и монг. *көке* «голубой», тюрк. *жүрәк* и монг. *жүркен* «сердце», тюрк. *әрк* и монг. *ерке* «сила», тюрк. *ajak* и монг. *ажага* «чаша» и т. п. Ведь то, что в некоторых (в том числе старописьменных) монгольских языках при сопоставлении с некоторыми тюркскими языками (в том числе старописьменными) констатируется открытость или звонкое окончание конечного слога в плане сравнительно-историческом (генетическом) не только ничего не доказывает, а, напротив, требует специального исследования.

Лексические взаимозаимствования при соответствующих географических (территориальных) и общественно-исторических условиях возможны не только между языками неродственными, но и между языками (или диалектами) любой степени родства. Нет также, разумеется, оснований утверждать априори будто бы все, что в родственных языках является общим, восходит непосредственно к их праязыковому состоянию, а то, что в них существенно различается, должно быть не результатом их позднего обособленного развития, а только заимствованием из неродственных первоначально языков.

В разных диалектах нанайцев, близкое языковое родство которых очевидно, общее название, например, для «рыбы» звучит совершенно поразно: *согдата*, *оло*, *имаха*. Пытаться сводить эти названия к одному архетипу бессмысленно. Сопоставление же этих слов с однозначными словами других тунгусо-маньчжурских языков — эвенк. *олло* ~ *олдо* ~ *олро*, негид. *оло* (< *олло*), маньч. *нимаха* — может натолкнуть на мысль о заимствовании. Но заимствования здесь могло и не быть, если учесть, что нан. (кур.-урм.) *оло* «рыба» генетически связано с нан. *холто*, ульч. *холто(н)*, удэг. *олохо* «вареная свежая рыба, уха без приправы», а нан. *согдата*, ульч. *сугдата*, удэг. *сугдехэ* «рыба» генетически связано с эвенк. *сугдана* ~ *сугданда* ~ *сугданра*, эвен. *хузанра* ~ *хузданда* ~ *хузданна*, нег. *согдана*, нан. (кур.-урм.) *согдана* «форель» или «ленок», подобно тому, как маньч. *нимаха*, нан. (бикин.) *имаха* связаны с нан., ульч. *нимо* «ленок»¹⁷.

Не исключено, конечно, что нан. (кур.-урм.) *оло* «рыба» все же заимствовано из какого-либо диалекта эвенков, а нан. (бикин.) *имаха* — из маньчжурского. Но это не только не опровергает очень близкого родства начайских диалектов да и всех тунгусо-маньчжурских языков, вместе взятых, а лишь свидетельствует о возможности лексических заимствований

¹⁷ Подробнее см.: В. И. Ц и н ц и у с, Вопросы сравнительной лексикологии алтайских языков, ПОАЯЗ, стр. 82 и сл.

при развитии и близкородственных языков, не говоря уже о возможности таких взаимозаимствований между языками отдаленнородственными, особенно если эти языки (их словарный состав) в результате очень длительного обособленного развития значительно различаются по своему составу и по уровню своего развития, а носители соответствующих языков находятся на разных этапах эволюции общественного строя. Иными словами, наличие даже весьма обильных и несомненных лексических взаимозаимствований — не аргумент против родства той или иной группы языков, каким бы отдаленным это родство ни было. С помощью «теории заимствований» невозможно объяснить не только природу алтайской общности, но и природу общности каждой из групп алтайских языков, родство которых несомненно.

Известно что в алтайских языках установлены и такие лексические «совпадения», о которых нельзя с уверенностью сказать — из каких языковых групп в какие они заимствовались да и заимствовались ли вообще.

Таковы, например, монг. *erekei* ~ *herekei* (< **perekei*) «большой палец», маньч. *фэрхэ*, нан. (бикин.) *пэрхэ* ~ *пэрэхэ*, улч. *пурү(н)*, удэг. *хуэ*, эвенк. *хуругун* ~ *хурувун* ~ *урувун*, др.-тюрк. *erqäk* (**er-qäk*) id.; монг. *gar* «кисть руки или рука», маньч. *гала* (< *gāra*?) нан. *җала*, эвенк. *җалэ* «рука», но также нан., эвенк. *гара* ~ *гар*, удэг. *гā* «сук, ветвь», маньч. *гарган* ~ *гарга* «ветвь, отрасль, члены тела (руки, ноги)», др.-тюрк. *qarı* «верхняя часть руки», *qarıç* «размах рук»; монг. *kökün* «грудь, соски», маньч. *хухун*, эвенк. *укун* ~ *хукур*, нан. *ку(н)* ~ *укун'*, чуваш. *какар*, др.-тюрк. *köküz* (< **kökür*) «грудь» и мн. др.¹⁸.

Подобного рода праалтайские по происхождению, как предполагается, слова значительно отличаются в засвидетельствованных древних и современных языках или языковых группах и по форме, и по значениям, не являясь во многих отношениях идентичными, что говорит об их длительном автономном развитии в каждой из языковых групп, в каждом из языков или диалектов той или иной группы. Пути фонетической, морфологической и семантической эволюции этих и других общеалтайских (или отчасти общеалтайских, т. е. встречающихся не во всех алтайских языках) слов устанавливаются и изучаются с помощью применяемых в компаративистике методов: выявления звуковых соответствий, общих структурно-грамматических и семасиологических моделей, а также с помощью реконструкции их исходных форм и первоначальных значений, давших затем разные рефлексy в засвидетельствованных языках или «выпавшие» из которых языков бесследно.

Итак, в алтайских языках имеются такие общие лексические «совпадения», о которых в сущности невозможно или очень трудно сказать, в каком географическом направлении, из каких групп в какие они заимствовались и заимствовались ли вообще. Относя все же и такого рода «совпадения» к заимствованиям (возможно, «на уровне групповых языков»), Г. Дёрфер вместе с тем признает, что «в алтайских языках нельзя найти ясных критериев для разграничения заимствованных и изначально родственных слов». Не отрицая, следовательно, принципиальной возможности «изначально родственных слов» в этих безусловно неродственных, по его мнению, языках, он в то же время считает, что «и в таких случаях было

¹⁸ Подробнее см.: N. P o r r e, A new symposium on the altaic theory, «Central Asiatic journal», XVI, 1, 1972, стр. 43 и сл. Ср.: А. Р о н а - Т а ш, указ. соч., особенно стр. 44. См. также: В. Д. К о л е с н и к о в а, О названиях частей тела в алтайских языках, ПОАЯЗ, стр. 140 и сл. Многочисленные примеры лексических «совпадений» систематизированы и рассмотрены в сравнительно-историческом плане в кн.: «Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков», Л., 1972; см. также «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», I, Л., 1975.

бы осмотнительнее предполагать ... заимствования»¹⁹. Но ведь еще более осмотнительным было бы вообще отказаться от алтаистики, не пытаясь «синтезировать» то, что не может быть синтезировано.

Алтаистика, так сказать, без берегов, эклектическая смесь из старых алтаистических тезисов и новых антитезисов Г. Дёрфера, объявившего к тому же о подготовляемом им «Опыте сравнительной морфологии алтайских языков», основанном главным образом на своего рода «космополитических» морфемах, вызывает серьезные сомнения²⁰.

Либо алтайские языки так или иначе родственны (отдаленнородственны), и сравнительно-историческое изучение их необходимо, либо они, как утверждает Г. Дёрфер, никак не родственны, и тогда действительно сравнительно-историческое их изучение не только не нужно, но и невозможно. И никакое, повторяем, «синтезирование» диаметрально противоположных взглядов на алтаистику, ее методы и задачи в сущности невозможно.

Сурово и основательно критикуя тех, кто пытается написать сравнительную грамматику, например, таких близкородственных языков, как тюркские, без всякой опоры на алтаистику, Г. Дёрфер заметил: «Ничто априори не должно только потому, что это выдумал Рамстедт... примеры Рамстедта в большинстве ошибочны, но его правила (Regeln) по большей части как раз верны (только часто должны быть переосмыслены)»²¹.

Если, между прочим, учесть, что с одним из таких «правил» (реконструкции праалт. анлаутного *р- в пратюркском) Г. Дёрфер уже согласился, покончив со своим, как он заявил, необоснованным в данном вопросе скептицизмом, то пример его — другим наука, всем тем, кто на словах поносит так называемую традиционную алтаистику, но пользуется ее плодами, ибо без учета данных других алтайских языков (монгольских и особенно тунгусо-маньчжурских), а также без учета известных выводов сравнительно-исторической фонетики алтайских языков в целом, даже реконструкция пратюркского *р-, по-видимому, была бы крайне затруднительной.

II

Как ни важно сравнительное изучение лексики (особенно корневых морфем) для установления межъязыковых соответствий и определения природы общности алтайских языков, генетическое родство которых нередко отрицается или ставится под сомнение, по одним только лексическим материалам алтайскую проблему окончательно решить, по-видимому, нельзя.

Особое внимание данному вопросу недавно еще раз уделил один из основателей современной научной алтаистики Н. Н. Поппе²².

Большинство сравнительных исследований в области алтаистики посвящено фонетическим соответствиям, установленным по данным лексики алтайских языков, в то время, как морфологические соответствия (за исключением известных работ Г. Рамстедта) изучались довольно редко. Это обстоятельство, отмечает Н. Н. Поппе, составляет слабость (eine Schwäche) алтайской теории, так как сравнение лексики и установление звуковых

¹⁹ Г. Дёрфер. Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропейстики?, стр. 62.

²⁰ Ср.: Э. В. Севортян, К источникам и методам пратюркских реконструкций (особенно стр. 38, примеч. 13).

²¹ G. Döerfer, Bemerkungen zur Methodik..., стлб. 344.

²² N. Poppe, Über einige Verbalstammbildungsuffixe in den altaischen Sprache, «Orientalia Suecana», XXI (1972), Uppsala, 1973. Ср. также вышеуказанную его статью «A new symposium on the Altaic theory».

соответствий еще недостаточно для того, чтобы окончательно и безупречно доказать родство алтайских языков, ибо «теоретически любые слова могут быть заимствованы» (стр. 119). В принципе возможны, правда, и заимствования некоторых словообразующих морфем (например, франц. *-ette* в англо-американском *roomette* «спальное купе в ж.-д. вагоне» и т. п.), но, как пишет автор цитируемой работы, «в высшей степени невероятно, чтобы такие грамматические категории, как падеж или род могли быть заимствованы» (стр. 122).

К сказанному можно добавить, что если «заимствования» подобного рода все же наблюдаются, то это уже по существу заимствование (через ступень двуязычия) нового языка — родственного или неродственного, т. е. полная или частичная замена одного языка другим, даже если в этом другом остается кое-что от прежнего (отдельные слова или их основы, особенности вариантов фонем, акцентуации и т. п.). Ср., например, широко употребительные в районах Хабаровского края среди местного русского и нерусского населения, владеющего русским языком, глаголы типа *таловать*, *ангалить* и т. п. от нанайско-ульчск. *тала-* «строганика из свежей рыбы», *аңга-* «сеть для подледного лова». Нет никаких оснований для встречающегося еще иногда в лингвистической литературе утверждения, что в такого рода случаях произошло заимствование из русского в соответствующие нерусские языки словоизменительных глагольных морфем. И *таловать* и *ангалить* — это русские областные слова (глаголы) с первичными основами (корнями), заимствованными из нерусских языков.

Системы словоизменительных, да и многих словообразовательных морфем — парадигматические особенности морфологического строя языка — не заимствуются в отличие от почти неограниченного (теоретически) заимствования лексики. Известно, что корейский или османскотурецкий языки, содержавшие в некоторые периоды своего развития до 90 % иноязычных слов из неродственных языков, не переставали оставаться таковыми, поскольку каждый из них сохранил парадигматические особенности своего грамматического строя.

В качестве показательных примеров общеалтайских суффиксов Н. Н. Поппе приводит словообразовательные суффиксы для отглагольных существительных тюрк., монг., тунг. *-n*, *-gā-gē/-g*, а также тунг. *-t* и монг. *-d* — суффиксы для образования вторичных глагольных основ. В числе общеалтайских суффиксов указываются, кроме того, эвенк. *-ča* — показатель причастия прош. времени, а в монгольском и тюркском — показатель отглагольных имен (результата действия): монг. *ab-u-ča* «взятие», тюрк. *ber-i-š* «даяние» и т. п. Ср. еще нан. *ноңи-ча* «прибавление», *зуку-чэ* «завернутое, сверток», *ниру-чэ* «написанное, приписка» и т. п.²³

Не рассматривая здесь других общеалтайских суффиксов, приведенных Н. Н. Поппе (транзитивно-каузативных *-gā*, *-bu*, совместного или взаимного действия *-ldu* ~ *-ndu* ~ *-l*, *-du*, *-ča* ~ *š* ~ *-č*, среднего залога *-rā*) отметим, что полного совпадения — материального и функционального — во всех группах алтайских языков (а иногда и в одной группе близкородственных языков) они не имеют, хотя наличие общеалтайских черт в каждом из них несомненно.

Нельзя не согласиться и с общим выводом Н. Н. Поппе, сделанным на основании рассмотренных фактов: «О заимствовании суффикса *-n* эвенками у монголов или монголами суффикса *-ča* у эвенков не может быть и речи» (стр. 122). То же относится и к другим общеалтайским суффиксам,

²³ Подробнее см.: О. П. С у н и к, Глагол в тунгусо-маньчжурских языках, М.—Л., 1962, стр. 233.

количество которых, по сравнению с общими («совпадающими») словами, хотя и не велико, но для решения вопроса о природе общности алтайских языков весьма существенно.

Изучением некоторых проблем алтаистики занимался и компаративист В. М. Иллич-Свитыч, уделивший значительное внимание вопросам сравнительно-исторической фонетики языков алтайской семьи²⁴.

Родство алтайских языков В. М. Иллич-Свитыч признает научно обоснованным лишь начиная с известных трудов З. Гомбоца, Г. Рамстедта и Н. Н. Поппе, публикация которых началась с первых десятилетий нашего века²⁵.

Характерно, что В. М. Иллич-Свитыч в отличие от ряда алтаистов особо подчеркнул «весьма отдаленное», родство трех алтайских групп — тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской, — считая вопрос о принадлежности корейского языка, а также японского, к алтайской семье еще не разрешенным.

Алтайская языковая общность, как предполагает автор, распалась значительно раньше других пяти больших языковых семей, включаемых в так называемую ностратическую макросемью, о чем свидетельствуют глубокие расхождения (особенно в области основного словарного фонда) между отдельными группами алтайских языков.

Таким образом, время распада алтайского праязыка должно быть отнесено по крайней мере к десятому тысячелетию до нашей эры, а время распада праязыковых единств таких близкородственных языков, как тюркские, монгольские или тунгусские, отодвинуто к 3—4 тысячелетию до нашей эры.

Как ни условна такая относительная хронологизация отдаленных от нас тысячелетиями предполагаемых процессов языковой дифференциации, с ней, по-видимому, следует считаться — и при общей оценке степени исконной алтайской общности, и при опытах реконструкции элементов праалтайского языкового состояния, а также при опытах реконструкции пратюркского, прамонгольского или пратунгусского урешей. Реконструкция эти — общеалтайская и групповые — не могут не различаться и в количественном, и в качественном отношении, а также в степени достоверности предлагаемых архетипов. Одни из них (праалтайские) всегда окажутся реконструкциями очень дальними, другие — сравнительно ближними.

Перед алтайской сравнительной грамматикой стоит еще много перешенных проблем, особенно в области сравнительной морфологии и этимологических исследований. Отмечая это, В. М. Иллич-Свитыч, как и некоторые алтаисты, обращает внимание на недостаточно полное использование для алтаистических реконструкций материалов тунгусо-маньчжурских языков. (К тому же, добавим, часто по недостаточно точным данным, опубликованным в начале нашего века или даже в середине прошлого.)

Возражая противникам алтайской теории, пытающимся свести все сходства между группами алтайских языков к взаимовлияниям неродственных первоначально языков, В. М. Иллич-Свитыч вслед за некоторы-

²⁴ В. М. Иллич-Свитыч, Алтайские дентальные: *t, d, δ*, ВЯ, 1963, 6, стр. 51 и сл.; е го же, Алтайские гуттуральные **k'*, **k*, **g*, сб. «Этимология, 1964», М., 1965, стр. 338 и сл.; е го же, Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (В — К), М., 1971 (особенно стр. 67—72).

²⁵ К такому заключению давно уже пришел и Е. Д. Поливанов. См. его статью «К вопросу о родственных отношениях корейского и „алтайских“ языков», ИАН, серия VI, т. XXI, 1927, 15—17, где, кроме того, еще отмечается большая заслуга Б. Я. Владимирцова в разработке основ сравнительной грамматики алтайских языков.

ми алтаистами писал: «После снятия заимствований различных периодов остается определенная группа лексических и морфологических сходств, которые могут быть объяснены лишь при признании генетического родства алтайских языков». Если даже эти сходства попытаться истолковать как наиболее древний слой заимствований, то и тогда окажется постулированным языковое состояние, не являющееся ни прототюркским, ни протомонгольским, ни прототунгусским, а только протоалтайским.²⁶

Все это в плане общетеоретического может быть признано вполне убедительным, но утверждение В. М. Иллича-Свитыча, согласно которому «основные черты алтайского праязыка вырисовываются уже сейчас достаточно четко»²⁷, кажется нам преждевременным.

Где и когда, а главное в каких общественно-исторических условиях мог сложиться и развиваться язык (или диалекты) протоалтайской этнической общности, отдаленной от нашего времени и времени глотто- и этногенеза прототюркских, протомонгольских и прототунгусских лингво-этнических общностей многими тысячелетиями и рядом сменявшихся социальных эпох?

Можно думать, что сложившиеся некогда протоалтайские родоплеменные этнические коллективы не находились уже на первоначальных этапах антропо- и глоттогенеза. Но все же, каковы теоретически возможные формы общественного бытия носителей протоалтайского языка и каковы хотя бы самые общие черты грамматического строя и словарного состава этого языка? Ответ, который можно найти у В. М. Иллича-Свитыча на вторую часть этого вопроса («основные черты алтайского праязыка»), вызывает много сомнений²⁸.

В самом деле, возможно ли при современном уровне развития компаративистики и по тем далеко не достаточным лингвистическим и историко-этнографическим данным, которыми располагает алтаистика, пытаться восстановить структуру протоалтайского языка в конкретных формах и значениях ее компонентов?

Осуществить это, не перенося вольно или невольно в гипотетический протоалтайский язык многое из того, что оказывается общим в засвидетельствованных в высоко развитых алтайских языках, еще никому не удавалось.

Ведь, если, как полагает В. М. Иллич-Свитыч, в протоалтайском реконструируются слова, означающие элементарные действия и качества, названия частей тела и форм родства, названия многих животных и растений, слова, выражающие пространственные отношения, личные, указательные и вопросительные местоимения, а также многие разряды аффиксов (падежа, числа имени, залоговых форм глагола и т. п.), то в чем заключается прогрессивное развитие структуры этих языков от, скажем, неолита до наших дней?

Неужели только в фонетических модификациях и количественных изменениях различных компонентов языковой структуры, не предполагающих каких-либо ее качественных изменений?

Местоимения (или их домостоименные прототипы) возникли, должно быть, очень рано. Они могли быть и в протоалтайском. Но системы местоименных посессивных и предикативных суффиксов (морфологические дериваты местоимений) возникали, хотя бы и на общем, протоалтайском материале, довольно поздно, и, как показал Г. Рамстедт, в уже обособившихся группах алтайских языков. Не во всех из этих языков они имелись

²⁶ В. М. Иллич-Свитыч, Опыт сравнения ностратических языков, стр. 69.

²⁷ Там же, стр. 67.

²⁸ Там же, стр. 6—37 (сравнительные таблицы).

и имеются²⁹. Их нет и не было, например, в маньчжурском. В некоторых монгольских — это еще «полусуффиксы» (частицы).

Возражения вызывают и реконструкции праалтайского консонантизма, предложенные В. М. Илличем-Свитычем и ориентированные на некоторые особенности фонологических систем других лингвистических семей, включаемых в упомянутую ностратическую сверхсемью. Таковы прежде всего предложенные им «троичные» фонологические противопоставления праалтайских инициальных согласных: **t*^h, **t*, **d* или **k*^h, **k*, **g*, а также **p*^h, *p*, *b*.

Для восстановления праалтайских аспирированных **t*^h, **k*^h, **p*^h, если отвлечься от несомненных инноваций в консонантизме отдельных тюркских и монгольских языков (инноваций, развившихся, как известно, под влиянием иноязычных, неалтайских, фонологических систем), оснований нет. Фонологическое противопоставление звонкие/глухие далеко не всегда характерно и для консонантизма некоторых засвидетельствованных алтайских языков. Проецировать его в праалтайское состояние поэтому невозможно, если не пытаться представить очень раннюю (исходную) консонантную праалтайскую систему в виде своего рода кульминации всего того, что в той или иной мере отмечается в известных алтайских языках как в виде архаизмов, так и в виде инноваций, связанных, в частности, с фонологизацией тех или иных вариантов одной протофонемы в ее разных фонетических модификациях: [t ~ t' ~ t̃], [d ~ d' ~ d̃], [k ~ k' ~ k̃], [g ~ g' ~ g̃], [p ~ p' ~ p̃] и т. п.

III

Итак, если не касаться больше явно нигилистического отношения к проблеме происхождения алтайской общности и к алтаистике в целом, то и среди сторонников современного алтайского сравнительного языкознания нетрудно заметить значительные различия в оценке состояния и перспектив развития данной отрасли науки о языке. Для одних алтаистов генетическое родство (пусть даже весьма отдаленное) между основными группами алтайских языков, — неоспоримый факт, доказываемый имеющимися и продолжающимися опытами создания сравнительно-исторической грамматики и лексикологии этих языков. Для других — алтаистика, в том числе родство алтайских языков, — вполне вероятная и очень полезная теория, без учета и разработки которой практически неосуществимо углубленное сравнительно-историческое изучение отдельных групп алтайских языков, таких, как тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и некоторые другие.

Подчеркивая беспорность наличия общих элементов в лексике, фонетике и грамматике основных групп алтайских языков (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских), А. Н. Кононов предложил воспринимать соответствующие факты как «непосредственную действительность», которая должна быть использована для установления древнего вокализма, консонантизма и морфологии тюркских и других алтайских языков. Пользуясь данными только тюркских языков (данными древних памятников, диалектов и современных литературных языков), писал А. Н. Кононов, нельзя представить состояние этих языков глубже V в. н. э., ибо за это время фонетический и грамматический строй тюркских языков изменился столь незначительно, что основываясь на чазванных

²⁹ Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание. Морфология, М., 1957, стр. 72.

материалах «невозможно воссоздать тюркскую праязыковую схему даже как первичную рабочую гипотезу»³¹.

Одной из иллюстраций и убедительным подтверждением этого вывода может служить уже упоминавшаяся «Сравнительная фонетика тюркских языков», написанная одним из противников алтайской теории А. М. Щербаком. Не касаясь здесь предложенных автором реконструкций пратюркского вокализма и консонантизма (это — тема особая), заметим, что приложенный к «Сравнительной фонетике» список общетюркских слов (стр. 193—198), представляющий собою попытку выделения примерно пятисот пратюркских форм односложных корневых морфем, содержит, как правило, формы и значения, отличающиеся от таковых же, но засвидетельствованных в тех или иных из известных тюркских языков, только тем, что в списке они помечены «звездочкой» и отнесены автором приблизительно к началу нашей эры (за 7—8 столетий до появления первых тюркоязычных памятников письма).

Так, например, пратюркское, по А. М. Щербаку, **am* «лошадь», совпадает с формой этого слова (*at*) во многих известных старых и новых тюркских языках или их диалектах.

Между тем современное тюрк. *at* «лошадь, конь» при учете данных других алтайских языков реконструируется как **akt* < **akta* (Ср. монг. *aγta* < **akta* «мерин»). Имеются и другие опыты реконструкции праформы этого слова³¹. Г. Дёрфер на основе данных халаджского языка восстанавливает архетип **pat(a)* > **hat* > *at*, считая, что так называемый протетический тюркский *h*-восстанавливается в прототюркском, как и в других алтайских группах, в виде инициального **p*-³².

Пратюрк., по А. М. Щербаку, **ōs* «сам, существо, сущность, жизнь» (ср. туркм. *ōz* ~ турецк. *öz* ~ якут. *ūs* ~ алт. *ūs* и т. п., но чуваш. *var*) тюркологами-алтаистами с учетом чувашской формы и соответствующих данных монгольских языков реконструировали в виде пратюрк. **ōr* «сердцевина; нутро; основа» и т. п., а затем и «сам ~ сами»/«свой ~ свои». Весьма вероятна генетическая связь этого *ōz* < **ōr* с другим, по А. М. Щербаку, пратюрк. **pod* «тело, туловище, рост» (ср. тюрк. *boj* ~ *bod* ~ *bod*, *poj* ~ *pos* ~ *pozī*, а также монг. *bodo*, монг. и тунг. *beje* ~ *bəjə* ~ *bəj* и т. п. «тело, туловище, рост» и т. п., а затем и «сам/свой»).

Учет данных не только тюркских, но и других алтайских языков дает основания для реконструкции общеалтайского архетипа **bör* ~ **bōri* — имени с широким кругом значений «племя, народ, человек», а затем в более поздние эпохи и «сам, свой»³³.

Совсем по-иному в свете общеалтайских данных предстают и такие весьма близкие пратюркские, по А. М. Щербаку, реконструкции, как **pōl*- «быть, происходить, становиться» или **nār* «есть, иметься»³⁴ и мн. др.

Учет данных сравнительной фонетики и морфологии тунгусо-маньчжурских языков, сохраняющих много такого, что для тюркских и монгольских, как находят многие алтаисты, оказывается давно пройденным эта-

³⁰ А. Н. Кононов, Тюркская филология в СССР. 1917—1967, М., 1968 стр. 22.

³¹ Э. В. Севортян, Этимологический словарь тюркских языков, М., 1974, стр. 197—198.

³² Кроме данных халаджского языка, для реконструкции общеалтайского аналитического **p*- (> *f*-> *h*-> *ø*) в пратюркском существенное значение имеет и тибетская транскрипция др.-тюрк. *h*-. См.: А. Рона-Таш, указ. соч. стр. 38 (пример. 10, со ссылкой на исследование Л. Лигети).

³³ Ср.: О. П. Суник, К вопросу о возвратных местоимениях в алтайских языках, ПОЯЗ, стр. 263 и сл.

³⁴ Ср.: О. П. Суник, О глаголах «быть» и «стать» в алтайских языках, там же, стр. 386 и сл.

ном эволюции звукового и грамматического строя последних, дает основания для выдвижения целой серии научных гипотез, относящихся к весьма отдаленному прошлому всех алтайских языков.

Изучение внутри- и межъязыковых звуковых соответствий в корневых и суффиксальных тунгусо-маньчжурских морфемах наводит на мысль о значительно меньшем количестве фонологических противопоставлений внутри гомогантных типов согласных в историческом прошлом этих языков. Если, например, в корневых морфемах различные инициальные билабиальные обычно выступают как отдельные фонемы (случаи вроде эвенк., эвен. $wā \sim bā \sim mā$ «убить, добыть», или нан., ульч. $bī \sim mī$ «я», $biə \sim mī$ «мы») и др. в общем не типичны), то в морфемах суффиксальных — например, в лично- и безличнопритяжательных окончаниях тунгусских языков или в показателях винительного-определятельного падежа — комбинаторные чередования $[b \sim p \sim f \sim w]$, подобно комбинаторному (сингармоническому) чередованию суффиксальных гласных, фонологически не противопоставляются, выражая однозначные алломорфы (фонетические варианты одних и тех же суффиксальных морфем). Такого же рода явления наблюдаются и при изучении межъязыковых соответствий внутри некоторых других гомогантных типов согласных: $[d \sim t]$, $[g \sim k]$, $[l \sim r]$, а также $[t \sim t̃]$, $[g \sim ʒ]$.

Сравнительно-историческое изучение не только корневых, но и суффиксальных морфем, восходящих в конечном счете к морфологически нечленимым односложным комплексам — согласный плюс гласный — приводит к выводу о первоначальном противополжении праалтайских согласных фонем только по основному органу их артикуляции (губно-губные/переднеязычные/среднеязычные/заднеязычные) без фонологического их противопоставления по глухости/звонкости, палатализованности/непалатализованности, аспирированности/неаспирированности, а также по смычности/прочности, при отсутствии многочленного фонологического противопоставления внутри категорий гласных. Дальние гипотетические реконструкции, позволяющие говорить о досингармоническом и доаффиксальном протоалтайском состоянии, способствуют объяснению многих пережиточных явлений, отмечаемых в той или иной мере в засвидетельствованных алтайских языках. (Например, по-разному называемый безаффиксальный именительный падеж, выступающий нередко и в функции суффиксально-оформленных косвенных падежей — родительного, винительного, местного.) В свете такого рода дальних реконструкций могут быть со значительной степенью вероятности объяснены и многие характерные типологические черты известных алтайских языков, обобщаемые иногда только в ближних реконструкциях, относящихся к той или иной группе близкородственных языков, входящих в число алтайских. Историко-типологический аспект сравнительного изучения этих языков во взаимодействии с основным сравнительно-историческим аспектом, а также с аспектом лингво-социологическим, только и могут помочь ретроспективному воссозданию общих черт исходного состояния алтайской языковой общности. Дальние реконструкции фонетической системы и реконструкция типа грамматического строя алтайских языков — не конечная цель, а необходимое средство для установления как общих, так и специфических закономерностей развития системы строя алтайских языков. В их свете могут быть поняты и научно объяснены реально засвидетельствованные особенности строя этих языков. Алтаистика как новая развивающаяся отрасль сравнительно-исторического языкознания (при всех ее действительных и многих мнимых недостатках) способствует прогрессу в области научного изучения и описания многочисленных тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и других языков. Игнорирование же или отрицание

«так называемой традиционной алтаистики» ведет к застою, к плоскостному по преимуществу описательству по давно установившимся шаблонам звукового и грамматического строя тех или иных алтайских языков без серьезных попыток понять общие и особенные закономерности развития их структуры.

Наблюдающееся порой в некоторых проалтаистических работах стремление представить праалтайское состояние как некую кульминацию всех важнейших компонентов общеалтайской структуры, по принципу — каждой известной фонеме своя прафонема или каждой известной морфеме своя праморфема — лишено необходимых теоретических и фактологических оснований. Засвидетельствованные алтайские языки — не результат какой-то деградации праалтайского состояния, а итог многовековой эволюции и прогресса первоначально более простой и менее дифференцированной во всех отношениях структуры — звуковой, грамматической и семасиологической.

Значительные трудности и временные неудачи на пути сравнительно-исторического изучения алтайских языков, возобновляемого в нашей стране после длительного перерыва, не должны порождать у тех, кто занимается сравнительным алтайским языкознанием, скепсиса или ощущения краха, о котором не перестают твердить некоторые антиалтаисты, иногда прокламирующие какую-то новую «синтетическую» алтаистику взамен «изъезженной» и зашедшей якобы в тупик алтаистики классической.

Б. К. ГИГИНЕЙШВИЛИ

ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕДАГЕСТАНСКОГО ЯЗЫКА
В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЭРГАТИВНОСТИ

При исследовании языков эргативного строя с более или менее развитым склонением одним из важнейших звеньев является точное определение места эргативного падежа в системах рассматриваемых языков, с последующей попыткой установить первоначальную функцию и форму его морфемы. Для указанной цели необходимо, после синхронного анализа падежных систем, путем сравнительной реконструкции проникнуть в глубь истории родственных языков эргативного строя и воссоздать ту картину, наличие которой предполагается на хронологическом уровне языка-основы. Однако прежде чем заняться этим, придется коснуться некоторых общих вопросов, имеющих отношение к типологии эргативного строя.

В научной литературе деление падежей на «основные» и «неосновные» (местные, обстоятельственные) имеет давнишнюю традицию. «Основными» считаются падежи, выражающие субъектно-объектные отложения. Обстоятельственные, или местные, падежи указывают на локальные, темпоральные, каузальные и другие условия протекания глагольного действия, образуя как бы фон для основного содержания предложения¹. Основные, или «синтаксические», падежи по своему содержанию более абстрактны и нередко так и называются², в отличие от местных, или обстоятельственных, выражающих конкретные ситуации протекания глагольного действия.

В связи с подобным делением падежей, представляют несомненный интерес принципы их классификации у Е. Куриловича, который опирается главным образом на анализ плана содержания и дает понятия первичной и вторичной функций. Первичными он считает те функции падежей, которые не содержат какого-либо особого оттенка значения, соответствующего семантическому содержанию глагола. В отличие от них, вторичные функции обусловлены специфическим употреблением падежных форм в сочетаниях с глаголами определенного семантического класса.

Исходя из этого, одна и та же падежная форма (например, аккумулятив) может функционировать соответственно то как «грамматический» падеж, представляя собой чисто синтаксический показатель, то как конкретный падеж, имеющий собственное семантическое содержание, что придает ему наречный характер³. Однако Е. Курилович допускает, что конкретные падежи также имеют первичные и вторичные функции. Их первичная функция — наречное употребление, отличаются же они от наречий в собственном смысле наличием вторичной функции, которая состоит в том, что они могут при глаголах со специальным значением стать «грамматиче-

¹ С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 43.

² С. Д. Кацнельсон по отношению к основным падежам применяет термин «позиционные» (указ. соч., стр. 46).

³ Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962, стр. 184.

скими» падежами, т. е. комбинаторными вариантами таковых⁴. Переход от первичной функции к вторичной, таким образом, всегда сопровождается ограничением условий, в которых выступает падежная форма. Направления перехода от первичной функции к вторичной у грамматического падежа и конкретных падежей диаметрально противоположны: грамматический падеж подвергается адвербиализации, конкретный же — грамматикализации⁵. Из сказанного следует, что конкретные падежи в своем употреблении представляют вторичную функцию как грамматических падежей, так и наречий, т. е. противопоставление двух комбинаторно не обусловленных парадигматических классов нейтрализуется в известных условиях и в качестве репрезентантов «архиформ» появляются формы конкретных падежей, вторичная наречная функция отождествляется со вторичной синтаксической функцией.

Но если при грамматикализации наречий происходит расширение сферы употребления полученных вследствие этого процесса конкретных падежей, остается неясным, каким образом переход к вторичной функции, всегда сопряженный с ограничением условий, может одновременно расширить сферу их употребления. Далее, конкретные падежи не могут быть комбинаторными вариантами одновременно и «грамматических» падежей и наречий, то суживая сферу своего употребления, то расширяя. В связи с вопросом, который будет рассматриваться ниже, нам представляется весьма интересным приобретение местными падежами новых функций, а именно функций так называемых «грамматических» падежей⁶. Аналогичные факты приводятся и у Э. Бенвениста⁷.

В падежной системе языков эргативного строя основным является противопоставление абсолютного и эргативного падежей.

Абсолютный падеж выполняет функцию субъекта при непереходном глаголе и функцию прямого объекта — при переходном. Эргативный падеж представлен только при переходных глаголах, и его основной функцией является выражение *agens'*a, реального субъекта. В формальном отношении абсолютный падеж немаркирован, в отличие от эргатива, который всегда оформлен и противопоставлен абсолютному падежу. Опозицией «абсолютный — эргативный» не исчерпывается падежная система языков эргативного строя. В разное время они могут иметь разное количество и других падежей, как основных, так и обстоятельственно-местных. По мнению С. Д. Кацнельсона, наличие «позиционных» (т. е. основных) падежей совершенно необходимо, чтобы иметь основания говорить о падежной системе⁸. Иначе говоря, если не имеем хотя бы двух основных падежей, локативные формы трудно трактовать как падежи. Однако с таким положением трудно согласиться. На ранних этапах развития языков, а часто и позднее, в некоторых языковых группах возможно наличие системы более конкретных по содержанию местных падежей при наличии лишь одного основного падежа. Именно в таких системах появляются так называемые «совмещающие» падежные формы, выполняющие несколько функций, причем функцию активного падежа нередко «совмещает» один из местных падежей⁹. Постараемся доказать возможность подобной падежной системы на материале конкретных языков.

Очень характерными и показательными с точки зрения становления эргативности могут оказаться дагестанские языки, в которых морфема

⁴ Там же, стр. 185.

⁵ Там же, стр. 186.

⁶ Там же, стр. 185—186.

⁷ Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 158.

⁸ С. Д. Кацнельсон, *указ. соч.*, стр. 46.

⁹ Г. А. Климов, *Очерк общей теории эргативности*, М., 1973, стр. 186.

эргативного падежа представлена большим количеством алломорф, в значительной мере расходящихся в плане выражения. Реконструкция падежной системы общедагестанского языка в целом может дать представление о древности эргативного падежа. Прежде чем приступить к процедуре реконструкции, остановимся кратко на современном состоянии падежных систем в отдельных дагестанских языках¹⁰.

В дагестанских языках имеем как местные падежи, выражающие относительное местонахождение предмета в пространстве, так и основные, выражающие субъектно-объектные отношения. К последним относятся в основном четыре падежа: абсолютный, эргативный, родительный и дательный. Абсолютный падеж не оформляется специальным показателем и противопоставит остальным, как немаркированный маркированным. Родительный и дательный падежи современных дагестанских языков имеют морфемы, не соотносящиеся закономерно в плане выражения и, следовательно, не восходящие к общедагестанскому хронологическому уровню. Они представляют собой более поздние новообразования, сформированные в отдельных языках после распада языка-основы. Этим, должно быть, объясняется то обстоятельство, что в большинстве случаев родительный и дательный падежи используют вторую основу, отличную от основы эргативного падежа (в качестве второй основы весьма часто выступает форма эргатива). При этом показатели дательного падежа обычно совпадают с показателями инфинитива [ср. лак. *baḡra-n* «голове» — *kwana-n* «есть», «кушать»; дарг. (урах.) *disli-s* «ножу» — *irci-s* «спастись»; таб. *hardi-z* «дереву» — *urxi-z* «читать»; ахвах. *imo-l'a* «отцу» — *guru-l'a* «делать» и др.]

Эргативный падеж, с точки зрения функции, бывает двух типов: так называемый «специальный», служащий только для выражения реального субъекта при транзитивном глаголе, и «совмещающий», который, кроме этого, выполняет функции какого-нибудь косвенного (инструментального, родительного) или местного падежа¹¹. «Специальным» эргативом следует считать аварский субъектный падеж на *-asə* в отличие от аварского же эргатива на *-sə*, который совмещает в себе функцию творительного падежа. В лакском имеется только «совмещающий» эргатив, который может функционировать и как активный падеж, и как родительный. Генетически лакский «совмещающий» эргатив на *-l* является производным от более древней формы эргатива. «Совмещающие» эргативы имеются также в языках лезгинской группы.

Поскольку эргатив часто совмещает в себе и функцию какого-нибудь местного падежа, задача состоит, прежде всего, в реконструкции системы местных (локативных) падежей общедагестанского языка, чему должна предшествовать характеристика падежей локативных серий в нескольких типичных, с этой точки зрения, дагестанских языках. Как известно, в большинстве дагестанских языков местные падежи объединяются в серии. Каждая серия имеет от двух до пяти падежных форм. Падежи, входящие в одну и ту же серию, имеют общий показатель серии, совпадающий

¹⁰ Подробнее об этом см.: Е. А. Бокарев, Локативные и нелокативные значения местных падежей в дагестанских языках, «Язык и мышление», XI, М.—Л., 1948, стр. 56—68; В. Т. Тогурия, О системе склонения в лакском языке, «Изв. Гос. музея ГрузССР», X, Тбилиси, 1940, стр. 327—336. Падежные системы дагестанских языков рассматриваются также в монографиях П. Услара, Л. И. Жиркова, А. Дирра, А. С. Чикобава, И. И. Церцвадзе, Т. Е. Гудава, Д. И. Имнайшвили, А. А. Магометова, З. М. Магомедбековой и др.

¹¹ По этому вопросу имеется обширная литература. В монографии Г. А. Климова «Очерк общей теории эргативности» довольно подробно изложена история изучения эргативности и сделана попытка теоретического осмысления проблемы в типологическом аспекте.

с морфемой локативного падежа, обозначающего местонахождение предмета в соответствующей части пространства¹².

В аварском языке имеется шесть локативных серий. Вот их показатели: *-da* «на» (на вертикальной или наклонной плоскости), *-ta* «на» (на горизонтальной плоскости), *-q* «у, возле», *-t'* «под», *-l'* «в» (внутри какой-нибудь массы), *-b*, *-v*, *-j*, *-r* (классные показатели) «в» (внутри полого предмета).

В каждой из этих серий три падежа: собственно локатив, морфема которого совпадает с показателем серии, направительный, образующийся добавлением гласного *-e* к форме локативного падежа и исходный (или аблатив), образующийся присоединением суффикса *-al-saa* к показателю серии¹³. В качестве основы для локативных падежей берется основа родительного падежа. Исключение составляет серия на *-da* («на»), которая образуется от формы эргативного падежа в тех случаях, когда показателями эргатива являются *-asa* или *-al'*¹⁴.

В других локативных сериях падежные формы всех имен опираются на основу родительного падежа (*wacə -asa-u-q* «около брата», *wacə -asa-u-t'* «под братом» и т. д.).

В лакском языке имеем семь серий местных падежей, показателями которых являются: *-j* «на», *-ça* «около», «возле», *-lu* «под», *-vu* «в», *-x* «за», *-ç* «около» (в непосредственной близости с предметом) и *-x'* «у, около»¹⁵. Некоторые исследователи седьмую серию не включают в систему местных падежей¹⁶, поскольку ее формы могут функционировать в качестве дательного падежа и к тому же эта серия неполная. В каждой серии имеется пять падежных форм: локатив, имеющий только показатель серии и означающий нахождение предмета в пространстве, направительный второй, имеющий более конкретное значение («по направлению к...»), морфема *-naj*, транзитив (значение «через», морфема *-x*) и аблатив (значение «откуда?», морфема *-atu*)¹⁷. Формы местных падежей в лакском образуются от основы эргативно-родительного падежа, т. е. «совмещающего» эргатива, так как в лакском не имеем «специального эргатива».

В табасаранском языке количество серий местных падежей колеблется между семью и восемью. П. Услар и А. Дирр выделяют восемь серий¹⁸; К. Боуда, Л. И. Жирков, Б. Ханмагомедов и А. А. Магомедов¹⁹ — семь. Эта разница в основном обусловлена ориентацией одних исследователей на северный диалект, в то время как другие опираются на данные южного диалекта. А. А. Магомедов считает, что и в северном диалекте, где П. Усларом выделено восемь серий, наблюдается тенденция стирания различия между двумя близкими по значению сериями, результатом чего и является сведение восьми серий к семи²⁰. Но так или иначе, в северном диалекте

¹² Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 57.

¹³ А. С. Чикобава, И. И. Церцвадзе, Аварский язык, Тбилиси, 1962, стр. 151—154 (на груз. яз.).

¹⁴ Там же, стр. 157.

¹⁵ Л. И. Жирков, Лакский язык, М., 1955, стр. 36—37.

¹⁶ В. Т. Топуриа, указ. соч., стр. 335; Г. Б. Муркелинский, Грамматика лакского языка, Махачкала, 1971, стр. 85.

¹⁷ В. Т. Топуриа, указ. соч., стр. 333—334; Л. И. Жирков, Лакский язык, стр. 36—37.

¹⁸ П. Услар, Табасаранский язык (Рукопись, § 26); А. Дирр, Грамматический очерк табасаранского языка, СМОМПК, XXXV, Тифлис, 1905, стр. 11.

¹⁹ К. Боуда, Das Tabassarische, Leipzig, 1939; Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М., 1948; Б. Ханмагомедов, Система местных падежей в табасаранском языке, Махачкала, 1958; А. А. Магомедов, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965.

²⁰ А. А. Магомедов, указ. соч., стр. 118.

все-таки имеем восемь серий, условия же взаимозаменяемости падежей на *f* и *h* пока строго не определены. Вот показатели этих восьми серий: *-k* «на» (на вертикальной или наклонной плоскости), *-il* «на» (на горизонтальной плоскости), *-kə* «под», *-q* «за, позади», *-v* «в», *-xʷ* «у, около», *-γ* «между, посреди», *-f* «около, у». В каждой серии три падежа: л о к а т и в, н а п р а в и т е л ь н ы й (значение «куда?», морфема *-na*) и а б л а т и в (морфема *-an*).

Местные падежи часто называют «последовательными», что, на наш взгляд, верно лишь по отношению к некоторым падежам в отдельных сериях. Но подобная квалификация неточна, когда речь идет о локативах, исходных формах серий, которые обозначают относительное местонахождение предмета в пространстве, поскольку некоторые показатели локативных падежей являлись аффиксальными морфемами еще до распада общедагестанского языка. Об этом речь пойдет ниже.

В специальной литературе имеются попытки увязать показатели некоторых локативов с наречиями (лак. *-j* «на» ← *jalu-* «наверху»; лак. *-ça* «около, возле» ← *çarav* «близко, рядом»; лак. *-vu* «в» ← *viv* «внутри»²¹). Весьма возможно, что некоторые из локативов в отдельных дагестанских языках именно такого происхождения, но данное предположение трудно распространить на все локативные падежи [так, например, маловероятно происхождение лакского *-v(u)* от наречия *viv* «внутри», по той причине, что морфема локатива *-v(u)* генетически связывается с показателем категории грамматического класса].

Наиболее распространенными и основными сериями местных падежей в дагестанских языках являются серии с значениями «внутри», «сверху», «снизу», как это справедливо отмечено Е. А. Бокаревым²². Весьма интересно, что местные падежи не образуют серий в таких языках, как удинский и хиналугский. В указанных языках встречаются формы некоторых местных падежей, но они не объединяются в единую систему. Надо полагать, что образование локативных серий является относительно поздним явлением и происходило в каждом языке самостоятельно, чем и объясняется отсутствие закономерных фонетических соответствий в той части морфемного инвентаря дагестанских языков, которая содержит показатели направительного, исходного, транслятивного падежей. С другой стороны, можно предположить древность некоторых локативных падежей и наличие их еще на общедагестанском хронологическом уровне. Таковыми могли быть локативы со значениями «внутри», «под», «на» и «около» ~ «за»²³. Это подтверждается закономерными звукосоответствиями между показателями названных падежей. Лучшее сохранился в дагестанских языках показатель локативного падежа со значением «под». В плане выражения он реконструируется в виде *-*tʷə*. Постулирование *-*tʷə* основано на диахронической интерпретации следующего закономерного соответствия: ав. *-tʷə* «под»: анд. *-tʷi*: ахв. *-tʷi*²⁴: дид. *-l'o*: дарг. *-u* (урах.) || *-gu* (цудах.): лак. *-lu*: арч. *-tʷə*: лезг. *-k*: таб. *-kə*: аг. *-kə*: цах. *-k*.

Контрольными языками служат табасаранский и агульский, в которых *kə*] может быть рефлексом только лишь общедагестанской интенсивной

²¹ В. Т. Топуриа, указ. соч., стр. 334.

²² Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 58.

²³ Значения «около» и «за», по-видимому, объединялись в одну морфему.

²⁴ Гласный *i* как в ахвахском, так и в андийском является наращением, поскольку в ахвахском слово не может иметь согласный исход (З. М. Магомедбекова, Ахвахский язык, Тбилиси, 1967, стр. 20), а в андийском слово не может оканчиваться на шумный согласный, см.: И. И. Церцадзе, Андийский язык, Тбилиси, 1965, стр. 16—18 (на груз. яз).

глоттализованной латеральной аффрикаты. Показания даргинского языка указывают на глоттализованность и интенсивность исходной фонемы. Лезгинское и цахурское *-k* в конце слова предполагают исходное **tə* лишь после сопоставления их с другими дагестанскими языками. Со своей стороны, аварско-андийские и дидойский рефлекс подтверждают данную интерпретацию только рядом с показателями даргинского, арчинского и языков лезгинской группы. Несколько неожиданно появление в лакском *-lu* вместо ожидаемого *-k/-ku*, но это, должно быть, объясняется наличием дублетов **t'əu/*-lū* в пралакском, из которых впоследствии укоренилась форма **-lū*, давшая *-lu*.

Значение «в, внутри» в общедагестанском передавалось не особым аффиксом, а показателем категории грамматического класса. Для этой цели обычно использовался показатель третьего грамматического класса *-*b*, который закономерно дифференцирован: ав. *b*: лак. *vu/v* ($\leftarrow *b$ в конце слова): лезг. *w* (значение «около»). Ахвахский пользуется показателем класса вещей во множественном числе *-r*. Поэтому конкретного аффикса для локатива с значением «в» нельзя постулировать, следует удовлетвориться указанием на то, что эту функцию выполнял («совмещал») классный показатель, который можно обозначить символом **/K/*.

Третий локативный падеж, восстанавливаемый нами для общедагестанского языка, обозначал местонахождение предмета за другим предметом и одновременно вблизи с ним.

Морфема этого падежа реконструируется в виде *-*qə* (интенсивной неглоттализованной увулярной аффрикаты). Основой для постулирования *-*qə* в указанной функции служит следующее закономерное соотношение: ав. *-qə* «у, около»: дид. *-x(o)*: лак. *-x* ($\leftarrow *xə$) «за»: лезг. *-q* «за, у»: таб. *-q* «за»: аг. *-q* «за»: рут. *-x(da)* «у, за»: цах. *-qa* «к».

В лакском исконно дагестанское **qə* обычно представлено интенсивным спирантом *x*. В данном случае наличие слабой *x* объясняется ее нахождением в конце слова (в этой позиции все интенсивные согласные лакского языка теряют признак интенсивности). Но почему же после изменения позиции показатель локатива *-x* снова не предстает в виде *-xə*? Иными словами, почему не имеет места альтернатива *x ~ xə*, обусловленная позиционно? (например, *qətlu-x* «за домом» — направит. *qətlu-x-un*; ср. *tax* «железо» — эрг.-род. *taxə-al*). Позиционное чередование *x ~ xə* имело место и между алломорфами локативного падежа со значением «за», «у», но оно исчезло вследствие унификации парадигмы, выравнивания форм по аналогии, что повлекло за собой узаконение в качестве морфемы указанного падежа сегмента *x*.

Опираясь на вышеизложенное, нам представляется возможным допущение для общедагестанского языка по меньшей мере трех локативных падежей, составляющих единую систему. Четвертый локативный падеж (с исконным значением «на, над»), надо полагать, еще в общедагестанский период выполнял также функцию эргативного падежа, а после членения языка-основы приобрел самые разные функции в отдельных языках, причем обнаружилась тенденция его превращения в «специальный эргатив». Об этом свидетельствует регулярное соотношение в плане выражения локатива на *-da* аварского языка с показателями эргативного падежа большинства дагестанских языков. В самом аварском локатив на *-da* сосуществует с эргативом на *-d*. Показателем эргатива *-d* служит в южноаварских диалектах²⁵, а также прослеживается в основе косвенных падежей некоторых имен и в североаварском²⁶. Разница в огласовке локативного

²⁵ А. С. Чикобава, И. И. Церцадзе, указ. соч., стр. 138—140.

²⁶ Там же, стр. 119—120.

и эргативного падежей, по нашему мнению, объясняется так: локатив со значением «на» оформляется морфемой *-da*, которая по происхождению является формой исходного, а не локативного, падежа (все локативы в аварском имеют в качестве формантов одни согласные *-t'*, *-q*, *-l'*, *-b*, а все исходные падежи прибавляют к показателям названным серий гласный *-a*). Таким образом, локатив на *-da* исторически интерпретируется, как исходный падеж, а показатель этого падежа мыслится как последовательность морфем: форманта собственно локатива *-d* и форманта исходного падежа *-a*. При таком объяснении между морфемой локатива *-d* и морфемой эргативного падежа южноаварских диалектов в плане выражения наблюдается полное совпадение. Это совпадение наводит на мысль об общности их происхождения, т. е. на существование эргативно-локативного падежа или так называемого «совмещающего эргатива» на *-d* в прошлом.

Выражение эргатива и одного из местных падежей (направительного) одним и тем же показателем *-di* имеет место и в лезгинском языке (эрг. пад. *biba-di* «отец» — направит. пад. *bubadiv-di* «к отцу») ²⁷.

В некоторых дагестанских языках сегменты, закономерно соответствующие аварскому и лезгинскому *-d*, *-di*, встречаются в качестве основообразующих аффиксов (лак. *-tsu/-tʂa*) или же показателя родительного падежа (рут. *-də*).

Соответствие показателей «совмещающих» эргативов в дагестанских языках выглядит так: ав. *-d* (показатель эргативного и локативного падежей): анд. *-di* (эрг. п.): ахв. *-de*: дид. *-d*: дарг. (кубач.) *-d*: лак. *-tsu* (вставка): арч. *-de* (эрг. п.): лезг. *-di* (эрг. п., направит. п.): таб. *-di*: аг. *-di*: рут. *-də* (род. п.).

Для общедагестанского хронологического уровня восстанавливается «совмещающий» эргативно-локативный падеж с показателем **di* ²⁸. Какова же первичная функция данного падежа? Нам представляется, что он являлся четвертым локативом, обозначающим местонахождение предмета на какой-нибудь плоскости. Функция эргатива им приобретена, по нашему мнению, несколько позже. Такая трактовка вполне согласуется с положением, по которому, если эргативность формируется в языке уже в условиях наличия системы склонения, функцию эргатива приобретает один из существующих падежей, чаще же всего творительный или один из местных ²⁹. Поскольку в дагестанских языках имеется много алломорф эргативного падежа, большинство из которых закономерно не соотносится друг с другом, а единственный сопоставимый показатель обнаруживает и другие функции, можно предположить, что специальной морфемы для эргативного падежа в общедагестанском языке не было. Между тем имелась вполне сложившаяся система местных падежей с основными значениями «внутри», «на», «под», «у ~ около».

Что касается родительного и дательного падежей, они также не имели специальных показателей и, надо полагать, они также пользовались формами местных. В этом смысле небезынтересно показание хиналугского языка, в котором так называемый посессивный локатив выполняет функцию родительного падежа ³⁰. Иначе говоря, при отсутствии специального родительного падежа в соответствующих конструкциях значение облада-

²⁷ «Лезгинско-русский словарь», сост. Б. Талибов и М. Гаджиев, М., 1966, стр. 553, 557.

²⁸ Г. А. Климов этот падеж называет «совмещающим» эргативно-творительным (указ. соч., стр. 187).

²⁹ Г. А. Климов, указ. соч., стр. 186.

³⁰ А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловяникова, Фрагменты грамматики хиналугского языка, М., 1972, стр. 141—142.

ния, принадлежности передавалось описательно, с помощью одного из местных падежей в комбинации с другими словами³¹.

Функцию дательного падежа также мог совмещать один из локативов. Это подтверждается данными современного лакского языка, где в отдельных случаях функцию дательного падежа может выполнять показатель локатива -x¹ə «у, около».

Как выше было отмечено, морфемы родительного и дательного падежей современных дагестанских языков по своему фонемному составу закономерно не соотносимы, из чего следует заключить, что формирование указанных падежей происходило в отдельных языках самостоятельно, после дробления языка-основы. Их обособление и появление специальных окончаний, несомненно, также прошло через ступень функционально «совмещающих» падежей³².

Однако известно, что в дагестанских языках распространено склонение по двум основам и одной из этих основ является чаще всего форма специального эргативного падежа, на которую опираются нередко и местные падежи. Например: ав. *wasə* «брат» — *wasə-asə* (эрг. п.) — *wasə-asə-da* «на брате»; лезг. *lam* «осел» — *lam-ra* (эрг. п.), *lam-ra-q* «за ослом» и т. п. Как же возможно использование формы эргатива для образования местных падежей, если не было «специального эргатива»? Необходимо отметить, что те алломорфы эргативного падежа, которые служат также для образования основы местных падежей, генетически не являются показателями эргативного падежа, хотя отрицать их архаичность тоже нельзя. Такие сегменты, как *-asə*, *-al'ə* были основообразующими аффиксами, противопоставляя основе абсолютного падежа основу других падежей. По происхождению они могут восходить к местоименным основам. Некоторые показатели эргатива в нынешних дагестанских языках (*-ni*, *-li*) можно квалифицировать как позиционные варианты *-*di*, обусловленные фонологическим окружением (возможно, к примеру, что *-ni* заменяло *-di* в именах, основы которых оканчивались на назальный согласный). Тем не менее, вопрос о базисной основе для локативных падежей все-таки требует некоторых разъяснений. То обстоятельство, что основой для местных падежей служит форма эргативного совмещающего (на *-di*) или же производная от него основа косвенных падежей, трудно объяснимо при допущении, согласно которому на раннем этапе развития дагестанских языков эргативный, родительный и дательный падежи пользовались морфемами локативных падежей. Выходит, что основные падежи заимствовали аффиксальные морфемы у местных, предоставив им взамен в качестве основы свои формы. Тут необходимо разграничить три этапа формирования склонения имен. На более раннем этапе развития общедагестанского языка не было склонения по принципу двух основ и присоединение показателей местных падежей прямо к основе давало возможность выразить относительное местонахождение предмета в пространстве. Позднее одна из таких форм локатива приняла на себя и другую функцию — выражение активного, действующего лица (надо полагать, это первоначально имело место в именах инактивного класса), вследствие чего появился так называемый «совмещающий» эргатив. Параллельно, надо думать, происходило и формирование совмещающих косвенных падежей, хотя они не играли значительной роли в системе склонения, по-

³¹ В андийском языке один из показателей родительного падежа совпадает с аффиксом местного падежа со значением «внутри», «в»; например, слово *hon-l'i* в зависимости от контекста может означать «аула» или «в ауле» (И. И. Ц е р ц в а д з е, Андийский язык, стр. 164).

³² Г. А. К л и м о в, указ. соч., стр. 190.

сколько субъектно-объектные отношения вполне выражались и без их участия.

Третий этап характерен тем, что наряду со склонением, опиравшимся на одну основу, появляется другой тип склонения — по принципу двух основ. Это вызвано потребностью разграничения активного падежа от локативного, создания «специального» эргативного падежа. Третий этап соотносится с периодом дробления языка-основы и отпочкования от него четырех основных единиц: аварско-андо-дидойского, даргинского, лакского и общезезгинского языков. Несмотря на это, древний тип склонения (опиравшийся на одну основу) сохраняется и после, вплоть до сегодняшнего состояния отдельных дагестанских языков. В некоторых языках общий показатель эргативно-местного падежа сохраняется и поныне с обеими функциями, но с разными основами, причем элемент *-di* в лезгинском может два раза выступать в одной словоформе в двух разных функциях (*buba-di-k-di* — направлятельный падеж III серии, опирающейся на форму эргатива). При этом два *-di* будут иметь различные ранговые номера.

Отсутствие формы эргативного падежа на древнейшем этапе развития словоизменения, при наличии местных падежей, с первого взгляда кажется необычным для языков эргативного строя. Однако отсутствие этой формы в определенных лексических группах (в собственных именах, личных местоимениях) аварского языка предполагалось в кавказоведческой литературе еще в 40-х годах³³. В некоторых дагестанских языках эргатив совпадает с абсолютным падежом в личных местоимениях и теперь³⁴ (в лакском *na* «я», *ina* «ты», *ži* «мы» и *zi* «вы» не оформляются в эргативе и могут сочетаться с переходным глаголом в форме абсолютного падежа). По мнению И. И. Церцвадзе, совпадение эргативного падежа с именительным (gesp. абсолютным) в лакском — архаическое явление, личные местоимения никогда не имели показателей эргатива³⁵.

Таким образом, на кануне дробления общедагестанского языка его падежный состав включал четыре серии местных падежей («в», «на», «под», «за ~ около») и следующие «основные» падежи: абсолютный, «совмещающий» эргатив, «совмещающий» датив. Родительный падеж оформился позднее (в его функции лишь в определенных словосочетаниях выступали локативные падежи со значением «в» и «около», «при»).

Для более ранней эпохи предполагается полное отсутствие основных падежей (за исключением абсолютного). Система местных падежей сложилась уже на древней ступени развития общедагестанского языка и совершенно исключается возможность их трактовки как «послеложных». На этом этапе развития субъектно-объектные отношения передавались только абсолютным падежом, а противопоставление *agens'a* и *patients'a* осуществлялось лишь благодаря строго фиксированному порядку основных членов предложения: субъекта, объекта и глагола.

Само собой разумеется, что предложенная нами реконструкция падежной системы общедагестанского языка является всего лишь одной из возможных гипотетических моделей и не исключает возможности иных интерпретаций.

³³ А. С. Чикобава, К истории образования эргатива в аварском языке, ИКЯ, II, Тбилиси, 1948, стр. 95 (на груз. яз.).

³⁴ С. М. Хайдаков, Об эргативном падеже в местоимениях дагестанских языков, «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 189.

³⁵ И. И. Церцвадзе, К вопросу об эргативном падеже в лакском языке, ИКЯ, XVI, Тбилиси, 1968, стр. 255—256 (на груз. яз.).

М. М. МАКОВСКИЙ

СООТНОШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ЯЗЫКЕ

1. Одним из несомненных достижений языкознания в XX столетии является неуклонное стремление, несмотря на значительные противоборствующие тенденции, возродить, развить и утвердить концепцию языка как сугубо человеческого явления, для которого социальный момент не только и не столько играет роль «внешней среды», экстралингвистического фактора, но и представляет собой неотъемлемый элемент его структуры, развития, изменения и существования¹. Весьма важно в связи с этим осознание того факта, что язык — это не одномерная, одноплоскостная структура, а сложное, многоаспектное явление, подверженное одновременному воздействию целого комплекса, целой гаммы самых разнообразных (по своей природе, диапазону и времени действия, взаимной совместимости, постоянству проявления, последовательности, необходимости и достаточности и др.) факторов, манифестируемых в самых различных комбинациях.

Наиболее ярко неразрывная связь различных сторон и звеньев языка выступает при изучении проблемы соотношения индивидуального и социального в языке. Речь идет об известной антиномии между индивидуальной, субъективной стороной речепроизводства и intersубъективным характером языка как всеобщего средства коммуникации. Можно без преувеличения сказать, что ни одна лингвистическая школа (старая или новая), ни одна лингвистическая концепция не могли бы существовать, не определив так или иначе свою позицию в вопросе соотношения социального и индивидуального в языке. Эта проблема неоднократно являлась предметом размышлений, споров и заблуждений ученых самых различных специальностей — философов, психологов, социологов, лингвистов, этнографов и антропологов. Суть разногласий² сводится в основном к тому, что одни ученые склонны к абсолютизированию роли человеческой общины в функционировании и развитии языка, а другие, наоборот, придают слишком большое значение индивидууму (человеческой личности), отделяя его при этом от этнического коллектива, неотъемлемой частью которого он является (ср. экзистенциализм Роджерса, «персонологию» Штерна или «психоанализ» Фрейда). С одной стороны, этническая «масса», а также так называемая «психология нации»³ (отражающая якобы ту или иную «картину мира») или даже некое трансцендентное начало ставятся некоторыми учеными над отдельным индивидуумом — носителем языка, а общество рассматривается как совокупность разобщенных личностей (ср. соответственно «Völkerpsychologie» В. Вундта, теорию Сэпира — Уорфа, основанную на неогумбольдтианских принципах, «грамматику, ориен-

¹ См.: Р. А. Б у д а г о в, Как относятся люди к литературному языку, в его кн.: «Человек и его язык», М., 1974; е г о ж е, Социолингвистика и грамматика, там же; е г о ж е, Что такое общественная природа языка?, ВЯ, 1975, 3.

² Ср.: K. S c h i l l i n g, Geschichte der sozialen Ideen «Individuum», «Gemeinschaft», «Gesellschaft», Stuttgart, 1957.

³ Ср.: F. A l t h o f f, Die strukturtypologischen Zusammenhänge von Persönlichkeit, Sprache und Weltanschauung, Marburg, 1938.

тированную на содержание» Л. Вайсгербера). С другой стороны, наоборот, во главу угла ставится индивидуальное начало, которое якобы детерминирует все социальные процессы [ср. «эстетизм» К. Фосслера и Б. Кроче, индивидуалистический психологизм Штейнтала и Пауля, атомизм некоторых представителей лингвистической географии (например, Жильерона), концепцию бихевиористов, сводящих сущность языка к механизму индивидуальных «импульсов и реакций», а также учение лондонской лингвистической школы (Фёрс, Малиновский), отвергающей понятие речевого коллектива и практики человека как его общественного опыта и уделяющее основное внимание речи так называемых типажей и личностей (persons and personalities) в процессе их «фатической коммуникации», т. е. «экологии коммуникации» (паралингвистика, кинесика, психолингвистика)].

Таким образом, в соответствии с известными древнегреческими традициями (возникновение языка «по природе» или «по договору») в лингвистике намечались две основные тенденции: язык рассматривается либо как «надиндивидуальное» (transpersonal), стихийное явление, возникшее и развивающееся независимо от его носителей, либо к языку подходит как к искусственно созданной человеком формализованной системе, которая может произвольно изменяться и разрушаться ее создателями. Сущность соотношения индивидуального и социального в языке весьма удачно сформулировал испанский филолог Р. Менендес Пидаль: «...несомненно, что язык представляет собой образование, чуждое единоличной воле индивидуума или воле к а ж д о г о индивидуума, и все же как мельчайшие, так и крупнейшие изменения, возникающие в языке, всегда зависят и от инициативы о д н о г о индивидуума, и от того, какую поддержку находят эта инициатива у д р у г и х индивидуумов, которые могут подражать вновь возникшему явлению или модифицировать его в соответствии со своими языковыми привычками или вкусами. Именно поэтому результат многих преднамеренных и сознательных индивидуальных лингвистических акций, воспринятых коллективом, не является чуждым для отдельных индивидуумов, не является чем-то неосознанным, действующим слепо или механически. Таким образом, мы приходим к признанию того факта, что сам индивидуум способен оказывать влияние на язык общины, подобно тому, как он способен оказывать влияние на всеобщие выборы: отличие лингвистической „агитации“ состоит, однако, в том, что тот или иной индивидуум приобретает своих сторонников не посредством речей и ораторских убеждений, а посредством грамматики, словарей, критики доктрин, идущих вразрез с тенденциями развития языка, и путем распространения литературных или просто социально престижных образцов»⁴.

Соотношение между социальным и индивидуальным является основным принципом д и а л е к т и к и я з ы к а: с одной стороны, язык передается людям как бы «в готовом виде» и не допускает никаких изменений по произволу отдельных носителей языка, но, с другой, отдельные индивидуумы, входящие в коллектив, воспринимают и воспроизводят язык по-своему. При этом, используя язык, люди постоянно обновляют и заново воссоздают его, хотя последующие поколения могут этого и не сознавать. Язык, как справедливо отмечал В. Гумбольдт, — это одновременно и *ergon* и *energeia*. Ф. Энгельс указывал, что человеческое мышление «...существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей»⁵.

⁴ Цит. по кн.: Silvio Elia, O problema da lingua brasileira, Rio de Janeiro, 1961, стр. 93.

⁵ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 87.

Еще Аристотель («Метафизика») обращал внимание на то, что определенный феномен нередко является единичным лишь в силу его связи или соотношения со всеобщим явлением, зависимости от него или частичного, неполного совпадения свойств этих явлений; с другой стороны, качество всеобщего может явиться результатом связи или соотношения с единичным: одно и то же явление может выступать как единичное по отношению к определенным явлениям, системам, элементам, но как всеобщее — по отношению к другим. Два явления могут быть отдельными по одному или нескольким присущим им признакам или процессам, но общими — по другим. Целое может быть составлено из качественно неодинаковых индивидуальных сущностей, а одинаковые сущности могут не образовывать целого. Не случайно О. Есперсен отмечал следующий парадокс языковой эволюции: история языка в сущности представляет собой историю постоянных «погрешностей» против существующего синхронного узуса, а в синхронии наблюдается противоборство менее признанных и более распространенных языковых образцов за «право» максимального обобществления, в связи с чем одни и те же модели, в зависимости от сферы употребления (литературной, социально-профессиональной, территориальной) признаются то ошибочными, то правильными, то маргинальными, то центральными.

Не подлежит сомнению, что на идиолектные и общезыковые особенности определенное влияние оказывает и специфика культуры данного народа, его обычаи и верования, хотя все эти факторы ни в коем случае не следует ни слишком преувеличивать, ни слишком преуменьшать. Интересно, например, что в древнегерманском флоте существовали особые подразделения (братства) моряков, которые питались вместе. Отсюда и их название — ср.-в.-нем. *maẝgenōze*, др.-сев. *mtunautr*, ср.-нидерл. *mattenoot* (все эти слова — сложные и состоят из двух компонентов: например, ср.-в.-нем. *maẝ* «еда» + *genōze* «товарищ»). Заимствованные в романские языки (ср. франц. мн. ч. *matelots*), эти слова снова возвращаются в германские языки (XVI в.), но уже в несколько другом обличье: нидерл. *matross*, нем. *Matrose* (в русском языке слово *матрос* существует со времени Петра I). Изменилось и значение этого теперь уже единого (опроценного) слова: оно стало обозначать не «братство едящих вместе», а любого моряка, не принадлежащего к командному составу, — рядового.

При исследовании лингвистического аспекта рассматриваемой проблемы бросаются в глаза некоторые явные парадоксы сосюрсовской теории, некритический подход к которым может в значительной мере отрицательно сказаться на методике анализа и на полученных выводах. Отграничение «языка» (*langue*) как социального феномена, независимого от индивидуумов — носителей языка, от «речи» как сугубо индивидуального и периферийного явления *par excellence* предполагает определенную *о д н о с т ь* (гомогенность) языка (*langue*), т. е. фактически отсутствие вариативности. Из предпосылки гомогенности языка исходили и исходят представители сравнительно-исторического языкознания, которые (как, например, А. Мейе), руководствуясь понятием «всеобщности» лингвистического закона, считают, что одна и та же инновация проявляется одновременно у значительной части или даже у всех носителей данного языка. Из тех же принципов исходят и различные школы лингвистического структурализма, в частности представители Пражской лингвистической школы. Наиболее отчетливо эта точка зрения в последнее время выражена в работах Н. Хомского, выдвинувшего в связи с этим понятия «компетенции» (*competence*) и «исполнения» (*performance*), вполне соответствующие сосюрсовским *langue* и *parole* (ср. также постулируемые Г. Херданом ана-

логичные по содержанию понятия (type и token). Хомский писал: «Лингвистическая теория имеет дело прежде всего с идеальным говорящим — слушающим, находящимся в абсолютно однородном языковом коллективе. Он в совершенстве знает язык коллектива, к которому принадлежит, и не подвержен воздействию таких грамматически нерелевантных условий, как неспособность восстановить в памяти определенные слова или выражения... и ошибки (случайные или систематические) при непосредственном исполнении (говорении). Именно такой, как мне кажется, была позиция основоположников современного общего языкознания, и нет никаких оснований изменять ее»⁶. Наиболее совершенным методом исследования языка Н. Хомский считал в связи с этим превратно толкуемый им критерий «интуиции природного носителя языка» (native speaker). При этом в полном противоречии со своим тезисом о «гомогенности» языка он слишком переоценивал творческие языковые возможности индивидуума, который, по его мнению, может беспредельно «генерировать» предложения.

В свете известной соссюровской дихотомии «язык — речь» [resp. социальное (гомогенное) — индивидуальное (гетерогенное)] безусловным парадоксом представляется следующее противоречие теории Н. Хомского, которое недавно было довольно точно сформулировано В. Лабовым: «Социальный аспект (langue) языка поддается изучению на основе интуиции любого индивидуума — его носителя; индивидуальный же аспект (parole) языка можно изучать только путем „пробования“ (sampling) языкового поведения всего коллектива в целом»⁷.

Второй парадокс становится особенно очевидным на фоне соссюровского противопоставления синхронии и диахронии и, как это ни странно, лучше всего сформулирован самим Соссюром: «Если бы мы взяли язык во времени, но без говорящей массы (предположим, что живет человек в течение нескольких веков совершенно один, в нем не оказалось бы, может быть, никакого изменения; время не проявило бы своего действия. И наоборот, если рассматривать говорящую массу вне времени, не увидишь действия на язык социальных сил»⁸.

Вполне понятно, что в пределах одной статьи вряд ли возможно решение всего комплекса проблем, возникающих при изучении соотношения индивидуального и социального в языке⁹. В настоящей работе делается попытка рассмотреть некоторые конкретные языковые явления, которые, появившись на уровне индивидуального использования, впоследствии распространились в более или менее широком языковом коллективе; проследить включение таких явлений в языковую систему, выявить пути и причины их проникновения (или невозможности проникновения), закрепления, исчезновения и воссоздания в различных пластах языка. Именно таким путем, как нам кажется, можно осознать «не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенно, индивидуального, отдельного»¹⁰.

⁶ См.: N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 3—4; ср.: F. Hirth, Noam Chomsky. Linguistics and philosophy, Oslo — Bergen — Trömsö, 1974.

⁷ W. Labov, Some principles of linguistic methodology, «Language in society», I, 1, 1972; ср.: е го же, Sociolinguistic patterns, Philadelphia, 1972.

⁸ См.: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 86—87.

⁹ Ср.: Г. В. Колшанский, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 1975; И. И. Коз, Социология личности, М., 1967; D. Cherbibin, Sprachwandel, Individuum und Gesellschaft, сб. «Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft», München, 1974; J. N. Hines, Person and word, «International philosophical quarterly», XIV, 3, 1974.

¹⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 90; ср. также: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 76, 318.

1. Соотношение социального и индивидуального в языке выступает наиболее наглядно при рассмотрении заимствований, ибо они, по общему признанию, обычно представляют собой образования, первоначально свойственные отдельным индивидуумам или созданные ими¹¹. Рассмотрим несколько примеров заимствований, проникших в язык письменным путем. Одним из интересных заимствований в европейских языках (главным образом в испанском) из арабского (VII в.н.э.) было слово *zenith* (ст.-франц. *cenit(h)*, исп. *cenit*), которое восходит к вульг. араб. *sent* «дорога, путь» [классич. араб. *samt*, сокращение от *samt-ar-rā's*, букв. «путь над головой» < лат. *sēmita* < *sē(d)* + **mita* (из *mēre* «идти»)] и возникло в связи с неверным прочтением в этом слове буквы *m* как сочетания *ni* (ср. *azimuth*). Совр. англ. *breeze*, нем. *Bremse* «слепень», как мы пытались показать в другой работе, возникло в результате неправильного истолкования средневековыми переводчиками лат. *prius* «раньше»¹². Весьма ярко роль индивидуальной деятельности в преобразовании языковых элементов проявляется в так называемых семантических заимствованиях, особенно осуществляемых через письменность¹³. У римского писателя поздней поры Секста Эмпирика находим весьма странное для латинского языка название воды: *recens* (Sextus Empiricus, 70, 12: *recentes. frigidas bibendo*). Как видно из глосс («Corpus Glossarum Latinarum»: III, 218, 15: *βαλξ νερόν — mitte recentem*; 653, II: *πίσιον νερόν εκ τοῦ βραχιδίου — bibamus recentem de gillone*), *recens* — эквивалент др.-греч. *νεῦρος* «новый, недавний, свежий», которое впоследствии приобрело значение «вода» (ср. совр. греч. *νερό*, букв. «свежая вода»). Именно это значение, засвидетельствованное в глоссах, и было перенесено в латинский. От вульг. лат. *recens* «вода» был образован глагол *recentiare*, откуда совр. франц. *rencer* «полоскать» (ср., однако, совр. франц. *récent* «недавний»). В XVI в. в Италии было опубликовано сатирическое произведение, высмеивающее жадность. В нем, в частности, описывалось «общество жадных», эмблемой которых было шило (*lesina*) для починки рваной обуви. Отсюда название сочинения «Della famosissima compagnia della lesina». При переводе на французский произошла семантическая ошибка: итал. *lesina* было заимствовано в виде *lésine*, но не со значением «шило», а со значением «жадность». Именно с таким значением это слово существует и до сих пор. Латинское слово *cuniculus* в средневенхненемецком было ошибочно воспринято как *künik* «король» с уменьшительным суффиксом — *küniklin* — и впоследствии дало ошибочные кальки в славянских языках: польск. *królik*, укр. *крілик*, русск. *кролик*.

Чисто исторически безусловно индивидуальный и в определенной мере искусственный характер носят имена нарицательные, образованные от имен собственных (их происхождение во многом уже утрачено носителями языка). Таковы англ. *boy* «мальчик», англ. *bob* «уваленъ», *baby* «младенец», нем. *Bube* «парень», восходящие соответственно к др.-англ. имени собственному *Bofa*, *Boja*, и др.-в.-нем. *Viobo* (ср.-в.-нем. *buobe*, ср. фриз. *boi* «мальчик», в.-нем. *buu*, *buз* «мальчик»). Русское слово *академия*, как и нем. *Akademie*, англ. *academy*, франц. *académie*, произошло от названия гимназии около Афин, где Платон и его ученики проповедовали свое учение; само название этого места связано с именем греческого героя *Академоса*. Таковы же и русск. *вокзал* (из английского топонима *Vauxhall*);

¹¹ Ср.: I. Iordán, Individual and collective innovations, «Revue de linguistique», VIII, 1, 1963.

¹² См.: М. М. Маковский, Этимология и проблема филологической достоверности слова, сб. «Этимология 1966», М., 1968.

¹³ Ср.: F. Hope, The analysis of semantic borrowing, «Essays presented to G. M. Gilderstone», Newcastle-upon-Tyne, 1960.

русск. *хам* (по библейскому имени *Хам*, сын Ноя), франц. *trueie* «свинья» (от названия древней *Trou*); нем. *Messing* «латузь» (по названию места в Греции, где этот сплав был впервые получен), русск. *ломбард* (от названия итальянской области Ломбардии, где, начиная с XIII в., банки стали основывать ломбарды; ср. франц. метафорическое *mont-de-piété* «ломбард», букв. «гора благочестия»); *наскиль* [по названию сооруженной в Риме в 1501 г. кардиналом Караффа статуи (*Pasquillo* — уменьш. от *Pasquino*), на которую стало обычаем наклеивать сатирические стихи, шаржи, эпиграммы и т. д.]; франц. *lutin* «шалость; фамильярность» (от имени бога Нештуна); англ. *mercury* «ртуть» (от имени *Меркурия*, бога торговцев в римской мифологии); англ. *burke* «душить» (от имени В. Бёрка, казненного в 1829 г. в Эдинбурге за совершение убийств подобного рода), англ. *derrick* «подъемный кран» (по имени Деррика, палача в Тайбёрнской тюрьме в Лондоне, который жил в начале XVII в.); русск. *церемония* [от названия предместья древнего Рима (*Caere*), где этрусские жрецы совершали свои ритуалы]; лат. *lucanica*, новогреч. *loukániko* «сорт колбасы» (по названию местности в древней Италии, где она впервые была изготовлена); русск. *монета* (англ. *money*, нем. *Münze*, франц. *monnaie*) восходит к названию римского храма *Juno Monēta*, т. е. Юноны Прорицательницы (лат. *monēre* «прорицать»), где были отчеканены первые металлические монеты. В русском языке интересны глаголы, образованные от имен собственных: *обтеорить* (от *Егор*), *подкузьмить* (от *Кузьма*), *обмишулить* (от *Михаил*, *Миша*), *взъерошить* (от *Ерошка*, *Ерофей*) и др. Характерна ограниченность возможностей образования подобных слов от различных имен собственных, что, несомненно, связано с определенными социолингвистическими «запретами», накладываемыми на жизнеспособность этих слов той узкой языковой сферой, где они употребительны.

Вмешательство индивидуума в «естественный порядок» языка, в той или иной мере нарушающее исконную форму и значение языковых единиц и соотношение между ними, можно наблюдать также в случаях: 1) контаминации слов, или телескопического словообразования (англ. *lunch* < *lump* + *munch*; нем. *Krajtrad* > *Krad*); 2) эллипсиса слов (с изменением или без изменения значения последних), 3) преднамеренного усечения начальных согласных или гласных в слове из соображений табу; 4) рифмованного словообразования; 5) опрошения слов [ср. англ. *world* < др.-англ. *wer* «человек» + *eald* «век», ср. нем. *Werwolf*; *lady* < *hlaf* «хлеб» + *daege* «девушка»; др.-в.-нем. *mezzi-rahs* (букв. «меч для еды») > нем. *Messer*], 6) переразложения [ср. чеш. *bádati* «исследовать» < *ob-adati*, ср.-др.-чеш. *jadati*; чеш. *pohan* < лат. *paganus* (от лат. *pagus* «область, район»), откуда глагол *pohaniti*, соотносимый, но в действительности не имеющий ничего общего с чеш. *haniti*, польск. *ganić*]; 7) народной этимологии [ср. начальное *x* в русск. *хрусталь* (под влиянием слова *хруст*), нем. *Fried-hof* из ср.-в.-нем. *frit* < *friten* «ограждать» + *hof*, *Feldstuhl* < *Faltstuhl* (ср.-в.-нем. *valtstuol*, ср. франц. *fauteuil*)]; 8) языкового планирования (ср., например, предпринятое Аавиком создание слов *ex nihilo* в эстонском языке), а также введения отдельными учеными метафорических названий химических элементов, болезней и т. д. (типа *кобальт*, *никель*, *вольфрам*, *диабет*). В ряде случаев индивидуум может вносить глубокие изменения и в произношение [фонетическая аналогия, ассимиляция, диссимиляция (и возникающее в связи с этим стирание фонемных противопоставлений), метатеза, эпентеза, изменение произношения под воздействием образцов других (социальных, территориальных) диалектов того же языка и др.]. Отметим, что многие новообразования в фонетике, грамматике (особенно в синтаксисе) и в лексике нередко появляются при быстрой спонтанной речи.

Возникает вопрос: почему, с одной стороны, целый ряд ошибочных, искусственных или случайных языковых образований, появившихся первоначально в качестве индивидуальных инноваций и заимствований, значение и (морфемный, лексемный) состав которых нередко не осознавались [ср., например, русск. *карнавал*, англ. *cornival*, франц. *carnaval*, итал. *carnevale* из вульг. лат. восклицательного предложения *carne vale!*, букв. «прощай, плоть», т. е. «прощай, (мое) обличье!», или англ. *culprit* «преступник», которое возникло из слияния двух первых слов в старофранцузской судебной формуле — *culpable: prest (prist) d'averrer*] «(он) виновен, готов (это) подтвердить», а также многочисленные слова, заимствованные с арабским артиклем *al-*, где он не осознается как таковой (ср., например, *алгебра*, или гибриды типа *зликсир*), впоследствии получили «права гражданства» не только в различных социальных пластах языка, но и в литературном стандарте, тогда как, с другой стороны, так называемые окказионализмы, *hарах legomena*, «писательские слова»¹⁴, кальки, образованные на основе реальных, существующих в языке лексических и словообразовательных элементов, нередко имеют очень мало шансов войти в общенародное употребление, а в ряде случаев не «пропускаются» и в различные социальные и профессиональные языковые пласты? Почему некоторые из таких образований все же входят в язык и укрепляются в нем [ср., например, в русском кальки *предмет* (лат. *objectum*), *насекомое* (лат. *insectum*) и др.], а другие, образованные по тем же принципам, неизменно сразу же предстают как «мертворожденные» (например, в русском кальки: *побудка* вместо *инстинкт*, *ячество* вместо *эгоизм*)? Почему, наконец, в одних языках наблюдается наплыв калек (например, в немецком, где можно точно установить автора и дату введения таких слов, как *Rundjank*, *Kerbtier*, *Mitleid*, *Gegenstand* и др.), а в других — процесс калькирования связан с определенным отбором? На все эти вопросы может быть дан вполне однозначный ответ: все зависит от структурных характеристик тех конкретных языковых систем, которые взаимодействуют между собой, от их иерархического соотношения в языке и взаимопроникновения их свойств.

Отметим прежде всего, что пересечение тех или иных пластов языка или даже вхождение одних языковых слоев в другие отнюдь не является свидетельством или гарантией обязательного перехода элементов одной из пересекающихся формаций в другую. Известно, например, что отдельные носители общенационального языка обычно используют далеко не все и не одни и те же лексемы, входящие в литературный стандарт, причем используют их неодинаково с точки зрения семантики и связей с другими словами¹⁵. Различные диалекты или диалекты могут манифестироваться в одном и том же социолингвистическом пространстве, тогда как различные социолингвистические пространства могут отражать один и тот же диалект или диалект. Хотя общенациональный английский стандарт по необходимости и «пересекает» языковые системы сленга, целый ряд общелитературных слов (например, *understand*; *courage*; *help*, *aid*; *shy*, *timid* и др.) оказался «исключенным» из словарного состава сленга. С другой стороны, хотя арго *sui generis* и не пересекает общелитературный стандарт, целый ряд арготических слов французского языка (например, *piger* «понимать», *rombier* «человек», *gourer* «ошибаться», *bide* «провал, неудача», *dalle* «ничего, ничто», *berge* «год», *caner* «отступать перед опасностью, бояться», *marrer* «лопаться от

¹⁴ Ср.: M. R h e i m s, *Dictionnaire des mots sauvages*, Paris, 1969.

¹⁵ Ср.: J. van G i n n e k e n, *Over de betekkelijk weinige woorden die wij gebruiken, en de ontzaglijk vele die wij verstaan*, «Onze taaltuin», IV, 1935—1936.

смеха» и др.) в течение последнего десятилетия стали широко проникать в язык прессы и художественной литературы¹⁶. Подобным же образом, такие слова литературного английского языка, как *cheat, fake, humbug, sham, shabby* и др., некогда были исключительной принадлежностью сленга.

Различные языковые пласты в языке занимают иерархически неравное положение и обладают в связи с этим неодинаковыми языковыми свойствами, которые в свою очередь обладают неодинаковыми возможностями проявления на различных идиолектных, социальных и временных уровнях. Однако каждое из этих свойств (константность, реактивность, взаимозависимость, адаптивность, открытость или закрытость системы, одновременность и последовательность и др., возникающие в результате процессов пересечения, наложения, сосуществования, чередования и переключения самых различных по своему происхождению языковых подсистем) само по себе никак не закреплено за тем или иным языковым пластом. В зависимости от структурного уклада того или иного языка и исторически обусловленных изменений любое из указанных свойств может характеризовать любые пласты языка, т. е. как те, которые в данный период развития языка занимают иерархически более низкое положение, так и те, которые занимают более высокое положение. При этом одно и то же свойство по-разному преломляется в зависимости от того, манифестируется ли оно в иерархически более высоком или более низком континууме. Вполне понятно, что иерархия свойств никак не определяется количеством носителей того или иного идиолекта, диалекта, койне, общелитературного языка или размером территории, которую они занимают, хотя иерархический статус одних и тех же свойств меняется в зависимости от иерархии той языковой формации, которую он характеризует на данном этапе языкового развития. Важно, однако, что иерархически различные пласты языка в разном мере подвергаются (или вовсе не подвергаются) одновременному воздействию социальных, территориальных и межсистемных закономерностей. Таким образом, на любом синхронном срезе языка наблюдается образование неодинаковых, но строго уравновешенных комбинаций взаимообусловленных и совместимых свойств, которые в конечном итоге определяют потенции как языкового целого, так и отдельных его звеньев, а также все дальнейшие реакции последних на возможные внутренние или внешние нарушения системы¹⁷, все языковые «запреты» и их нейтрализацию, соотношение и взаимопроникновение социальных и индивидуальных факторов, характерных для данного состояния языка. Именно «прохождение» или невозможность «прохождения» той или иной инновации в языке [независимо от того, откуда она исходит и куда проникает (или не проникает) — от индивидуального идиолекта в социальный диалект или в литературный стандарт, от литературного стандарта в социальный диалект или в индивидуальный идиолект и т. д.] является тем «индикатором», по которому с большой степенью достоверности можно судить о свойствах, возможностях, иерархическом статусе и соотношении не только того языкового пласта, который «отдает» свои элементы другому пласту, но и о тех языковых формациях, которые «воспринимают» или не могут «воспринять» эти инновации. Именно на основе рассмотрения движения инноваций в различных пластах языка можно выявить определенную «точку отсчета», дающую возможность перейти к пониманию соотношения свойств в этих пластах.

¹⁶ См.: W. Bloch witz, W. Runke witz, *Neologismen der französischen Gegenwartssprache*, Berlin, 1971.

¹⁷ См.: М. М. Маковский, *Принцип равновесия в лексике и семантике*, «Ин. яз. в шк.», 1972, 3.

Поскольку возможности языковой комбинаторики беспредельны как в диахронии, так и в синхронии (различной иерархией обладают не только те или иные языковые пласты, но даже отдельные лексико-семантические континуумы, входящие в них), не подлежит сомнению, что в языке нет и не может быть каких-либо априорных, имманентных и универсальных «правил», применимых к любому языку в любой момент его истории, или по крайней мере правил, в равной мере отражающих особенности всех звеньев языка. Реально существуют лишь конкретные, каждый раз различные, комбинации языковых признаков, свойств и ситуаций, рассмотрение которых в большей или меньшей мере показывает, какие факты возможны в жизни данного языка или нескольких языков, а какие невозможны, в каком звене изучаемого языка вероятно (необходимо) изменение и какое именно, как будут реагировать на это изменение другие звенья языковой системы (ср., например, относительную стабильность или, наоборот, разрушение языковой структуры), почему данная инновация в рассматриваемом языке имеет шансы распространения именно в данных пластах языка и почему другая инновация таких шансов не имеет и т. д. Рассмотрение конкретных фактов языка дает основания для выведения определенных закономерностей. Если, например, те или иные инновации (или ряд инноваций) не распространяются дальше того языкового пласта, в котором они возникли, то можно полагать, что их системные свойства (или отсутствие определенных свойств) превращают для них все прочие системы языка в «закрытые», тогда как свойства других инноваций, возникших в том же языковом пласте, могут «открыть» для этих последних те языковые пласты, которые для первого ряда инноваций оказались непроницаемыми. Подобным же образом определенная системная иерархия и соответствующие свойства могут допускать сочетание того или иного аффикса с определенным рядом слов, тогда как другой ряд слов с этим аффиксом сочетаться не может. Например, исконно германский отрицательный префикс *in-* в современном английском языке может употребляться далеко не со всеми прилагательными, хотя чисто внешние слова, используемые и не используемые с этим префиксом, ничем не отличаются: ср., с одной стороны, *unkind, uncivil, unfair, ungallant, unsalutary, unintelligent*, но невозможность форм *unshort, unsilly, uncruel, unignorant, unkind* и др.

Если при вхождении инноваций в один из пластов языка в другом пласте наблюдается массовый выход слов, можно заключить, что эти пласты до появления инноваций были взаимозависимыми и что их сосуществование нарушилось в результате возникшей несовместимости систем. Взаимозависимость исключает возможность закрытости системы, реактивность несовместима с независимостью систем и т. д. Большое влияние на свойства как идиолектов, так и социальных диалектов оказывает фактор времени. Именно этот фактор нередко является причиной качественного и количественного изменения структуры и свойств того или иного языкового пласта, сближая некогда далекие по своему составу и системным характеристикам языковые континуумы и раздвигая близкие или единые. Интересно в этом отношении явление регенерации, при котором элементы, давно вышедшие из языка, снова восстанавливаются в связи с воссозданием прежней системы¹⁸. Наблюдения показывают, что диахронические различия в пределах одного социолингвистического пространства тождественны обычно синхроническим сходствам в пределах различных социолингвистических пространств. С другой стороны, диа-

¹⁸ W. K u h l e r g, *Verschollenes Sprachgut und seine Wiederbelebung in neuhochdeutscher Zeit*, Frankfurt-am-Main, 1933.

хронические сходства в пределах различных социолингвистических пространств тождественны синхроническим различиям в пределах одного социолингвистического пространства. Диахронические различия в индивидуальных идиолектах одного и того же языкового слоя тождественны синхроническим сходствам в различных слоях языка, независимо от их принадлежности к одному и тому же социолингвистическому пространству. Если индивидуальные идиолекты не вступают в реакцию друг с другом, то они не вступают в реакцию и ни с одним другим (иерархически более низким или более высоким) пластом того же языка. Примером могут служить идиолектные (лексические и грамматические) системы так называемых мужских и женских, а также гоноративных форм речи, засвидетельствованных в некоторых языках. Специфическая система грамматических показателей и лексем, характерных только для каждого из этих непересекающихся идиолектов, не встречается больше ни в одном другом языковом пласте тех же языков.

При прочих равных условиях результат взаимодействия микросистем, принадлежащих к иерархически различным языковым пластам, обычно манифестируется только на уровне одной из этих систем, тогда как результат взаимодействия микросистем, принадлежащих к одному и тому же языковому пласту, проявляется во всех этих микросистемах¹⁹. В этом отношении весьма показательное наблюдение, сделанное в свое время еще Ж. Гомá и недавно подтвержденное исследованиями В. Лабова: идиолекты небольшой языковой общины, находящиеся в постоянном контакте друг с другом, обнаруживают те различия, которые характерны для территориально разобщенных идиолектов соответствующего города и района, в то время как неконтактирующие идиолекты обнаруживают те сходства, которые свойственны пересекающимся идиолектам небольшой языковой общины²⁰.

II. Столкновение социального и индивидуального в языке проявляется не только при интерференции и заимствовании, но и в семантике. Наиболее характерно для индивидуальных идиолектов явление семантической синэстезии (смешение слухового и оптического, тактильного и обонятельного или оптического ощущений и др.)²¹, вносящее значительные «поправки» в регулярные семантические переходы, бытующие в языке. Так, швейц. *flimsen* означает «шептать» и «мерцать», слово *šumny* в чешских диалектах означает «громкий, шумный», а в словацких — «красивый» (*šumné děvče* «красивая девушка», *šumné dílo* «хорошая, чистая работа»). Ср. укр. *бучний* «шумный» и «красивый». Баварск.-нем. *laut, laud* означает «громкий» и «красивый» (*e'laude rok* «красивая одежда», *e'laude bue* «красивый парень»).

Метафоризация носит нередко прогрессирующий характер: значение, полученное в результате метафоры, в дальнейшем может выступать как исходное, нейтральное при образовании дальнейшей метафоры, так что одна метафора как бы наслаивается на другую, хотя говорящий этого и не сознает. Многие слова, возникшие на основе индивидуального употребления, основаны на метафоре, нередко давно забытой. Так, франц. *caprice* «каприз» происходит от лат. *capra* «коза» (ср. франц. аргó *chèvre* «неудовольствие, гнев», собств. «коза»); итал. *grillo*, нем. *Grillen* «причуды, капризы» собственно означает «сверчок» (франц. *grillon* «сверчок»; ср. англ.

¹⁹ Ср.: G. Carden, A note on conflicting idiolects, «Linguistic inquiry», 1, 1970.

²⁰ См.: L. Gauchat, L'unité phonétique dans le patois d'une commune, сб. «Aus romanischen Sprachen und Literaturen. Festschrift H. Morf», Halle, 1905.

²¹ Ср.: W. A. Shibley, Metaphor. An annotated bibliography and history, Wisconsin, 1971; S. von Ullmann, Synästhesien in den dichterischen Werken von Oscar Wilde, «Englische Studien», 72, 2, 1938.

maggots «причуды», букв. «червяки»). Нем. *Laune* «настроение» образовано от лат. *luna* (имеются в виду различные фазы луны; кстати, само слово *luna* является метафорой и восходит к и.-е. **lougs-nā, leuqs-nā*, представленному в лат. *lux* «свет», т. е. означает «блестящая»). Лат. *pontifex* «жрец, священник» буквально означает «строитель мостов». Франц. *élan* «душевный порыв» собственно означает «лось». Лат. *calamitas* «несчастье» означает в конечном итоге «повреждение колосьев» (*calamus*), «убыток, принесенный урожаем градом». Англ. *porcelain*, нем. *Porzellan* «фарфор» заимствованы из итал. *porcellana* «морская раковина», которое в свою очередь было образовано от лат. метафоры *porcus, porcella* «свинья» > «вульва». Англ. *girl* «девочка» восходит к др.-англ. *gerela* «одежда», ср. совр. швабск. нем. диал. *Ger* «кусоч материи». Русское слово *халатный* «небрежно-безразличный, недобросовестный» является метафорой от *халат* «длинная домашняя одежда свободного покроя» (как символ домашней праздности, лени): в русской литературе XIX в. еще употреблялось словосочетание *халатная жизнь* «бездеятельная неторопливая жизнь». Русское слово *мерзкий* «отвратительный» восходит к *мерзнуть*, *мороз*, русск. *стыд* восходит к *студить*, (*про*)*студа*, ср. чешск. *ostuda*.

Англ. *check* «остановка, препятствие», франц. *échec* «провал, неудача» являются метафорой от названия шахмат. Лат. *egregius* «отличный» означает буквально «вятый, выбранный из стада». Русск. *горе*, *горький* связаны с глаголом *гореть*, *печаль* — с *печь* (в смысле «жечь»), а русск. *коварство*, *козни* — с *коват*; лат. *scrupulus* (уменьш. от *scrupus*) «мнительность, беспокойство» означает фактически «остроконечный камень», лат. *considerare* «обдумывать» фактически означает «смотреть на звезды» (*con* + *sidus*, род. пад. — *sīderis* «звезда»; сюда же относится и слово *dēsiderare* «желать», букв. «ожидать от звезд»).

Интересны следующие случаи опрошения, при котором переносное значение вытеснило прямое. Англ. *gossip* «сплетня» буквально означает «крестный отец (или мать)» и состоит из слов *god* «бог» и *sib* «родственник» (ср. др.-исл. *gudsefi* «крестный отец», *gudsifja* «крестная мать»). Англ. *gossamer* «прозрачный, похожий на паутину; паутина» фактически означает «бабье лето» (*goose* «гусь» + *summer* «лето»). Англ. слово *fellow* «парень» восходит к др.-англ. *fē* «скот, богатство, деньги» и *lag* «выкладывание», букв. «выкладывание денег», т. е. означает «тот, кто делится с другими своими материальными средствами» [ср. англ. *companion*, франц. *compagnon* (от лат. *com* + *panis* «хлеб»), букв. «сохлебник»] (ср. совр. англ. *fee* и *to lay*). Чисто метафорическими являются и такие слова в русском языке, как *око* (от око «глаз»), *подушка* (*под* + *ушко*), *неделя* [первоначально означало «воскресенье» и составлено из слов: *не* + *дело* (ср. *понедельник* «день после воскресенья»), но впоследствии стало обозначать неделю в целом], *невеста* (т. е. неизвестная), *большой* (ср. разг. русск. *больно* «сильно, очень, много»). Таковы же и франц. *maintenant* (*main* + *tenant*), англ. *breakfast*, *window* (*wind* + *eye*). Немецкое *Himmel* «небо», в соответствии с древними представлениями, фактически означает «(каменная) твердь, каменный свод» (ср. авест. *asman-* «камень; небо», литов. *akmuo* «камень»), а слово *элемент* в виде **elephantum* было заимствовано латынью из греческого (греч. *ἐλεφαντα*, вин. пад. от *ἐλέφας* «слон») и означало первоначально «фишка из слоновой кости, используемая в виде азбуки» (окончание *-mentum* возникло по аналогии со словом *rudimentum*, имевшим синонимичное значение). Кроме того, бесчисленное множество предметов получило свое название от животных, с которыми они имеют действительное или воображаемое сходство: русск. *козлы*, *лебёдка*, *волчок*, *собачка* и др.; англ. *cock* «кран, флюгер»; *cat* «треножник»; *cow* «лом, ворот, щипцы»; *dog* «хомутник, крюк; таган (в камине)»; *easel* «мольберт»

(от *ass* «осел»); русск. *проворонить* (от *ворона*) «упустить, не использовать»; *присобачить* «прикрепить» и др. Интересны некоторые определения, возникшие на основе синестезии: англ. *proud flesh* «испорченное мясо» (букв. «гордое мясо»), англ. *blind nettle* «крапива, которая не жжется» (букв. «слепая крапива»), ср. нем. *taubes Ei* «яйцо без зародыша», *taube Nuss* «пустой орех», англ. *live coal* «горящий уголь» и др. Весьма своеобразно и преломление значения некоторых слов в родственных языках, несомненно, возникшее первоначально в связи с индивидуальным восприятием и ассоциациями одного и того же корня: ср. русск. *рылый*, но чеш. *rychly* «быстрый», русск. *жадный*, но чеш. *žadny* «никто, никакой»; русск. *позор*, но польск. *rózoz* «внимание», русск. *хруст*, но чеш. *chrust* «жук»; русск. *щеголь*, но польск. *szczegół* «подробность, особенность»; русск. *питомец*, но чеш. *pitomec* «дурак» и др.²²

Различные индивидуальные ассоциации одного и того же корня проявляются не только на разных временных, социальных (жаргонизмы, профессионализмы) и территориальных уровнях, но и являются причиной значительных семантических расхождений ряда однокорневых слов во многих индоевропейских языках²³. Так, отнюдь не во всех индоевропейских языках слова со значением «страх, трепетание» дают семантический вариант «волосы» (ср. греч. φοβέω «бояться», но φοβή «волосы») или соотносятся с семантическим вариантом «два» (ср. арм. *erkiut* «страх», но *erku* «два»). Переносные значения, характерные для тех или иных языков, в других языках могут оказаться совершенно незначимыми. Например, при передаче русских слов *ломаться* «нехотя делать», *подвести* «поставить в затруднительное положение», *провести* «обмануть» и др. соответствующими по смыслу английскими, немецкими, французскими словами мы не получим семантических эквивалентов. С другой стороны, можно наблюдать семантические ассоциации, сходные в языках, не имеющих между собой ничего общего ни территориально, ни генетически. Например, по наблюдениям В. Э. Смита, в одном из австралийских языков (гумбайнгар) корень *buggi* используется с целым рядом внешне не связанных значений, имеющих лишь то общее, что они обозначают разного рода исчезновение: «входить в дом», «надевать (одежду)», «садиться (о солнце)»²⁴. С этим интересно сопоставить индоевропейский корень **ues*: ср. санскр. *vāsati* «войти (в дом); переночевать; поселиться, жить», санскр. *vāstē* «одетый, в одежде», англ. *west* «запад» (т. е. место захода солнца). Отметим в этой связи, что арм. *aganim* можно перевести и как «я ночью», и как «я одеваюсь». Многие древнейшие индоевропейские слова являются забытыми метафорами, например, *женщина* (буквально «рождающая»), *ребенок* (буквально «наследник», ср. гот. *arbja* «наследство», нем. *Erbe*), *ужин* (буквально «еда в полдень», производное от слова *юг*), *заяц* (буквально «прыгун», ср. др.-инд. *hāyas* «конь», литов. *žaištis* «прыгать») нем. *Herbst* означает собственно «время жатвы, сезон сбора плодов» (ср. швейц. *Herbst* «сезон сбора винограда», др.-сев. *harfr, herfi* «борона», лит. *kerpù* «срезаю» и др.); русск. *дорога* восходит к *драть* и буквально означает «продранное в лесу пространство».

Интересны случаи индивидуальных смысловых ассоциаций, которые привели к образованию новых слов. Слово *бабка*, например, в русском ли-

²² См.: L. J. Н е г м а н, A dictionary of Slavic word-families, New York, 1975; ср. J. D e e s e, The structure of associations in language and thought, Baltimore, 1966; Н. W e r n e r, Change of meaning: a study of semantic processes through the experimental method, «Journal of general psychology», 50, 1954.

²³ Ср.: J. P o k o r n y, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1949—1959.

²⁴ См.: W. E. S m y t h e, Elementary grammar of the Gumbaingar language, Sydney, 1971, стр. 271.

тературном языке и в диалектах может означать: «коренной зуб», «сноп», «кость ноги у лошади», «бабушка», «пень», «белый гриб». Нем. *Fuchs* означает не только «лиса», но и «хитрец», «студент-новичок», «золотая монета», «дымоход» (например, котла). Весьма велика роль ономотопеии (ср. такие исторически звукоподражательные слова, как русск. *бык*, *пчела*, *пыгать*, *ворковать*, *ворчать* и др.), звуковой символики [ср. русск. *желеть* — *желать*; *пасть* — *поить*; фин. *poika* «сын», но *piika* «дочь»; лат. *ridere* «смеяться», но *rudere* «реветь»; турецк. *ol* «быть», но *öl* «умереть»; литов. *šaltas* «холодный» — *šiltas* «теплый»; лат. *vetulus* «старый» — *vitulus* «теленок» (собственно «однолеток»); греч. *ἄνθος* «цветок», но *ἄθος* «नावоз», нем. *achten* «почитать, уважать» — *ächten* «преследовать»; *Fürst* «князь» — *First* «выступ на крыше дома»]²⁵ и этимологических дублетов (типа русск. *христианин* > *крестьянин*, а также *кретин*; *король* и *карлик*) в образовании и изменении значения слов на индивидуальном (идиолектном) уровне.

Большой интерес представляет образование эвфемизмов, которые, возникнув из соображений табу [ср. франц. *tuer* «убивать» < лат. (*ignem*) *tutäre*; араб. *matmān* «обезьяна» (страдат. прич. прош. времени от *yāmāna* «он был счастлив») < араб. *yāmān* «правая сторона, юг» (а также итал. заимствование *monna*, англ. *monkey*): считалось, что обезьяна приносит несчастье], в большой мере определили возникновение ряда общеупотребительных слов в современных языках и изменение их значения²⁶. Одной из разновидностей эвфемизмов, видимо, была и поляризация значений (энантосемия). Показательно, что языковые микросистемы, различные в иерархическом и временном отношении, по-разному отражают это явление: в одной системе одновременно, в нескольких системах одного и того же языка или родственных языков, в диахронических системах. Следует указать, что многие слова являются синонимами в одних языковых системах (например, в индивидуальных), но не являются синонимами в других системах того же языка (например, в сленговых)²⁷, что объясняется, видимо, качественно неодинаковой и неравномерной метафоризацией слов в различных языковых слоях.

Рассмотренные факты дают основание полагать, что в процессе употребления и развития языка общезыковые, коллективные модели непрерывно преобразуются и видоизменяются в рамках индивидуального использования, в частности, прежние «запреты» общенациональной нормы с течением времени могут превратиться в норму, а нормативные явления нередко утрачивают свою общезыковую значимость. С другой стороны, многие из таких видоизмененных моделей в дальнейшем выступают уже как общезыковые и нормативные, подвергаясь дальнейшим преобразованиям на индивидуальном уровне. Именно этим, видимо, объясняется то обстоятельство, что одни и те же языковые континуумы нередко на протяжении истории языка существуют и развиваются в рамках различных структурных укладов, тогда как континуумы, ранее находившиеся в сфере действия различных структурных закономерностей, с течением времени могут войти в одну и ту же структурную модель. Именно в этом проявляется взаимодействие и взаимообусловленность индивидуальных и социальных моментов в языке, в конечном итоге приводящие к определенному языковому равновесию в синхронии и открывающие возможность язы-

²⁵ Ср.: D. B o l i n g e r, *Word affinities*, «American speech», 15, 1940.

²⁶ Ср.: E. B e n v e n i s t e, *Euphemismes anciens et modernes*, в его кн.: «Problèmes de linguistique générale», Paris, 1966.

²⁷ Ср.: R. H a r r i s, *Synonymy and linguistic analysis*, Oxford, 1972; М. М. Маков с к и й, Пути реконструкции социальных диалектов древности, ВЯ, 1972 5.

кового движения. Вполне понятно, что каждый индивидуум не несет в себе черты, присущие всему обществу в целом: принадлежность человека к обществу опосредствуется его принадлежностью к определенной социальной, половой, возрастной, территориальной группе или профессиональному коллективу. Соответственно и индивидуальные идиолекты не являются замкнутыми, изолированными, вырванными из языка, а по необходимости носят социальный характер.

III. Взаимодействие и противоборство индивидуальных и социальных факторов в развитии языка нередко приводит к нарушению «нормального» развития фонетических и грамматических процессов, препятствует доведению их до конца и способствует возникновению разного рода «маргинальных» явлений (отдельные слова нередко превращаются в суффиксы, личные местоимения становятся окончаниями различных глагольных форм, а целые грамматические категории разрушаются, например, двойственное число в германских языках). Именно в результате такого взаимодействия возникают новые, «равнодействующие» подсистемы, процессы и закономерности, не сходные с первоначальными, или, наоборот, целые «массивы» лексико-семантических элементов вообще никакой реакции не подвергаются. Так, ряд слов в алеманском ареале не отражает германского передвижения согласных. В нортумбрийском диалекте древнеанглийского языка, в отличие от других диалектов этого языка, обнаруживаются большие колебания в грамматическом роде. Слова, которые в один период развития языка зафиксированы с определенным грамматическим родом, с течением времени могут выступать с другим родом, как это произошло в современном норвежском, где также наблюдаются колебания в грамматическом роде одного и того же слова. Уменьшительный суффикс *-k-* в германских языках далеко не всегда и не везде употреблялся и употребляется в уменьшительном значении (ср. др.-англ. *geolca* «желток», *heolca* «ищей» и др.).

Следует остановиться еще на одной области, где наиболее ярко проявляется столкновение индивидуальных и социальных импульсов в языке. Речь идет о вариативности, наложившей глубокий отпечаток на развитие многих языков, поскольку она, как правило, отражает стремление языковой системы к равновесию, нарушенному в результате проявления того или иного процесса. Здесь в первую очередь следует назвать интересное явление «мены согласных», типичное для многих германских территориальных диалектов, и в частности для английских. Ср. пары: *sigle — sidle; brodle — brogle; shingle — shindle; brickle — brittle; mask — mast; keevy — keemy*. Ср. также швейц.-нем. *baugen* «косить (о глазах)», но также *mäuggen; bäggeln* «плохо пахнуть», но также *gäggeln, mäuggeln; Bifer* «тонкий слой снега на земле», но также *Gifer; Büdel* «желудок, живот», но также *Chuttel; Gueg* «улитка», но также *Mög* и др. Необходимо указать также на разного рода подвижные формативы²⁸.

Интересны в германских языках случаи «интрузивного» *r* типа др.-англ. *hemman — hremman* «мешать», др.-сев. *spekja* «беседовать» — нем. *sprechen*, ср.-в.-нем. *schanc — schranc* «ящик», др.-сев. *vå* «угол» — швед. *vrå* «угол» и др. Можно указать также на вариативность форм сложных слов с соединительными *-s-*, *-e-* и без них в немецком и голландском языках: ср. голл. *boeketyd*, но *boektitel, boek(e)taal, doodsmag*, но *doodmaal* и др.

²⁸ См.: М. М. Маковский, О подвижных формативах в современном немецком языке, «Ин. яз. в шк.», 1967, 1; Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970.

*

Мы рассмотрели некоторые аспекты одного из наиболее важных процессов, в значительной мере определяющего особенности становления, существования и эволюции многих языковых явлений, — взаимодействие индивидуальных и социальных факторов, пронизывающее структуру языка «снизу доверху» и накладывающее определенный отпечаток на все его звенья. Не подлежит сомнению, что, используя язык, человек отнюдь не является пассивным «потребителем» априори заданного «кода». Напротив, использование языка отдельными членами общества неизменно ведет к тому, что человек постоянно преобразует, обновляет и творит свой язык, а тем самым и язык определенного языкового коллектива. Именно на индивидуальном уровне создаются многие синонимы и многозначные слова, но, с другой стороны, индивидуальные идиолекты нередко служат тем «фильтром», который «задерживает» выходящие из языка слова и их значения (эти последние в дальнейшем могут снова стать достоянием языка коллектива как в прежнем виде, так и в несколько преобразованном обличье, в частности они могут подвергнуться метафоризации). Однако, как указывал акад. В. В. Виноградов, «ни один язык не был бы в состоянии выразить каждую конкретную идею самостоятельным словом или конкретным корневым элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем или иным рубрикам основных значений»²⁹. Такое «разнесение по рубрикам» по-разному (качественно и количественно) осуществляется носителями отдельных языков, диалектов или одного и того же языка на разных этапах его развития. Поскольку существование языка мыслимо лишь как процесс его постоянного употребления, постольку и особенности его фонетического, грамматического и лексико-семантического строя предстают как «усредненный» результат отдельных «говорений», которые в свою очередь невозможны без определенной социальной нацеленности. Вполне понятно, что различные манеры говорить и писать, возникающие на основе тех или иных способов пользования языком и входящие в коллективную «привычку», имеют с о б с т в е н н у ю и с т о р и ю и изменяются так же, как изменяются звуки, формы и знаки. Более того, от истории подобных «привычек» (фактическое содержание которой, разумеется, предопределено историей объективного строя языка) очень часто оказывается зависимой и сама история звуков, форм и знаков. Именно такое сложное переплетение индивидуальных и общественных факторов, с одной стороны, и особенностей языкового строя — с другой, обуславливает то положение, что в синхронии нередко представлены лишь результаты того или иного преобразования вне связи с исходными реагентами, а, с другой стороны, создается иллюзия соотношений или даже связей элементов, не имеющих между собой ничего общего. В связи с этим следует указать на трудности установления качественных и количественных закономерностей образования синонимов и семантического развития слова, трудности выделения многозначных слов и др. Как справедливо замечал Ф. де Соссюр, «странным и поразительным свойством языка является таким образом, то, что в нем не даны различимые на первый взгляд сущности (факты), в наличии которых между тем усомниться нельзя, так как именно их взаимодействие образует язык. В этом лежит та черта, которая отличает язык от всех прочих семиологических систем»³⁰.

²⁹ См.: В. В. Виноградов. Русский язык, М., 1947, стр. 15.

³⁰ См.: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 108—109.

И. П. ИВАНОВА

СТРУКТУРА СЛОВА И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

В предлагаемой работе сделана попытка установить связь между определенным типом грамматических категорий и структурой слова, и сопоставить эти явления в английском и других германских языках.

В германских языках словоизменительная структура слова представлена двумя основными типами, не исключаящими, однако, промежуточных структур. Один из этих ведущих типов — слова со свободной основой, другой — слова со связанной основой. Наличие или отсутствие словообразовательных формантов несущественно для поведения слова в словоизменительной парадигме. Тип со свободной основой (далее называемый «свободной структурой») подразумевает такое строение слова, при котором словоизменительная основа и минимальная структура слова имеют одинаковую звуковую форму и различаются только функционально¹. Минимальная структура способна распространяться добавочными словоизменительными формантами, которые, не входя в нее, составляют вместе с основой максимальную структуру слова: англ. *room-s*, *boy-s*; *long-er*, *-est*; *depend -ed*, *-ing*. Подобные структуры имеются во всех германских языках: нем. *Tisch-es*, *-e*; *weit-er*, *-est*; швед. *dag-ar*, *ros-or*; норв. *dag-er*, *punkt-er*, дат. *brev-e*, *dreng-e*. Такие структуры встречаются и за пределами германских языков: *дом — дома*, *гость — гости* и т. д.

Второй тип словоизменительной структуры — это слова со связанной основой, т. е. такие, у которых основа не идентична звуковой форме слова. Их минимальная структура включает не один, а два обязательных элемента: основу плюс словоизменительный формант. Последний является неотъемлемой частью слова, ибо без него слова как такового нет: он несет дополнительную функцию превращения не-слова в слово (слово-реализующую функцию)². В английском эта структура встречается только в виде пережиточных случаев: *child — children*; в немецком — в формах мн. числа существительных: *Gast — Gäst-e*; *Maus — Mäus-e*, в шведском — *rand*, *ränd-er*.

Словоизменительная структура слова в английском языке обладает особыми чертами, не присущими другим германским языкам, или, во всяком случае, не являющимися для них ведущими, определяющими (под «словом» здесь имеется в виду совокупность словоформ, присущих данной единице).

Свободная структура является ведущим морфологическим типом в современном английском. Здесь речь идет об именных классах; однако следует сразу оговорить, что для глагола характерна та же структура, хотя общее количество исключений, т. е. связанных структур, больше из-за существования довольно многочисленной группы неправильных гла-

¹ В. Н. Ярцева, Историческая морфология английского языка, М., 1960, стр. 100, 174.

² И. П. Иванова, О словореализующей функции аффиксальных морфем в английском языке, сб. «Вопросы структуры английского языка в синхронии и диахронии», 2, Л., 1969, стр. 150—152.

голов. Что же касается именных классов, в частности — имени существительного, то на весь этот класс насчитывается менее десяти связанных структур, пережиточно сохранивших исчезнувшие из языка формы словоизменения: *child — children, foot — feet, man — men* и т. д.

Связанные структуры представлены в исландском, и, за пределами германских языков, — в латинском и в значительном количестве — в русском. Между этими двумя полярными типами — свободной и связанной структурой — находятся смешанные структуры, которые обнаруживаются в остальных германских языках. Так, в немецком существительные, как правило, имеют свободную структуру в ед. числе: *Gast, -es, -e; Haus, -es, -e; Kraft; Maus*. Во мн. числе существительное может иметь свободную основу (*Tisch-e, Knabe-n*), но наряду с этим широко распространены формы мн. числа с перегласовкой, где основа не совпадает с функционирующим в языке словом: *Gäst-e, Häus-er, Kräft-e, Mäus-e, Wäld-er*. Морфологизация умлаута во мн. числе означает закрепление связанных основ существительных; то же наблюдается в адъективных и глагольных основах. В скандинавских языках также прослеживается смешанный тип структур: швед. *fof — fött-er, tand — tänd-er, stad — städ-er*; норв. *bok — bok-er; mark — merker; ta — tær*.

Здесь нет возможности проследить количественное соотношение свободных и связанных структур в каждом из германских языков³; между тем такой подсчет был бы весьма интересен для характеристики морфологического строя этих языков. В настоящее время можно сказать лишь, что тот факт, что в английском единственной структурой для именных классов является свободная структура, создает качественное отличие английского от остальных германских языков. В этой структуре грамматический формант «отторгнут», так сказать, из минимального строения слова⁴, и это четкое отделение лексической части от грамматической, которое делает необязательным присутствие морфологического форманта в корпусе слова, имеет принципиальное значение. Нельзя не заметить, что это четкое разделение основы с референтным значением и грамматического форманта в структуре слова очень точно сопоставимо с аналитическими формами, где также участвует компонент с референтным значением и компонент или компоненты с чисто грамматической функцией. Само собой разумеется, что здесь речь идет не о пресловутом «аналитическом слове», а лишь о том, что в описанной выше словоизменительной структуре целостная единица построена по тому же принципу, который является ведущей чертой аналитических конструкций.

Перестройка словоизменительной структуры слова происходила одновременно с общей перестройкой системы словоизменения, в частности — именных классов. В результате этой перестройки в английском исчезли некоторые грамматические категории, сохранившиеся в других германских языках, это — категории рода и типа склонения. Представляется необходимым остановиться на некоторых особых чертах этих категорий.

³ Подсчет, произведенный Дж. Гринбергом для английского, включает также и словообразовательную структуру, которая допускает значительно большее количество связанных основ, чем структура словоизменительная. Поэтому для характеристики словоизменения этот подсчет непоказателен (см.: Дж. Гринберг, Квантитативный подход к морфологической типологии языков, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963).

⁴ Иногда присоединение аффикса к свободной основе сравнивают с агглютинацией (например, см.: Г. Н. Воронцова. Очерки по грамматике английского языка. М., 1960, стр. 155, 365). Это представляется весьма неточным. Агглютинация предполагает возможность наслаивания однозначных словоизменительных аффиксов, что совершенно исключено для английского (так, в форме *building-s* аффикс *-ing* является словообразовательным формантом).

Понятие грамматической категории предполагает систему форм, передающих определенное закрепленное за ними обобщенное содержание. Содержание грамматической категории является в большинстве случаев своеобразно преломленным отражением тех или иных отношений внеязыковой действительности. А. М. Пешковский подразделяет «синтаксические», т. е. именно грамматические категории, на объективные, «обозначающие отношения между словами и словосочетаниями», и субъективно-объективные, «обозначающие отношение самого говорящего к этим отношениям»⁵. Как примеры последнего типа рассматриваются категории наклонения и времени; категория лица трактуется как двойственная, имеющая отношение к обоим типам. В. Г. Адмони обозначает эти подразделения терминами «логико-грамматические» и «коммуникативно-грамматические»; однако наряду с ними В. Г. Адмони отмечает существование категорий «структурно-грамматических», выполняющих организующую роль в языке. Это соображение представляется чрезвычайно важным⁶.

По-видимому, большая часть грамматических категорий современных индоевропейских языков может быть отнесена к категориям логико-грамматическим и коммуникативно-грамматическим, которые могут быть объединены как категории формально-содержательные. Это — категории числа, падежа существительных; формы степеней сравнения у прилагательных; времени, залога, наклонения у глаголов, и ряд других категорий, так или иначе отражающих в формализованных, своеобразно преломляющих формах те или иные объективно существующие отношения мышления, которые в свою очередь отражают обобщение отношений объективной действительности.

Категориям такого рода принципиально противостоят собственно-формальные классификации (структурно-грамматические категории, по терминологии В. Г. Адмони), существующие в подавляющем большинстве индоевропейских и, в частности, германских языков. Эти классификации не отражают никаких отношений или явлений экстралингвистических, и в этом плане они бессодержательны. Но в тех языках, где они существуют, они используются как средство формальной группировки слов. Такова классификация существительных по типам склонения; в современных германских языках — немецком, шведском и других (кроме английского) это — различие сильного и слабого склонения, исторически восходящее к индоевропейскому делению по основам. Сюда же можно причислить грамматический род⁷. В обоих случаях мы находим закрепленное распределение существительных на классы, принцип выделения которых не опирается ни на какие логические или иные понятийные факторы, которые были бы понятны нам. Более того, эти принципы, отражавшие некое иное, характерное для ранних периодов развития человечества восприятие и интерпретацию действительности, невозстановимы; отдельные их обломки, сохранившие формальную и семантическую ясность, не помогают нам воссоздать общую картину: например, основы на -г, основы кровного родства, не содержат информации о принципе выделения основ. При всей своей семантической бессодержательности, классификация по основам определяет характер парадигмы существительного: *стола — столов, но конь — коней; стена — стен, но мышь — мышей*; нем. *der Tag — des Tages, но der Hirt — des Hirten*. В силу синкретичности индоевропейской флексии, в ней не выделены форманты рода, падежа и числа, и клас-

⁵ А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 89.

⁶ W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, JL., 1972, § 2, стр. 12.

⁷ Эти классификации выделены как чисто формальные в книге С. С. Мясловой-Лашанской «Шведский язык» (Л., 1952, § 159, стр. 111).

сификация по типам склонения в той или даже большей степени обуславливает характер парадигмы, как и грамматический род.

Последний также представляет собою полностью бессодержательную классификацию, хотя это не в такой степени ярко выражено, как в случае типов склонения. В ряде работ четко отмечается совершенно формальный, условный характер этой классификации⁸. С другой стороны, многие лингвисты, признавая формальный характер распределения существительных по роду, все же считают возможным установить связь между грамматическим родом и биологическим полом, указывая на то, что, как правило, живые существа мужского пола обозначаются существительными мужского рода, и, соответственно, существа женского пола — именами женского рода. Вместе с тем, те же авторы указывают на весьма существенный момент, который, в сущности, снимает теорию содержательности рода как грамматической категории⁹. Принадлежность к биологическому полу обозначается или суффиктивно, или с помощью словообразовательных суффиксов. Оба способа широко распространены в индоевропейских языках: например, супплетивны такие пары, как «муж — жена», «баран — овца», «петух — курица»; нем. *Mann — Frau, Hahn — Huhn*. В случаях противопоставления однокорневых слов мы всегда находим словообразовательный суффикс: *ткач — ткачиха, медведь — медведица, касир — касирша, наступ — наступка*, нем. *Löwe — Löwin, Schüler — Schülerin, Katze — Kater*. Именно эти оба способа используются и в английском, где нет грамматического рода — суффиктивные ряды: *boy — girl, ram — ewe, lord — lady*, и суффиксация: *steward — stewardess, poet — poetess, executor — executrix*. Иначе говоря, при обозначении естественного пола используются средства языка, находящиеся вне сферы словоизменения.

И классификация по типам склонения, и грамматический род весьма прочно закрепились в индоевропейских, в частности — в германских языках, за исключением английского, где они исчезали в ходе перестройки морфологической системы в среднеанглийский период. Их следует рассматривать, видимо, в совершенно аналогичном плане, а именно — или причислить к грамматическим категориям, или же выделить для них особое место среди языковых явлений. В известной степени это — вопрос термина, и вряд ли стоит засорять еще одним термином и без того засоренную терминологию теории грамматики. Представляется, что эти классификации следует рассматривать как грамматические категории, но в противоположность формально-содержательным категориям, о которых говорилось выше, выделить их как категории собственно-формальные. Грамматический род обычно включается в перечень грамматических категорий без указания на его семантическую бессодержательность, а деление по типам склонения по своему формально-бессодержательному характеру не отличается от грамматического рода. «Главное в именной классификации — это принадлежность каждого существительного к определенному классу, а сколько таких классов и как они мотивированы, не столь важно»¹⁰. Это сказано по поводу категории рода, но в одинаковой мере может быть отнесено к делению по типам склонения: в обоих случаях разбивка по классам не имеет мотивации в современных языках.

⁸ С. С. Маслова-Лашанская, указ. соч., § 159—160; М. И. Стейнберг — Каменский, *Грамматика норвежского языка*, М.—Л., 1957, § 6, стр. 28.

⁹ О. И. Москальская, *Грамматика немецкого языка*, М., 1956, стр. 52 и далее; W. Admoni, указ. соч., § 16, стр. 99—100; Л. Р. Зипфер, Т. В. Стрессва, *Современный немецкий язык*, М., 1957, § 100, стр. 74.

¹⁰ С. Д. Кацнельсон, *Типология языка и речевое мышление*, Л., 1972, стр. 22.

Обе категории имеют чисто морфологические функции у существительных и синтаксические функции у прилагательных. Классификация по роду и типу основ у существительных дана в слове, она неизменна и не несет ни семантической, ни синтаксической нагрузки. У прилагательных категория рода функционирует наравне с категориями числа и падежа: все эти категории для прилагательного — несобственные¹¹, все они оформляют согласование прилагательного с существительным, т. е. являются средством оформления связей в атрибутивном словосочетании. Для прилагательных в современных германских языках категории типа склонения (сильного или слабого), категория рода, а также категории числа и падежа являются категориями собственно-формальными.

Если у категорий формально-содержательных снять формальную ограниченность плана выражения, т. е. парадигму, то остается содержание, — то, что И. И. Мещанинов называл понятийной категорией¹². Присоединив сюда лексические способы передачи данного содержания, мы получим лексико-грамматическое поле¹³. Если же мы проделаем ту же операцию с категориями собственно-формальными, то от категории ничего не останется: использование ее в языке как грамматического показателя основано только на форме, и даже то, что можно назвать ее грамматическим содержанием (например, синтаксический прием согласования), тоже сугубо формально.

Очень характерной чертой собственно-формальных категорий является и то, что они характеризуются всеобщим охватом данной части речи. Большая часть формально-содержательных категорий взаимодействует определенным образом с теми или иными лексико-грамматическими группировками внутри данной части речи (с зависимым грамматическим значением)¹⁴. Так, категория числа не допускает формы мн. числа существительных со значением вещества, а также отвлеченных существительных; категория времени, взаимодействуя с видовым характером глагола, видоизменяет значение формы; категория сравнения невозможна для относительных прилагательных и так далее. Однако в языках, где имеется категория рода, невозможно существительное, которое не имело бы рода, и не принадлежало бы к тому или иному типу склонения (исключением являются *Pluralia tantum*). В самой форме существительного в германских языках, как правило, не содержится информации о принадлежности его к тому или иному роду, — эта функция целиком перешла к артиклю или любому другому определителю существительного. Важно, однако, то, что ни одно существительное не мыслится как безродовое.

Таким образом, в тех языках, где сохранились собственно-формальные морфологические категории, они используются как средства передачи формальных связей в словосочетании — существительного как ядра, прилагательного как подчиненного члена атрибутивного словосочетания.

Какова же связь между свободной словоизменяющей структурой и набором грамматических категорий английских именных классов? Уже в древнеанглийском грамматический род и разделение по основам имели у существительного весьма нечеткое выражение в силу широкой омонимии формантов. Эта нечеткость компенсировалась для формально-содержа-

¹¹ В. Н. Ярцева, указ. соч., стр. 70.

¹² И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 195 и далее.

¹³ Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Грамматико-лексические поля в современном немецком языке, М., 1969, стр. 5—17; Г. С. Щур, Теория поля в лингвистике, М., 1974, стр. 64—80, 121—146.

¹⁴ И. П. Иванова, К вопросу о типах грамматического значения, «Вестник ЛГУ», 1956, 2.

Языки	Структура именных частей речи	Собственно-формальные категории			Формально-содержательные категории		
		деление по основам	род	согласова- ние при- лагатель- ного	падеж	число	
						чередов.	нет чередов.
Немецкий	смешанная	сильное и слабое склон.	3	+	4	+	+
Исландский	»	То же	3	+	4	+	+
Датский	»	»	2	+	2	+	+
Норвежский	»	»	2 и 3	+	2	+	+
Шведский	»	»	2	+	2	+	+
Голланд- ский	»	»	2	+	2	+	+
Английский	свободная	нет	нет	нет	2	7 случаев	+

тельных категорий использованием иных средств; так, при невыразительности падежных формантов, использовавшихся для передачи отношений именного члена предложения, ведущую роль стали играть порядок слов и предложные сочетания. В силу синкретичности флексии, отдельные ее значения невыделимы. Когда флективные окончания, совмещавшие обозначение и формально-содержательных и собственно-формальных категорий, утратили способность передачи содержательных категорий, собственно-формальные категории не могли удержаться или найти другие способы выражения, так как выражать, собственно говоря, было нечего, — они стали безреферентными.

Процесс утраты флексий существительным был одновременно процессом и утраты собственно-формальных категорий, и перестройки структуры слова, слияния основы и слова. Парадигма прилагательного была значительно более четкой, чем парадигма существительного. Однако согласование по роду оказалось невозможным для прилагательного в среднеанглийском, так как определяемое стало безродовым. Казалось бы, прилагательное могло сохранить форманты числа и падежа, но флексия всегда синкретична, и потому разрушение согласования по одной из категорий повлекло за собой разрушение всей флексии в прилагательных. Вероятно, здесь существенную роль сыграло то обстоятельство, что все эти категории у прилагательных являются несобственными и, следовательно, чисто формальными.

Таким образом, в ходе перестройки от флективного к аналитическому строю именные части речи в английском утратили все собственно-формальные морфологические категории, сохранив в той или иной степени категории формально-содержательные. Во всех остальных германских языках собственно-формальные категории, как указано выше, сохранились, хотя в различной степени. Вероятно, свободная структура в принципе совместима с наличием собственно-формальных категорий; так, грамматический род, выраженный не формой существительного, а формой определителей, как мы это находим в большинстве германских языков, мог бы использоваться как организующее средство в именных словосочетаниях с ядром, имеющим постоянно свободную структуру. Однако фактические данные показывают, что существует зависимость между структурой слова и наличием собственно-формальных категорий. Так, в скандинавских язы-

ках, где, за исключением исландского, свободная структура весьма распространена наряду со смешанной, существует только два грамматических рода. Но, возможно, последнее утверждение можно сформулировать иначе: в языках, где имеется только два рода, более распространена свободная структура.

Как видно из таблицы, языки, где свободная основа не является нормой в словоизменении, сохраняют, хотя и в разной степени, все собственно-формальные категории. Английский, где свободная основа в словоизменении является нормой, утратил собственно-формальные категории. Из этого можно сделать вывод, что между грамматическими категориями языка и структурой слова наличествует определенная связь; однако связь эта неоднозначна: она касается только собственно-формальных морфологических категорий и их синтаксических функций. Процесс исчезновения собственно-формальных категорий и структурного слияния слова и основы тесно переплетены и взаимосвязаны.

А. А. БРАГИНА

СИНОНИМЫ ИЛИ quasi-СИНОНИМЫ?

(Семантика отражения)

В 70-х годах прошлого века А. А. Потебня предложил термин ближайшее значение слова. Он писал: «Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других наук — дальнейшим значением слова. Только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова»¹.

Об этом несколько позднее писал и Г. Пауль в своей работе, посвященной задачам лексикографии. Именно здесь был выделен один из главных вопросов для составителей словарей. Как раскрыть значение слова? Если мы дадим, например, строго зоологическое окружение для слова *собака*, то мы не сможем вызвать правильное представление (*Vorstellung*) о собаке, которое живет в обычном народном сознании». Между тем это *Vorstellung* в основе значения слова².

Представление, живущее «в обычном народном сознании», ближайшее значение — это значение, сформированное самой жизнью народа. В отенках значения отражается жизнь во всем ее сложном разнообразии. Сглаживание, а подчас и уничтожение оттенков в значении слова ведет к искажению социального характера языка, к его обеднению, нейтрализации лексического богатства. Теоретически такая нейтрализация (сглаживание оттенков в значении слова) оправдывается отделением «семантики лингвистической» от «семантики отражения»³. Практически — приводит к обеднению языка, к стандартизации выражения наших мыслей и чувств. Вот одно наблюдение над «развитием» речи школьника: «Как только в стихотворении появится выражение вроде: „весне и горя мало“, „подняли трезво“, „с нею солнце краше и весна милей“, — ученика уже ждет вопрос: „Как вы понимаете это выражение?“ или „Как сказать по-другому?“ В самом деле, как сказать по-другому „весне и горя мало“? . . . Для того, чтобы образное выражение стало для ребенка естественным, он должен почувствовать, что оно — единственно возможное, что если сказать „по-другому“, то это будет не только другое слово, но иная мысль, иное чувство, иная картина»⁴.

¹ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 8.

² H. P a u l, Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit besonderer Rücksicht auf das deutschen Wörterbuch, «Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der Akademie der Wissenschaften zu München», 1894, стр. 64—65; см. также: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 93—127; Л. В. Щербя, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958, стр. 68; Н. З. Котелова, Значение слова и его сочетаемость, Л., 1975, стр. 155.

³ См. об этом: Р. А. Будагов, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4, в частности стр. 10—15.

⁴ А. Чудаков, Живое слово и каноны хрестоматий, Лит. газ. 10 X 1973, стр. 5.

Уже в конце XVII в. у французских рационалистов мы найдем такое замечание: даже «абсолютные синонимы не могут все-таки употребляться безразлично»⁵. В русской лингвистической традиции давно складывался взгляд на синонимы как на средство дифференциации наших мыслей и чувств. «В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном, не может быть синонимов; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие. . .», — так писал Н. М. Карамзин⁶. Именно способность синонимов дифференцировать тончайшие нюансы стремился подчеркнуть Л. В. Щерба термином «quasi-синоним»⁷. А Г. О. Винокур, выделяя дифференцирующую роль синонимов, напишет даже: «так называемая синонимичность средств языка. . . является просто напросто фикцией»⁸. Это был своеобразный протест Г. О. Винокура против безразличного употребления слов, против тождества. Проблема синонимии для этих ученых была неразрывно связана с проблемой культуры речи, с искусством слова в широком смысле.

Однако некоторые лингвисты, определяя синонимы как тождество слов, выводят «квази-синонимы» (*очи — глаза* и подобные им) за пределы синонимии. Для них проблема синонимии, «как она традиционно истолковывается» (т. е. в предметно-логическом плане), является вообще не лингвистической проблемой, фикцией, рудиментарно существующей в языке⁹. В этом случае жизнь синонимов в языке детерминируется только равнозначностью и взаимозаменяемостью. О чем же говорит анализ конкретного материала?

Начнем со слов, действительно не имеющих синонимов, но традиционно толкуемых с помощью синонимов. Например, наименования реалий, уже исчезнувших, принадлежащих минувшим эпохам. Это — историзмы, для современного языкового «среза» они внесистемны, их признаки столь индивидуальны, что по классификации Д. Н. Шмелева их можно отнести к той группе (у Д. Н. Шмелева это «конкретная» лексика), которая объединяется «не на основе того или иного их противопоставления друг другу по какому-то различительному признаку, а на основе наличия у них как раз только общего родового признака»¹⁰. В историзмах выделяется и принимается в расчет только общее. Ср.: *рында* «оруженосец или телохранитель из придворной охраны московских князей и царей XIV—XVII вв.»; *оруженосец* в прямом значении — это «в средние века — молодой дворянин, обязанный сопровождать и охранять рыцаря в бою, заботиться о его оружии и коне»; *телохранитель* «воин, охраняющий какое-либо высокое лицо (монарха, военачальника и т. п.)»¹¹.

На основе общего родового понятия «личная охрана» объединяются слова *рында* — *оруженосец* — *телохранитель*. Бытование этих слов связано с разными эпохами, социальными условиями, обычаями, функциями. Они не взаимозаменяемы. Общее родовое понятие «личная охрана», объединяя эти разные видовые наименования, нейтрализует их. Однако в кон-

⁵ Furetière, Dictionnaire universel, Paris, 1690.

⁶ Н. М. Карамзин, «О богатстве языка», «Избр. соч. в двух томах», II, М.—Л., 1964, стр. 142.

⁷ Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, в кн.: «Избр. работы по языковедению и фонетике», I, Л., 1958, стр. 88.

⁸ Г. О. Винокур, Проблема культуры речи, «Русский язык в советской школе», 1929, 5, стр. 85.

⁹ См., например: В. А. Звегинцев, Замечания о лексической синонимии, в кн.: «Вопросы теории и истории языка (в честь профессора Б. А. Ларина)», Л., 1963, стр. 137—138.

¹⁰ Д. Шмелев, Семантические признаки слов, «Р. яз. в нац. шк.», 1968, 5, стр. 18.

¹¹ См.: «Словарь современного русского литературного языка в 17 томах», М.—Л., 12, 1961, стлб. 1625; 8, 1959, стлб. 1045; 15, 1963, стлб. 230.

тексте забытый историзм, столь общо, с помощью синонимов, истолкованный, приобретает все признаки «живого, убеждающего своим присутствием существа»¹²: Софья «... сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре *рынды*, по уставу, — блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади» (А. Толстой, Петр Первый).

Как мало общего между *рындой* — отроком, мальчиком, подростком, по уставу блаженно-тихим, нарядным, ангельски белым — и средневековым оруженосцем, воином-телохранителем. *Гында* — это с и м в о л и ч е с к и й телохранитель, но все же телохранитель. Слова объединяет родовой признак — «личная охрана». Семантика же отражения, определившая значение слова в каждом отдельном случае не допускает их синонимизации. И все же общее представление о лексическом значении слова мы получаем с помощью «родовых» синонимов, дальнейшая дифференциация и детализация историзмов зависит от культурно-исторической осведомленности самих носителей языка.

Такое общее толкование принято и для специальных слов и терминов. Но нейтрализация в оппозиции «термин — нетермин» иная, чем в пределах «исторической лексики». Толкование термина, как и историзма, происходит на основе общего родового признака (ложная синонимизация)¹³. Для восстановления дифференциальных оттенков историзма требуется ретроспективный контекст, культурно-историческая осведомленность. Для толкования термина обычны нейтрализация и сужение значения синонимизируемого слова: «*Орбита* — путь, по которому движется небесное тело под действием притяжения других небесных тел»¹⁴. Значение слова *путь* сужено, терминологизировано определением¹⁵. Так достигается нейтрализация и отождествление оппозиции «термин — нетермин», необходимая в толковании термина тождественная синонимия. Однако здесь возможно и обратное движение: детерминологизация термина и формирование синонимического ряда на основе дифференциации оттенков значения в оппозиции «детерминологизированный термин — нетермин». Ср.: *путь* — *дорога* — *колея* — *орбита* (*сойти с привычного пути* — *сойти с орбиты привычного*)¹⁶.

Синонимизация терминов обусловлена их живым синхронным функционированием и характеризуется двусторонностью процесса терминологизации (нетермина) и детерминологизации (термина).

Ощутимые оттенки значений сохраняют жизнь ряду, полная нейтрализация грозит архаизацией одному из синонимов. Так в ряду *аэроплан* — *самолет* в слабой позиции оказалось заимствованное слово *аэроплан*. Старое русское слово *самолет* с открытой внутренней формой («сам летает») нейтрализовало и поглотило неологизм. Прежние значения существительного *самолет* — «разного рода устройство, которому приписывается быстрое движение от себя: паром, на якоре посреди реки, у которого дно устроено откосом против течения, так что оно его переносит с одного берега на другой. || Ткацкий челн, бросаемый не с руки, а погонялкою,

¹² А. Н. Толстой, Письмо к сыну (1939 г.), Полн. собр. соч., 13, М., 1950, стр. 594.

¹³ Ср: А. Б. Шапиро, Некоторые вопросы синонимии, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», VIII, 1955, стр. 75 (о соотношении видового и родового в синонимии).

¹⁴ «Словарь современного русского литературного языка...», 8, стлб. 999.

¹⁵ О специализации значения см.: Г. Пауль, Принципы истории языка, стр. 99—100.

¹⁶ История слова *орбита* см.: А. А. Брагина, Неологизмы в русском языке, М., 1973, стр. 53—62.

вообще машинный ткацкий стан»¹⁷ — ушли в историю вместе с реалиями, ими обозначаемыми. Но жив сказочный, народно-поэтический образ — *ковер-самолет*. И вот в четвертом томе «Толкового словаря русского языка» (1940) читаем: «Самолет, а, м. (нов.). То же, что аэроплан»¹⁸. Помета «новое» свидетельствует о новом осмыслении слова *самолет*, вытеснившим заимствованное *аэроплан* из живого речевого оборота как тождественный, нейтрализованный синоним.

Иное соотношение «сил» находим в ряду *мотель — гостиница для автотуристов — автимица* (структурная калька, предложенная писателем Г. Фишем). Замена заимствованного термина - и н т е р н а ц и о н а л и з м а, связанного с языком туристов, была нецелесообразной. Так предпочтение того или иного синонима, даже в терминологических рядах интернациональных слов, зависит от социальных условий, семантики отражения.

Проблема своего и чужого — это одновременно и проблема синонимии, которая имеет большое значение в плане семантико-стилистическом¹⁹. Казалось бы, оппозиция «чужое — свое» должна быть тождественной: русский эквивалент поясняет заимствованное слово. Как известно, в языковом отношении эпоха Петра отличалась бурным накоплением иноязычных слов.

А. Толстой воспроизводит в романе «Петр Первый» эту характерную черту. Обратим внимание на синонимичные повторы «заимствование — русский эквивалент»: «Шведы устремились вперед... „Братцы!“ — натужным голосом кричал Шереметьев посреди *кареи*. — „Братцы! Ударьте хорошенько на шведа!...“ Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлишпенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горы запели отступление, — драгуны, татары, калмыки, черкесы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ошетиленные *четырёхугольники* шведов, прорвали их, смяли» (А. Толстой, Петр Первый).

Карейя — *четырёхугольник* — заимствование и русский эквивалент. Но сколь и неожиданно и оправдано их употребление. Слово *карейя* (т. е. *каре*, но в старой орфографии и орфоэпии) заимствовано как специальный военный термин и именно он выбран для описания русских войск. Смятые вражеским войскам шведов достается эквивалент — *четырёхугольник*, в котором нет военного блеска («фигура о четырех углах»). Так нейтральный эквивалент был отнесен в «сферу» чужих войск, а чужое слово — специальный термин, хранящий особый батальный блеск, — в описание русских войск. Яркая терминологичность, с одной стороны, и нейтральность слова — с другой — усиливает антитезу: смятые шведские *четырёхугольники* и победная *карейя* русских.

Обратим внимание еще на один синонимический повтор, вырастающий в контекстный ряд синонимов. «В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. . . Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую *парсуну* или *портрет*, усыпанный алмазами. . .»; «... Гаврила заметил в углу на стуле стоящую раму, занавешенную холстом. Агаповна сокрушено подшерла щеку: — . . . Из Голландии Санюшка, сестрица твоя, прислала как раз к Иванову дню. . .

¹⁷ В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, 4, СПб. — М., 1912, стлб. 20.

¹⁸ «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, IV, М., 1940, стлб. 35.

¹⁹ См. об этом, в частности: Л. П. Якубинский, Несколько замечаний о словарном заимствовании, «Язык и литература», I, вып. 1—2, Л., 1926, стр. 1—19.

Иван Артемыч, голубчик, то на стену *это* повесит, то закручинится, снимет, прикроет полотном. . . При посылке она отписала: „Папенька, не смущайтесь, ради бога, вешайте мою *парсуну* смело в столовой палате, в Европе и не то вешают, не будьте варваром. . .“. Гаврила вылез из-за стола, взял свечу и сдернул холст с *того, что стояло в углу на стуле*. Голиков привстал, — у него даже дыхание перехватило. . . *Это был портрет боярыни Волковой, несказанной красоты и несказанного соблазна. . .*» (там же).

В первом случае — пара тождественных абсолютных синонимов *парсуна* или *портрет*: непонятное устарелое слово *парсуна* («искаженное *персона* «портрет», от лат. *persona* «личность, лицо»²⁰) пояснено эквивалентом *портрет* (франц. *portrait* — субстантивированная причастная форма от *portraire* «тянуть, рисовать, представлять»)²¹. Два заимствования, одно из которых сменяет другое. Казалось бы, здесь нет никаких различительных оттенков, никаких коннотативных наслоений — слова «чужие», заимствованные. Но вот перед нами второй текст. Выделим окказиональный, контекстный ряд синонимов: *это* — *парсуна* — *то, что стояло в углу на стуле* — *портрет*. Таинственность, загадочность местоименных конструкций раскрывается двумя конкретными существительными: *парсуна* — слово — временная характеристика эпохи из письма Саньки (Александры Ивановны), как дыхание прошедших времен. *Портрет* — современное наименование, доминанта всего синонимического ряда. Время отразилось в этих конкретных словах, окрасило их значения, превратив в синонимы с яркими дифференцирующими оттенками.

«Конкретные» слова считаются столь насыщенными индивидуальными признаками, что отрицается их сопоставимость. «Поскольку можно считать, что денотативная функция оказывается для них за первым плане, они могут быть условно названы *де н о т а т и в а м и*. В некоторых отношениях они подобны именам собственным»²². Существует точка зрения, что «собственные имена семантически ущербны. Сами по себе они не передают какой-либо объективной информации. . . Знание собственного имени, впрочем, не предполагает с необходимостью никаких знаний о его носителе. Собственное имя не характеризует объект, не сообщает о нем ничего истинного или ложного. Оно не переводится и не перефразируется»²³. Продолжая классификацию и перейдя уже к характеристике имен нарицательных, Н. Д. Арутюнова делает вывод, близкий к заключению Д. Н. Шмелева. Проследим ход рассуждений Н. Д. Арутюновой: «Имя нарицательное приложимо к любому из тех предметов, относительно которых истинно его значение и совокупность которых образует экстенционал имени. Сигнификат имен нарицательных представляет собой стабильный элемент их семантической структуры, ее костяк, в то время как приобретаемое в речи денотативное содержание варьируется, дополняя понятийный „скелет“ до индивидуальных и индивидуализируемых образов конкретных предметов». И далее автор замечает, что в речевом потоке происходит включение «специальной системы актуализации, образуемой артиклами, указательными и притяжательными местоимениями, кванторами. Этот механизм способствует обращению имени нарицательного в речевое имя

²⁰ «Словарь современного русского литературного языка...», 9, 1959, стлб. 222.

²¹ Там же, стлб. 1406—1407; A. Dauzat, J. Dubois, H. Mittérand, Nouveau dictionnaire étymologique, Paris, 1964, стр. 588.

²² Д. Шмелев, указ. соч., стр. 18.

²³ Н. Д. Арутюнова, Коммуникативная функция и значение слова, ФН, 1973, 3, стр. 43.

собственное. . .»²⁴. Следовательно, нарицательное имя, обогащенное артиклем, указательными и притяжательными местоимениями, кванторами, с понятийным скелетом, «дополненным до индивидуальных и индивидуализируемых образов конкретных предметов», обращается в «речевое имя собственное», семантика же собственных имен классифицируется как «ущербная». Механизм контекста превращает нарицательные имена с «полной семантической структурой» в «речевые собственные имена» с «ущербной семантикой».

Нельзя не считать плодотворной четкую классификацию нарицательных и собственных имен, но возможно ли семантику слова определять только лишь как полную или неполную семантическую с т р у к т у р у, принимать в расчет только системные отношения, семантику же о т р а ж е н и я расценивать как явление, ведущее к ущербности, разрушению «полной семантической структуры». Лексическое значение определяют только системные отношения. С этой позиции семантика отражения в стройной системе отношений не находит себе места.

Конкретное содержание собственных имен, конечно, определяется признаками денотатов, т. е. определяется лицами, предметами, объектами, которые носят данные имена. Различие и неповторимость денотатов отражается в каждом конкретном «речевом собственном имени». Ср.: *Анна (Керн)* и *Анна (Каренина)*. Однако любое конкретное имя, как и собственное, может перейти от предметной номинации к сигнификации; обозначать определенное качество, давать оценку, составлять характеристику и тем самым вступать в системные отношения. Подтвердим это анализом хотя бы небольшого конкретного материала.

«В сорок шестом году, когда он [*Савелий*] ухаживал за *Марксиной*, он мечтал чем-нибудь удивить ее. Вот, скажем, подойти к турнику и вдруг покрутить „солнце“, не хуже чемпиона округа. . . Многие находили *Марксину* интересной, но он знал, что на самом деле она красавица. . .» (И. Зверев, *Всем лететь в космос*). Собственные имена *Марксина* и *Савелий* не только н а з ы в а ю т какие-то два субъекта, но и о б о з н а ч а ю т, характеризуют их, *Марксина* — *Савелий* — это «говорящая» оппозиция, если учесть коннотативные оттенки значений этих собственных имен, семантику отражения. *Савелий* — старое, традиционно-крестьянское имя, *Марксина* — имя-неологизм, дань революционной эпохе. Имена как бы подсказывают: наши герои росли в разном окружении. Это подчеркнет и сам Савелий. С точки зрения *Савелия*, *Марксина* — женщина «очень культурная, у нее была очень культурная семья», «дядя со стороны матери — заслуженный артист».

Само по себе собственное имя, хотя и не сообщает ничего о данном человеке, но оно все же имеет некоторые релевантные признаки: *Марксина* — человек, женщина; *Савелий* — человек, мужчина. Оба имени, как мы видели, социально окрашены. Релевантные признаки собственных имен можно соотнести с родовыми признаками нарицательных имен. Ср.: *яблоко* — плод фруктового дерева, яблоки. Недистинктивные, классификационно нерелевантные признаки выявляются в контексте, в ситуации при соотнесении с определенными предметами. Ср.: *яблоко* — *большое* (величина), *круглое* (форма), *румяное* (окраска); *Марксина* — «*большая*, *полная*, *смуглолицая*, с горячими цыганскими глазами» (там же). И вот здесь, в характере нерелевантных признаков обнаруживается специфика

²⁴ Там же, стр. 44, см. также стр. 43. Н. Д. Арутюнова опирается на работу: P. F. Strawson, Identifying reference and truth values, «Semantics», Cambridge Univ. press (Mass.), 1971, стр. 86—89.

нарицательных и собственных имен. *Яблоко большое, круглое, румяное* — видовые признаки, они повторимы. Ср. *яблоко* — *яблочко* из пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»:

И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
.....
...яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь...
.....
Плод румяный уронила...

Из видовых повторимых признаков, постоянных эпитетов создан неповторимый комплекс признаков «пушкинского яблочка». Однако эта характеристика повторима и приложима ко всем п о д о б н ы м я б л о к а м, она может сопровождать и сочетаться с именем *яблоко*, *яблочко*, так как входит в его семантическое поле. Семантика отражения, экстралингвистический опыт поддерживает соотношение этих нерелевантных признаков со словом *яблоко* — *яблочко*. Ср.: *плод румяный* — «яблоко, яблочко».

Нерелевантные, вообще повторимые признаки, относящиеся к субъекту — *Марксине*, также составляют неповторимый комплекс, который может быть соотнесен, однако, только с одной единственной *Марксиной*. Так повторимое и неповторимое в экстралингвистическом плане (*яблочки* и *Марксина*) отражается в специфике нарицательных и собственных имен: постоянство семантического поля у имен нарицательных и отсутствие такого постоянства у имен собственных.

Тем самым обнаруживается частичная произвольность связи собственного имени и его референта. В этом смысле собственное имя сходно с номенклатурным знаком и термином. Однако нельзя безоговорочно исключить обусловленность собственного имени признаками референта, так же как это невозможно в терминологии и номенклатурных знаках²⁵. Ср.: «В Москве забросили чемоданы в гостиницу „За сельхозвыставкой“ (именно так ее все называли, хотя у нее было какое-то имя). . .» (И. Зверев, *Всем лететь в космос*). Имя гостиницы оказалось не соотносимым с самой гостиницей и было заменено другим. Гостиницу переименовали, нелепое на первый взгляд имя оказалось коммуникативно целесообразным, играло определенную указательную роль (где находится гостиница? — «За сельхозвыставкой»). По той же причине рыжеюкую, веснушчатую девочку мы как-то неохотно называем Тамарой. Это восточное имя — имя черноволосях и черноглазых. Так семантика отражения врывается в значение собственного имени особыми коннотативными оттенками значения.

Чем теснее, закрепленнее связь собственного имени и референта, тем ближе собственное имя к нарицательному. Вокруг такого собственного имени формируется постоянное семантическое поле, возникают синонимические ряды: *Хлестаков* — *безудержный хвостун* — *лгунишка* — *легкомысленный человек* — *пустой человек*. О синонимии идентифицирующих

²⁵ См. об этом: Г. О. Винокур, О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии, «Труды МИФЛИ. Филологический ф-т», 5, 1939, стр. 8.

слов — собственных имен и нарицательных конкретных наименований — часто говорят лишь в плане тождественной, абсолютной синонимии. Ср.: *Эверест — Чомолунгма, меню — карта, королева — ферзь, белка — вежша, кусок — шмат, лоб — чело* и т. п. Один референт имеет два, три и более названий. Однако здесь нет абсолютной позиции тождества. Функция тождества переплетена с функцией дифференциации: название «свое» и «чужое», разговорное и специальное, диалектное и литературное? Ср. Н. Матвеева, Старинное слово:

Не в пользу *лбам* название *чела*.
И часто, часто — чуть приходит слава —
Уходит то, за что она пришла.
Жужжит и жалит слава, как пчела.

В значениях слов отражаются социальный и культурно-исторический аспекты. Семантика отражения препятствует нейтрализации синонимического ряда.

Собственное имя подобно многозначному слову может войти в несколько синонимических рядов: *Хлестаков — ревизор — молодой человек — важный гость — автор «другого Юрия Милославского», он же с точки зрения Анны Андреевны — образованный, светский человек — милашка, для Осипа — барин, для трактирщика — плут* и т. п. Такая «полисемия» собственного имени также объясняется семантикой отражения, действительной неоднозначностью человеческой природы: «Было бы несправедливо сказать, что природа обидела *Ивана Акиндиныча Бергамотова*, в своей официальной части именовавшегося „городовой бляха № 26“, а в неофициальной попросту „*Баргамот*“. . . Человек с возвышенными требованиями назвал бы его *куском мяса*, околоточные надзиратели величали его *дубиной*, хоть и исполнительный, для пушкарей же, — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, — он был *степенным, серьезным и солидным человеком*, достойным всякого почета и уважения» (Л. Андреев, *Баргамот и Гараська*). Если собственное имя, официальное наименование и прозвище — все принадлежащие к разряду наименований — могут составить синонимический ряд, то определения городского с разных точек зрения уже связаны с разными понятиями и не могут синонимизироваться.

Один и тот же референт может быть воспринят столь различно, что предметная, не понятийная соотнесенность не станет служить основанием для синонимизации. Подтвердим это положение яркими метафорами из романтической сказки «Три толстяка» Ю. Олеси. *Продавец шаров* влетел в кондитерскую во Дворце Трех Толстяков и пошел в торг: «Его залепили сплошь. . . белым кремом, имевшим прелестный розоватый оттенок. . . Поэт мог принять теперь его за *лебедя* в белоснежном оперении, с *адоники* — за *мраморную статую*, *праща* — за *гору мыльной пены*, *ашалуи* — за *снежную бабу*». Скорее можно говорить об образовании парафраз-антитез, чем о парафразах-синонимах.

Идентифицирующим словам — собственным именам и нарицательным конкретным — приписывается так называемая таксономическая синонимия, возникающая на основе логических отношений «включенности и пересечений»: *трава — сорняк — лебеда; строение — дом — особняк — небоскреб* и т. п. Однако в таких рядах наблюдается соотношение видового и родового, т. е. истинная синонимия отсутствует. В основе такого ряда нет одного понятия, дифференциации оттенков значения. Такая намеренная синонимизация — контекстная, окказиональная — чаще всего преследует стилистическое, поэтическое, поэтико-декоративное разнообра-

ние. Или такой ряд создается ради всесторонней характеристики предмета, а не синонимического нанизывания разнородных слов ²⁶.

Семантизация самих собственных имен, соотносимых с одним референтом, представляет особый интерес. Возьмем одну строфу из «Евгения Онегина», посвященную старшей Лариной:

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью,
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский *И* как *N* французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алиню,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину,
И обновила наконец,
На вате шлафор и чепец.

Чередование имен *Полина — Прасковья, Акулька — Селина* передает эволюцию образа жизни Лариной. Оттенки значения, отражающие социальные, экстралингвистические моменты, оказались достаточными, чтобы функция номинации собственных имен переросла в функцию обозначения-характеристики. Семантика собственного имени функционально углублена, обогащена новыми оттенками значения (семантикой отражения).

В этом плане ср. качественные прилагательные, образованные от собственных имен: «Критика не случайно отметила *блоковский* настрой этого стихотворения Заболоцкого. „Полуулыбкой, полулацем“ отмечена „Последняя любовь“ с ее „тютчевской“ темой „блаженства и безнадежности“. . .» (В. Альфонсов, Слова и краски); «Чехов со свойственной ему точностью первый стал называть уголки природы „левитановскими“. Что же такое для меня левитановский пейзаж? Это пейзаж, где переданы человеческие чувства» (Г. Нисский, Поклонение природе). Или определения: *нестеровская тишина, нестеровские краски, нестеровская девушка* — покорная несчастью (М. Прилежаева, Зеленая ветка мая). Собственное имя, послужившее производящей основой для определения, уже перестает в этих случаях быть просто «различительным» именем определенного человека, а становится характеристикой его деятельности, творчества. Наиболее типичные черты этого индивидуального творчества отражаются в значении производного качественного прилагательного.

Интересны также наблюдения В. Шкловского над социальным звучанием собственных имен: «В языке существуют уже не переживаемые сочетания и имена. Когда мы говорим, что человека зовут Яков, то мы говорим слово, которое нам ничего не сообщает о нем, мы ничего не узнаем. Но может быть произведение, которое построено на неудовлетворенности человека тем, что его называли всегда по имени, без отчества. Н. А. Некрасов написал стихотворение «Эй, Иван!». Забитый лакей плачет: „Хоть бы раз Иван Мосеч | Кто меня назвал! . . .“ Так же построен рассказ Леонида Андреева „Баргамот и Гараська“» ²⁷. Приведем этот эпизод: «— Кушайте,

²⁶ См. об этом, в частности: А. А. Брагина, О двойственном характере синонимии, «Р. яз. в шк.», 1973, 3, стр. 81—86; е е ж е, Синонимия и языковая норма, «Сборник научных трудов. МПНИИ им. М. Тореза», 78. М., 1974, стр. 94—130.

²⁷ В. Шкловский, Художественная проза. Размышления и разборы, М., 1959, стр. 446.

кушайте, — потчует Марья. — Герасим. . . как звать вас по батюшке? — Андреич. — Кушайте, Герасим Андреич. Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол. . . — Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя. — По отчеству. . . Как родился, никто по отчеству. . . не называл. . .»

Полугорничную, полувоспитанницу Катюшу Маслову «звали так средним именем — не Катька и не Катенька, а Катюша», — продолжает свои наблюдения В. Шкловский²⁸. В весьма общее значение собственного имени (женщина или мужчина) врывается семантика отражения — социальная окраска наполняет особым значением привычные формы собственных имен. Собственное имя *п е р е ж и в а е т с я*, как рассказ о жизни человека, которого так зовут.

Цепь собственных имен, соотносимых с одним референтом, напоминает цепи девальвированных названий и гиперхарактеристик — бывших и настоящих имен одного и того же предмета²⁹.

Семантическая девальвация захватывает в первую очередь язык газеты, рекламы, повседневную речь. Ср.: *столовая — ресторан, первый сорт — высший сорт, фильм снимали — над фильмом работали* и т. д. Оба явления уже отмечены в научной литературе, однако представляется интересным проследить их взаимосвязь и взаимообусловленность. Приведем только один пример: «*Небесный каракуль*. Каракульских овец с *небесно-голубым руном* представить, конечно, трудно. А увидеть можно. . . удалось вывести породу с *голубым руном*. . . Теперь наша Родина стала еще и единственным в мире производителем и поставщиком самого ценного *голубого каракуля*». (Изв. 21 III 1968). Выделяются два ряда замен: *каракуль — руно, голубой — небесно-голубой — небесный*. Создается тип *п е р х а р а к т е р и к а* рекламного характера³⁰. От частоты употребления и всеобщего распространения слово как бы стирается, становится будничным наименованием. Стремление же сохранить экспрессивность дает толчок противоположному процессу — гиперхарактеристике.

Казалось бы, у обоих явлений — гиперхарактеристики и девальвации — одна причина: поиски новых более выразительных имен на смену «стершимся». Однако здесь есть существенное различие. Гиперхарактеризация — это стремление к новым эмоциональным средствам выражения, контекстным, не претендующим на переименование. Слова-гиперхарактеристики вступают в синонимические отношения с прежним названием предмета, действия, качества, на его фоне ярче дифференцирующие признаки синонима-гиперхарактеристики: *каракуль — руно; пришлось — довелось; голубой — небесный*. Семантическая девальвация стремится к иным результатам — переименованию: *ресторан* более не *столовая*, а *высший сорт* — не *первый*, и *директор* — не *заведующий*. Меняется представление о предмете, его наименования — старое и новое — синонимического ряда не образуют. Но оба явления — гиперхарактеристика и девальвация — связаны в одинаковой мере с проблемой культуры речи, нормой.

Цепи собственных имен, соотносимых с разными референтами, также обнаруживают сходство с именами нарицательными. «Обыденная разговорная речь знает элементарные случаи лексического разряда, когда „подобные“ члены ряда являются подобными не только морфологически, но и

²⁸ В. Шкловский, указ. соч., стр. 447.

²⁹ О тенденциях семантической девальвации см.: Ю. С. Степанов, Европейский языковой союз и европейская грамматика наших дней, «Ин. яз. в шк.», 1969, 3, стр. 16—20.

³⁰ В. Г. Костомаров, Русский язык на газетной полосе, М., 1971, стр. 202—231. Термин «гиперхарактеристика» здесь употребляется в толковании В. Г. Костомарова.

семантически, т. е. доходят по существу до синонимичности. Например, при гневе: „подлец, мерзавец, негодяй“ или в других случаях: „это ужасно, неслыханно, возмутительно. . .“, „мне нет дела ни до каких Петровых, Сидоровых, Степановых“. . .»³¹. Так Л. П. Якубинский в 1924 г. описал явление синтаксической нивелировки, нейтрализации и образно назвал его л е к с и ч е с к и м р а з р я д о м: исчезают видовые различия, остается общее — родовое значение, возникает тождество, абсолютная синонимия: *Петровы, Сидоровы, Степановы* — «какие-то разные, но для меня одинаковые люди». Ср. такие фразы: «Как надоели все эти *парижи, стокогальмы, женеви*. . .» (разные, но ставшие одинаковыми в бесконечных поездках города); или после спешного просмотра многочисленных картин на вернисаже: *из зала в зал — Ван-Гоги, Сезанны, Боттичелли, Рафаэли* (множество всевозможных, но слившихся в единую массу художников). Формы множественного числа уже вносят обобщение, а перечислительный ряд — синтаксический параллелизм однородных членов обрывает связь с индивидуальным референтом.

И еще один интересный случай употребления собственных имен в несобственном значении. Один из наших лучших актеров-чтецов В. Яхонтов создал такую обобщенно-персонифицированную картину ярмарки, шумной, заваленной добром «Нил Нилычей и Кит Китычей. . . За никитским цирком тем временем неслись расписные карусели: летели мастера обмеривать и обвешивать. . . Летели купцы всех гильдий — *Кит Китычи с китенками, Тит Титычи с титенками* — верстовые столбы Российской империи»³².

Нил Нилычи, Кит Китычи, Тит Титычи — это уже не названия определенных лиц, а родовое обозначение «купцы всех гильдий» (от собственного имени конкретного лица → к обозначению именем определенного социального признака «мастера обмеривать и обвешивать» → к социальному обобщению «купцы всех гильдий»). Собственное имя превращается в «номенклатурный знак» купеческого рода. Собственное имя — *Тит Титыч* «человек, мужчина, отец, мастер обмеривать и обвешивать, верстовой столб Российской империи, купец — представитель гильдии» — теряет релевантные признаки (человек, мужчина), нерелевантные социально окрашенные признаки становятся основными в этом сатирическом контексте.

Семантика лексическая неразрывно сплетена с семантикой экстралингвистического плана. Анализ слов в тенденции однозначных — историзмы, термины, собственные и конкретные нарицательные имена — демонстрирует системные связи этих, казалось бы, несистемных слов. Эти связи, и в первую очередь синонимические, вырастают на основе закономерного отражения в лексическом значении социального и культурно-исторического материала.

Собственные имена, значения которых весьма общи и условны, наиболее ярко демонстрируют пронизывающую их семантику отражения то индивидуализирующую имя, то сближающую его с нарицательной группой слов.

В любом слове в процессе «социальной жизни» возникают различительные признаки. Именно они образуют в синонимических рядах слов, объединяемых на основе близости лексических значений, яркую дифференциацию, углубляют семантику каждого из синонимов.

Итак, как мы стремились показать, семантика отражения вносит различные оттенки в значения слов и, связывая их в синонимические ряды, постоянно поддерживают дифференцирующую функцию самих синонимов.

³¹ Л. Якубинский, О снижении высокого стиля у Ленина (о статье «О национальной гордости великороссов»), ЛЕФ, 1924, 1, стр. 75.

³² В. Яхонтов, Театр одного актера, М., 1958, стр. 53.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Т. И. ДЕШЕРИЕВА

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА

В лингвистической литературе представлены различные точки зрения по вопросу о сущности категории глагольного вида. Довольно распространенным является положение о грамматическом характере вида, согласно которому видообразование — это формообразование в пределах одной глагольной лексемы¹. Не менее распространено положение о виде как лексической категории. Эта точка зрения представлена в трудах Н. Н. Дурново, В. Н. Сидорова, Е. Д. Поливанова, Э. Кошмидера² и др.

В современной аспектологии наибольшее признание находит точка зрения на вид как категорию лексико-грамматическую, в сфере выражения которой взаимодействуют и дополняют друг друга разнообразные морфологические средства: от элементов словоизменительного характера (в сфере вторичной имперфективации) до элементов словообразовательного плана³.

В соответствии с вышеизложенным бытуют в языкознании различные (довольно противоречивые в своей основе) определения рассматриваемой категории. Даже в славистике, где изучение проблемы глагольного вида имеет уже значительную историю, по словам Ю. С. Маслова, категория вида не имеет «единого, общепризнанного и вполне удовлетворительного определения»⁴. Именно поэтому его нередко смешивают со способом действия, характером действия, с некоторыми компонентами семантического поля темпоральности или модальности, что находит отражение в

¹ В. В. Виноградов, Русский язык. Грамматическое учение о слове, М., 1970; Б. А. Серебряников, Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и воляжской групп, М., 1960; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I—II, М.—Л., 1962—1965; его же, [рец. на кн.:] А. Н. Жукова, Грамматика корякского языка. Фонетика и морфология, ВЯ, 1974, 4, и др.

² Н. Н. Дурново, Грамматический словарь, М., 1924; Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, М., 1945; Е. Д. Поливанов, Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, Ташкент, 1934; Э. Кошмидер, Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза (1934), в кн.: «Вопросы глагольного вида», М., 1962, и др.

³ S. Karcevsky, Système du verbe russe, Prague, 1927; Ю. С. Маслов, Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке, М.—Л., 1963; его же, Система основных терминов славянской аспектологии, сб. «Вопросы общего языкознания», Л., 1965; А. В. Бондарко, Многочленные видовые корреляции при имперфективации приставочных глаголов в современном чешском языке, в кн.: «Исследования по чешскому языку», М., 1963; Л. Н. Смирнов, Глагольное видообразование в современном словацком литературном языке, М., 1970; Н. С. Авилова, Категория вида глагола в ее отношении к словоизменению, ИАН ОЛЯ, 1972, 3, и др.

⁴ «Вопросы глагольного вида», стр. 7.

терминологии⁵. Все существующие определения вида носят в той или иной мере частный характер, так как в них обычно фиксируется внимание на одном-двух существенных семантических признаках вида. В подавляющем большинстве известных нам работ, посвященных проблемам актуальности, как правило, не различаются понятия «способ действия» и «характер действия» — они фигурируют как синонимы.

На наш взгляд, описание структуры семантического поля глагольного вида, а следовательно, и его определение необходимо начинать с четкой дифференциации понятий «характер действия» и «способ действия», являющихся, как мы увидим далее, структурными элементами семантического поля рассматриваемой категории⁶.

Мы видим различие между понятиями «характер действия» и «способ действия», прежде всего, в плане содержания языка. Языковые средства выражения сущности этих понятий не ограничиваются сферой морфологии. Они могут быть синтаксическими, лексическими, контекстуальными⁷.

Терминами «характер действия» и «способ действия» мы называем неотъемлемые свойства глагольной семантики, определяющие разновидности осуществления действия. При этом мы считаем, что «характер действия» реализуется в конкретных глагольных лексемах через посредство «способов действия». Таким образом, объем понятия «характер действия» включает в себя объемы понятий, подчиненных ему «способов действия». Допустимо пересечение объемов некоторых «способов действия», входящих в объем подчиняющего их «характера действия».

Максимальный набор «характеров действия», допустимых в глагольной семантике языка К, мы определяем таким перечнем: 1) непрерывность, не осложненная многофазностью или потенциальной внутренней расчлененностью, — $X_1(x)$. Ср. *видеть*, *слышать* (здесь и далее x — произвольный, но фиксированный глагол в языке К); 2) многофазность или потенциальная внутренняя расчлененность действия — $X_2(x)$. Ср. *зевать*, *пригать*; 3) прерывность действия, обусловленная внешними факторами, — $X_3(x)$. Ср. *натаскивать*, *подкармливать*; 4) определенная направленность действия — $X_4(x)$. Ср. *лететь*, *стремиться*; 5) отсутствие определенной направленности действия — $X_5(x)$. Ср. *летать*, *разбрасываться*; 6) ограниченность действия во времени (односторонняя или двусторонняя) — $X_6(x)$. Ср. *загрустить*, *отмучиться*, *проспать*; 7) неограниченность действия во времени — $X_7(x)$. Ср. *жить*, *строить*.

В семантике одной и той же глагольной лексемы могут найти отражение более одного из указанных «характеров действия». Например, в так называемых «статических» глаголах типа «лежать», «сидеть» имеют место $X_1(x)$, $X_5(x)$, $X_6(x)$.

Наиболее существенными для аспектологии, на наш взгляд, являются следующие «способы действия»⁸: 1) ингрессивный (начинательный) —

⁵ О терминах: вид «многократный», «однократный», «мгновенный», «перфективный», «имперфективный», «предположительный», «обязательный», «благоприятствующий» и т. п. — см.: О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966.

⁶ Семантическим полем категории (грамматической, лексико-грамматической, функционально-семантической) мы называем совокупность предикатов, определяющих ее значение. Структура семантического поля категории описывается логической формулой, выражающей сущность отношений между этими предикатами. Об этом методе изучения языковых категорий см.: Т. И. Д е ш е р и е в а, Структура семантических полей чеченских и русских падежей, М., 1974.

⁷ Ср.: А. В. Б о н д а р к о, Л. Л. Б у н и н, Русский глагол, Л., 1967, стр. 12—29.

⁸ Далее для каждого «способа действия» вводится определенный символ, в котором через x обозначен глагол, содержащий в своей семантике этот «способ действия».

Ин (x). Ср. *закричать, полюбить*; 2) ограничительный — Ог (x). Ср. *покурить, поозать*; 3) однократный — Од (x). Ср. *прыгнуть, вскочить*; 4) результативный с оттенком финитности — P_{Φ} (x). Ср.: *застрелить, расстаться*; 5) результативный с оттенками финитности и экспрессивности — P_{Φ}^* (x). Ср. *отбежаться, отгуляться*; 6) результативный с оттенком достижательности — P_{Δ} (x). Ср. *дорасти, подняться*; 7) результативный с оттенками достижательности и экспрессивности — P_{Δ}^* (x). Ср. *дошвыряться, добежаться*; 8) результативный с оттенком пердуративности — P_{Π} (x). Ср. *проспать, провозиться*; 9) результативный с оттенком эксгаустативности — $P_{\text{ЭК}}$ (x). Ср. *умаяться, убежаться*; 10) результативный с оттенком тотально-объектности — P_{σ}^0 (x). Ср. *изранить, исписать*; 11) результативный с оттенком субъектно-дистрибутивности — P_{Δ}^0 (x). Ср. *повыбежать, повысочить*; 12) результативный с оттенком объектно-дистрибутивности — P_{Δ}^0 (x). Ср. *повыдернуть, повыешивать*; 13) результативный с оттенком кумулятивности — P_{κ} (x). Ср. *наговорить, наездить*; 14) результативный с оттенком партитивно-кумулятивности — P_{κ}^{Π} (x). Ср. *понатаскивать, понапиливать*; 15) результативный с оттенком сатуративности — P_{σ} (x). Ср. *начитаться, наездиться*; 16) результативный с оттенком смягчительности — $P_{\text{СМ}}$ (x). Ср. *притормозить, притоккрыть*; 17) результативный с оттенком эволютивности — $P_{\text{ЭВ}}$ (x). Ср. *разругаться, разгореться*; 18) процессный с оттенком многократности — $P_{\text{МНК}}$ (x). Ср. *переписываться, колоть*; 19) процессный с оттенком ста- тальности — $P_{\text{СТ}}$ (x). Ср. *весить, стоить, иметь*; 20) процессный с оттенком инхоативности — $P_{\text{ИН}}$ (x). Ср. *сознать, изнашиваться*; 21) процессный с оттенком комитативности — $P_{\text{КОМ}}$ (x). Ср. *приплясывать, аккомпони- ровать*; 22) процессный с оттенком смягчительности — $P_{\text{СМ}}$ (x). Ср. *при- открывать, приостанавливать*; 23) процессный с оттенком прерывной смягчительности — $P_{\text{СМ}}^{\text{ПР}}$ (x). Ср. *хаживать, припугивать*; 24) процессный с оттенком партитивно-кумулятивности — P_{κ}^{Π} (x). Ср. *натаскивать, на- ешивать*.

Разумеется, глагол может иметь в своей семантике более одного из указанных «способов действия». Например, в семантику глагола *вско- чить* входят Од (x) и P_{Δ} (x).

При описании «характеров действия» и «способов действия» мы не употребляем такие термины, как «предельность», «непредельность» гла- гольного действия, которые часто можно встретить в акцентологических работах. Это делается потому, что упомянутые термины не имеют почти ничего общего с явлениями того же наименования в математике и потому лишь способствуют заблуждениям и двусмысленности. Не употребляются нами также термины «сомкнутость», «цельность» глагольного действия ввиду неопределенности их содержания.

Мы определяем глагольный вид как лексико-грам- матическую категорию, соотносящую содержа- ние предикации с одним или более харак- терами действия через посредство соответст- вующих способов действия. В основном вид является категорией грамматической, так как именно грамматические признаки (спи- таксическая сочетаемость или несочетаемость с так называемыми «фазо- выми» глаголами, морфологические способы образования глагольной лек- семы с помощью суффиксов и префиксов) являются главными детерминан- тами вида. Лексическую природу этой категории определяет история ее возникновения и контекстуальные компоненты ее семантического поля.

Данное нами здесь довольно общее определение категории вида будет

далее конкретизировано и уточнено после анализа структур семантических полей совершенного и несовершенного видов.

Согласно нашему определению, глагол x в языке K имеет совершенный вид — $V_c(x, y, f)$, если в K недопустимо его сочетание с «фазовым» глаголом f со значением «начинать», «продолжать» или «заканчивать» и в его семантику входит хотя бы один из таких, определенных выше, «характеров действия»: $X_1(x), X_2(x), \dots, X_6(x)$ через посредство подчиненных ему «способов действия», взятых из набора: $Ин(x), Ог(x), Од(x), P_\phi(x), P_d(x), P_\pi(x), P_{эк}(x), P_o^t(x), P_d^o(x), P_d^c(x), P_k(x), P_k^n(x), P_c(x), P_{см}(x), P_{эв}(x), P_d^*(x), P_\phi^*(x)$.

Обозначая совершенный вид символом $V_c(x, y, f)$, свойство несочетаемости глаголов x, y с «фазовым» глаголом f — символом $\bar{C}(x, y, f)$, мы можем записать логическую формулу структуры семантического поля совершенного вида (пока без учета его контекстуальных и темпоральных компонентов) таким образом:

$$(1) V_c(x, y, f) \equiv \bar{C}(x, y, f) \wedge \{ \{ X_1(x) \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_\phi(x) \vee P_\pi(x) \vee P_o^t(x) \vee P_d(x) \vee P_{см}(x) \vee P_{ст}(x) \vee P_k(x) \vee P_{эк}(x) \vee P_{эв}(x)] \} \vee \{ X_2(x) \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee Од(x) \vee P_\phi(x) \vee P_o^t(x) \vee P_{ст}(x) \vee P_{эв}(x) \vee P_\pi(x) \vee P_d^*(x)] \} \vee \{ X_3(x) \wedge [Од(x) \vee P_\phi(x) \vee P_k^n(x) \vee P_d^o(x) \vee P_d^c(x) \vee P_\pi(x) \vee P_d^*(x) \vee P_{ст}(x) \vee P_o^t(x) \vee P_{эв}(x)] \} \vee \{ X_4(x) \wedge [Ин(x) \vee P_\pi(x) \vee P_\phi(x) \vee P_d(x) \vee P_d^c(x) \vee P_d^o(x)] \} \vee \{ X_5(x) \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_\pi(x) \vee P_d^o(x) \vee P_{ст}(x) \vee P_{эв}(x) \vee P_k(x) \vee P_o^t(x) \vee P_d^*(x) \vee P_\phi^*(x)] \} \vee \{ X_6(x) \wedge [Од(x) \vee Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_\phi(x) \vee P_d(x) \vee P_\pi(x) \vee P_{эк}(x) \vee P_k(x) \vee P_o^t(x) \vee P_d^*(x) \vee P_d^o(x) \vee P_k^n(x) \vee P_{эв}(x)] \} \}$$

Читается эта формула так: Глагол x в языке K имеет совершенный вид, если он не сочетается с «фазовым» глаголом f и в его семантику входит либо «характер действия» $X_1(x)$ через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Ин(x), Ог(x), P_\phi(x), P_\pi(x), P_o^t(x), P_d(x), P_{см}(x), P_{ст}(x), P_k(x), P_{эк}(x), P_{эв}(x)$; либо $X_2(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Ин(x), Ог(x), Од(x), P_\phi(x), P_o^t(x), P_{ст}(x), P_{эв}(x), P_\pi(x), P_d^*(x)$; либо $X_3(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Од(x), P_\phi(x), P_k^n(x), P_d^o(x), P_d^c(x), P_\pi(x), P_d^*(x), P_{ст}(x), P_o^t(x), P_{эв}(x)$; либо $X_4(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Ин(x), P_\pi(x), P_\phi(x), P_d(x), P_d^c(x), P_d^o(x)$; либо $X_5(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Ин(x), Ог(x), P_\pi(x), P_d^o(x), P_{ст}(x), P_{эв}(x), P_k(x), P_o^t(x), P_d^*(x), P_\phi^*(x)$; либо $X_6(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $Од(x), Ин(x), Ог(x), P_\phi(x), P_d(x), P_\pi(x), P_{эк}(x), P_k(x), P_o^t(x), P_d^*(x), P_d^o(x), P_k^n(x), P_{эв}(x)$.

Так как формула (1) представляет собой логическую дизъюнкцию из характеров действия с подчиненными им способами действия, то она не исключает одновременное наличие в семантике глагола x нескольких «характеров действия», с подчиненными им «способами действия».

Обозначим через $K_1(x), K_2(x), \dots, K_6(x)$ контексты в языке K , придающие глаголу x значение совершенного вида через, соответственно, $X_1(x), X_2(x), X_3(x), X_4(x), X_5(x), X_6(x)$, и подчиненные им «способы действия». Принимая во внимание эти контекстуальные компоненты и включая в семантическое поле совершенного вида элементы семантиче-

ского поля темпоральности, соответствующие предикатам формулы (1), запишем полную, уточненную, формулу семантического поля совершенного вида:

$$(1') B_c(x, y, f) \equiv \bar{C}(x, y, f) \wedge \{ \{ [X_1(x) \vee K_1(x) \wedge X_1(x)] \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_\phi(x) \vee P_{II}(x) \vee P_o^T(x) \vee P_d(x) \vee P_{cm}(x) \vee P_{CT}(x) \vee P_K(x) \vee P_{OK}(x) \vee P_{OB}(x)] \} \vee \{ [X_2(x) \vee K_2(x) \wedge X_2(x)] \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee Од(x) \vee P_\phi(x) \vee P_o^T(x) \vee P_{CT}(x) \vee P_{OB}(x) \vee P_{II}(x) \vee P_d^*(x)] \} \vee \{ [X_3(x) \vee K_3(x) \wedge X_3(x)] \wedge [Од(x) \vee P_\phi(x) \vee P_{II}^u(x) \vee P_o^D(x) \vee P_d^C(x) \vee P_{II}(x) \vee P_d^*(x) \vee P_{CT}(x) \vee P_o^T(x) \vee P_{OB}(x)] \} \vee \{ [X_4(x) \vee K_4(x) \wedge X_4(x)] \wedge [Ин(x) \vee P_{II}(x) \vee P_\phi(x) \vee P_d(x) \vee P_d^C(x) \vee P_d^*(x)] \} \vee \{ [X_5(x) \vee K_5(x) \wedge X_5(x)] \wedge [Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_{II}(x) \vee P_o^D(x) \vee P_{CT}(x) \vee P_{OB}(x) \vee P_K(x) \vee P_o^T(x) \vee P_d^*(x) \vee P_\phi^*(x)] \} \vee \{ [X_6(x) \vee K_6(x) \wedge X_6(x)] \wedge [Од(x) \vee Ин(x) \vee Ог(x) \vee P_\phi(x) \vee P_d(x) \vee P_{II}(x) \vee P_{OK}(x) \vee P_K(x) \vee P_o^T(x) \vee P_d^*(x) \vee P_o^D(x) \vee P_{II}^u(x) \vee P_{OB}(x)] \} \wedge \{ [\bar{R}(x) \wedge \Pi^*] \vee [\bar{R}(x) \wedge B^*] \vee [\bar{R}(x) \wedge K_n^O(x) \wedge \Pi^*] \vee [\bar{R}(x) \wedge K_n^O(x) \wedge \Pi^*] \}, \text{ где } \bar{R}(x)$$

обозначает разобщенность действия, обозначенного глаголом x , с «моментом речи»; Π^* , N^* , B^* — соответственно, планы прошедшего, настоящего, будущего; $K_n^O(x)$, $K_n^C(x)$ — символы контекстов, переносящих действие, обозначенное глаголом x , из плана будущего, соответственно, в план прошедшего или настоящего; y — символ дополнительного фиксированного глагола в относительной временной форме глагола x ; f — «фазовый» глагол; знак \wedge перед открытием последней фигурной скобки употреблен в конъюгативном смысле. В формуле (1)', после $K_1(x)$, $K_2(x)$, $K_3(x)$, $K_4(x)$, $K_5(x)$, $K_6(x)$ и перед $K_n^O(x)$, $K_n^C(x)$, этот знак употреблен также в конъюгативном смысле (т. е. в смысле простого присоединения); в остальных частях этой формулы — в значении логического пересечения.

Из формулы (1)' видно, что глагольные формы совершенного вида являются, как правило, формами плана прошедшего (Π^*) или будущего (B^*). Из плана будущего они условно переносятся в план прошедшего или настоящего лишь с помощью специальных типов контекста: соответственно, $K_n^O(x)$, $K_n^C(x)$. Наибольшей активностью обладают «способы действия» $P_\phi(x)$, $P_d(x)$, $P_{II}(x)$, подчиненные всем, выделенным нами, «характерам действия», кроме $X_7(x)$. Менее активны $Ин(x)$, $P_{CT}(x)$, $P_{OB}(x)$, $P_o^T(x)$, $P_d^C(x)$, подчиненные пяти «характерам действия»; совсем пассивны $P_{II}^u(x)$, $P_{OK}(x)$, $P_d^*(x)$, подчиненные только двум «характерам действия», и $P_\phi(x)$, подчиненный лишь $X_5(x)$.

Разумеется, в том или ином конкретном языке набор описанных выше «характеров действия» и «способов действия» может оказаться неполным. В таком случае будут истинными лишь некоторые члены дизъюнкции формулы (1)', что не вносит противоречия в наше определение совершенного вида, так как дизъюнкция истинна при истинности хотя бы одного ее члена (логического слагаемого).

Глагол x в языке K имеет несовершенный вид $B_{nc}(x, y, f)$, если в K допустимо его сочетание с «фазовым» глаголом f со значением «начинать», «продолжать» или «заканчивать», и в его семантику входит хотя бы один из описанных нами выше «характеров действия»: $X_1(x)$, $X_2(x)$, $X_3(x)$, $X_4(x)$, $X_5(x)$, $X_7(x)$ через посредство подчиненных ему «способов действия», взятых из набора $\Pi_{MHC}(x)$, $\Pi_{CT}(x)$, $\Pi_{ИИ}(x)$, $\Pi_{КОМ}(x)$, $\Pi_{CM}(x)$, $\Pi_{CM}^{II}(x)$, $\Pi_K^{II}(x)$.

Обозначив несовершенный вид глагола x символом $V_{нс}(x, y, f)$, его сочетаемость с «фазовым» глаголом f — символом $C(x, y, f)$, мы можем записать логическую формулу структуры семантического поля несовершенного вида (не учитывая пока его контекстуальных и темпоральных компонентов) таким образом:

$$(2) V_{нс}(x, y, f) \equiv C(x, y, f) \wedge \{ \{ X_1(x) \wedge [\Pi_{см}(x) \vee \Pi_{ст}(x) \vee \Pi_{ин}(x) \vee \Pi_{ком}(x)] \} \vee [X_2(x) \wedge \Pi_{мнк}(x)] \vee \{ X_3(x) \wedge [\Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{ком}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x)] \} \vee [X_4(x) \wedge [\Pi_{мнк}(x)] \vee \{ X_5(x) \wedge [\Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x)] \} \vee \{ X_7(x) \wedge [\Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{ст}(x) \vee \Pi_{ин}(x) \vee \Pi_{ком}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x)] \} \}$$

Читается формула (2) так: Глагол x имеет в языке K несовершенный вид, если он сочетается с «фазовым» глаголом f и в его семантику входит либо «характер действия» $X_1(x)$ через посредство одного или нескольких подчиненных ему «способов действия», взятых из набора: $\Pi_{ст}(x)$, $\Pi_{ин}(x)$, $\Pi_{ком}(x)$, $\Pi_{см}(x)$; либо $X_2(x)$ — через посредство $\Pi_{мнк}(x)$; либо $X_3(x)$ — через посредство одного или нескольких подчиненных ему «способов действия», взятых из набора: $\Pi_{мнк}(x)$, $\Pi_{ком}(x)$, $\Pi_{к}^{п}(x)$, $\Pi_{см}^{п}(x)$; либо $X_4(x)$ — через посредство $\Pi_{мнк}(x)$; либо $X_5(x)$ — через подчиненные ему «способы действия» из набора: $\Pi_{мнк}(x)$, $\Pi_{к}^{п}(x)$, $\Pi_{см}^{п}(x)$; либо $X_7(x)$ — через посредство одного или нескольких «способов действия», взятых из набора: $\Pi_{мнк}(x)$, $\Pi_{ст}(x)$, $\Pi_{ин}(x)$, $\Pi_{ком}(x)$, $\Pi_{к}^{п}(x)$, $\Pi_{см}(x)$, $\Pi_{см}^{п}(x)$. Так как формула (2) является дизъюнкцией из «характеров действия» с подчиненными им «способами действия», она не исключает одновременное наличие в семантике глагола x нескольких «характеров действия».

Обозначим через $K_1^1(x)$, $K_2^1(x)$, $K_3^1(x)$, $K_4^1(x)$, $K_5^1(x)$, $K_7^1(x)$ контексты, придающие глаголу x в языке K значение, соответственно, $X_1(x)$, $X_2(x)$, $X_3(x)$, $X_4(x)$, $X_5(x)$, $X_7(x)$ через посредство подчиненных им «способов действия». Принимая во внимание эти контекстуальные компоненты и включая в семантическое поле несовершенного вида элементы семантического поля темпоральности, соответствующие предикатам формулы (2), можно записать полную, уточненную, формулу семантического поля несовершенного вида:

$$(2)' V_{нс}(x, y, f) \equiv C(x, y, f) \wedge \{ \{ [X_1(x) \vee K_1^1(x) \wedge X_1(x)] \wedge [\Pi_{см}(x) \vee \Pi_{ст}(x) \vee \Pi_{ин}(x) \vee \Pi_{ком}(x)] \} \vee \{ [X_2(x) \vee K_2^1(x) \wedge X_2(x)] \wedge \Pi_{мнк}(x) \} \vee \{ [X_3(x) \vee K_3^1(x) \wedge X_3(x)] \wedge [\Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{ком}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x)] \} \vee \{ [X_4(x) \vee K_4^1(x) \wedge X_4(x)] \wedge \Pi_{мнк}(x) \} \vee \{ [X_5(x) \vee K_5^1(x) \wedge X_5(x)] \wedge \Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x) \} \vee \{ [X_7(x) \vee K_7^1(x) \wedge X_7(x)] \wedge [\Pi_{мнк}(x) \vee \Pi_{ст}(x) \vee \Pi_{ин}(x) \vee \Pi_{ком}(x) \vee \Pi_{к}^{п}(x) \vee \Pi_{см}(x) \vee \Pi_{см}^{п}(x)] \} \} \wedge \{ [R(x) \wedge H^*] \vee [\bar{R}(x) \wedge \Pi^*] \vee [\bar{R}(x) \wedge B^*] \vee [R(x) \wedge K_{п}^{п}(x) \wedge \Pi^*] \vee [R(x) \wedge K_6^{п}(x) \wedge B^*] \},$$

где $R(x)$ — символ одновременности действия, обозначенного глаголом x , с «моментом речи»; H^* , Π^* , B^* — соответственно, символы сфер настоящего, прошедшего, будущего; $K_{п}^{п}(x)$, $K_6^{п}(x)$ — контексты, с помощью которых действие, обозначенное глаголом x , переносится из плана настоящего в план, соответственно, прошедшего или будущего; y — символ дополнительного фиксированного глагола в относительных временных формах глагола x , f — символ «фазового» глагола; знак \wedge перед открытием последней фигурной скобки употреблен в конъюгативном смысле. В формуле (2)', после $K_1^1(x)$, $K_2^1(x)$, $K_3^1(x)$, $K_4^1(x)$, $K_5^1(x)$, $K_7^1(x)$ и перед $K_{п}^{п}(x)$,

$K_6^n(x)$, этот знак употреблен также в конъюгативном смысле; во всех других случаях — в значении логического пересечения. Глагольные формы несовершенного вида могут быть формами любого временного плана.

Из формулы (2)' видно, что наибольшей активностью обладают «способы действия» $P_{\text{мнк}}(x)$, $P_{\text{к}}^{\text{п}}(x)$, $P_{\text{см}}^{\text{пр}}(x)$; остальные имеют примерно одинаковую, среднюю активность. В том или ином конкретном языке набор «характеров действия» и «способов действия», входящих в семантическое поле несовершенного вида, может оказаться неполным. В таком случае будут истинны лишь некоторые члены дизъюнкции формулы (2)', что не противоречит нашему определению несовершенного вида, так как для истинности дизъюнкции достаточна истинность хотя бы одного ее члена.

При определении структур семантических полей совершенного и несовершенного видов нами учитывались их контекстуальные компоненты. Поэтому можно сказать вполне определенно, что любой глагол x в языке K , имеющем видовую дифференциацию, является (при наличии соответствующего контекста) либо глаголом совершенного вида, либо глаголом несовершенного вида. Следовательно, структура семантического поля категории глагольного вида в языке K является логической дизъюнкцией структур ранее определенных нами семантических полей совершенного и несовершенного видов. Обозначив вид глагола x символом $V(x, y, f)$, мы можем записать формулу структуры его семантического поля таким образом: (3) $V(x, y, f) \equiv V_c(x, y, f) \vee V_{\text{нс}}(x, y, f)$, где $V_c(x, y, f)$ и $V_{\text{нс}}(x, y, f)$ определяются из формул (1)' и (2)'.

Сравнивая структуры семантических полей совершенного и несовершенного видов, можно сделать такие выводы:

1. Выделенные нами в глагольной семантике «характеры действия» $X_1(x)$, $X_2(x)$, $X_3(x)$, $X_4(x)$, $X_5(x)$ входят в структуру семантического поля как совершенного, так и несовершенного видов. Глагол x в языке K имеет совершенный или несовершенный вид в зависимости от того, через посредство каких «способов действия» входит один или несколько из указанных «характеров действия» в семантику глагола.

2. Только в структуру семантического поля совершенного вида входят: $\bar{C}(x, y, f)$, $X_6(x)$, $\text{Ин}(x)$, $\text{Ог}(x)$, $\text{Од}(x)$, $P_{\text{ф}}(x)$, $P_{\text{д}}(x)$, $P_{\text{п}}(x)$, $P_{\text{к}}(x)$, $P_{\text{с}}(x)$, $P_{\text{ок}}(x)$, $P_0^{\text{т}}(x)$, $P_{\text{д}}^{\text{о}}(x)$, $P_{\text{д}}^{\text{с}}(x)$, $P_{\text{д}}^{\text{л}}(x)$, $P_{\text{ф}}^{\text{с}}(x)$, $P_{\text{к}}^{\text{п}}(x)$, $P_{\text{см}}(x)$.

3. Лишь в структуру семантического поля несовершенного вида входят: $C(x, y, f)$, $X_7(x)$, $P_{\text{см}}(x)$, $P_{\text{ст}}(x)$, $P_{\text{ин}}(x)$, $P_{\text{ком}}(x)$, $P_{\text{мнк}}(x)$, $P_{\text{к}}^{\text{п}}(x)$, $P_{\text{см}}^{\text{пр}}(x)$.

4. Контекстуальные компоненты в семантических полях совершенного и несовершенного видов различны: в семантическом поле совершенного вида — $K_1(x)$, $K_2(x)$, $K_3(x)$, $K_4(x)$, $K_5(x)$, $K_6(x)$, $K_{\text{п}}^{\text{о}}(x)$, $K_{\text{н}}^{\text{о}}(x)$; в семантическом поле несовершенного вида — $K_1^1(x)$, $K_2^1(x)$, $K_3^1(x)$, $K_4^1(x)$, $K_5^1(x)$, $K_7^1(x)$, $K_{\text{п}}^{\text{н}}(x)$, $K_6^{\text{н}}(x)$.

5. Правомерно говорить о категории глагольного вида и о видах совершенном и несовершенном как основных компонентах этой категории. Термины «однократный», «многократный» и т. п. могут употребляться для наименования вида в языке K в том случае, если формулы (1)', (2)', записанные для этого языка K , содержат лишь по одному маркированному «способу действия», соответственно — $\text{Од}(x)$, $P_{\text{мнк}}(x)$ и т. п. Если же в каждой из указанных формул содержится более одного «способа действия», мы должны говорить о совершенном и несовершенном видах, представленных в языке K этими «способами действия».

6. Факт наличия в семантике глагола x того или иного предиката семантического поля совершенного или несовершенного вида может иметь специальное морфологическое выражение в лексеме глагола x , а может и не иметь такового (например, в случае одновидовых глаголов или в случае введения упомянутого предиката в семантику глагола x окружающим контекстом).

7. Если в языке K какой-либо из выделенных нами «способов действия» имеет морфологическую маркировку, правомерно говорить прежде всего о категории этого «способа действия». Если же упомянутый «способ действия» удовлетворяет условию, сформулированному выше, в пункте 5, мы можем говорить также о наличии в языке K вида того же наименования (например, однократного, многократного и т. п.).

8. В соответствии с нашим определением вида, глаголы x и x' образуют «чисто видовую пару» (x , x'), если они удовлетворяют какому-либо из следующих условий:

а) Если x — несовершенного вида, x' — совершенного вида, и форма глагола x' отличается от формы глагола x лишь морфологическими средствами, формализующими наличие в семантике глагола x' одного или нескольких предикатов семантического поля совершенного вида [ср.: *делать* — *сделать*, где префикс *с-* формализует наличие в семантике глагола $x' \equiv \text{сделать}$ сложного предиката $X_1(x') \wedge P_\Phi(x')$ семантического поля совершенного вида].

б) Если x — совершенного вида, x' — несовершенного вида, и форма глагола x' отличается от формы глагола x лишь морфологическими средствами, формализующими наличие в семантике глагола x' одного или нескольких предикатов семантического поля несовершенного вида [ср.: *выпить* — *выпивать*, где аффикс *-ва-* и перенос ударения формализуют наличие в семантике глагола $x' \equiv \text{выпивать}$ сложного предиката $X_7(x') \wedge P_{\text{инк}}(x')$ семантического поля несовершенного вида].

в) Если глаголы x и x' образуют супплетивную видовую пару (x , x'), в которой лексема глагола x' совершенно отлична от лексемы глагола x , но это отличие несет лишь информацию о наличии в семантике глагола x' одного или нескольких предикатов семантического поля несовершенного вида (если x совершенного вида) или совершенного вида (если x — несовершенного вида). При этом допустимо дополнительное стилистическое различие глаголов x и x' (ср.: *брать* — *взять*, *воровать* — *украсть/стянуть*).

Совокупность всех «чисто видовых пар» образует в языке K «видовую парадигматику».

9. Видовой парой с дополнительными (невидовыми) различиями в семантике глаголов, ее образующих, называется пара глаголов (y , y'), удовлетворяющих какому-либо из таких условий:

а) Если y — несовершенного вида, y' — совершенного вида, и форма глагола y' отличается от формы глагола y лишь морфологическими средствами, формализующими наличие в семантике глагола y' одного или нескольких предикатов семантического поля совершенного вида и каких-либо дополнительных значений, не входящих в семантику глагола y (ср. *делать* — *приделывать*).

б) Если y — совершенного вида, y' — несовершенного вида, и форма глагола y' отличается от формы глагола y лишь морфологическими средствами, формализующими наличие в семантике глагола y' одного или нескольких предикатов семантического поля несовершенного вида и каких-нибудь дополнительных значений, не входящих в семантику глагола y (ср. *прикрепить* — *укреплять*).

в) Если близкие по семантике глаголы y и y' образуют супплетивную

пару (у, у'), в которой лексема глагола у совершенно отлична от лексемы глагола у', но это отличие лексем несет информацию о наличии в семантике глагола у' одного или нескольких предикатов семантического поля несовершенного вида (если у — совершенного вида) или совершенного вида (если у несовершенного вида) и каких-либо дополнительных значений, не входящих в семантику глагола у (ср. *посмотреть* — *вглядываться*).

Оппозиции, образующие видовые пары типа (у, у'), могут быть не только двучленными, но и многочленными⁹ (ср. *делать* — *приделать* — *разделять*).

Видовые пары типа (у, у'), как и одновидовые глаголы, в плане выражения языка целиком относятся к сфере словообразования и лексики.

⁹ О многочленных видовых корреляциях см.: Фр. Травничек, Грамматика чешского литературного языка, ч. I, М., 1950, стр. 247—248; А. В. Бондарко, Многочленные видовые корреляции при имперфективации приставочных глаголов в современном чешском языке, и др.

Э. Р. ТЕНИШЕВ

О ЯЗЫКЕ КАЛМЫКОВ ИССЫК-КУЛЯ

Иссык-кульские калмыки (сарт-калмаки) общей численностью по одним данным около 2,5 тысячи¹, по другим — свыше 6 тысяч человек² проживают в селениях Чельбек, Бёрю-Баш, Таш-Кыя и Бурма-Суу недалеко от г. Пржевальска. Группа сарт-калмак отмечена и в составе челябинских башкир³.

Согласно преданиям сарт-калмаков, собранным А. В. Бурдуковым⁴, их предки олёты (өөлөөт) до распада ойратского ханства кочевали в районе г. Токмака. В XIX в. они находились около Текеса. Отсюда в 1864—1882 гг. перекочевали к озеру Иссык-Куль и были приняты в русское подданство под именем сарт-калмаки (до сих пор они называли себя кара калмак). К 1884 г. сарт-калмаки поселились в тех местах, где было положено основание селам Чельбек и Бёрю-Баш. Во время войн с кокандскими ханами сарт-калмаки приняли ислам. Более ста лет сарт-калмаки живут в тесном соседстве с русскими, киргизами, татарами, испытывая их влияние.

Родной язык у сарт-калмаков ограничен домашним, чисто бытовым употреблением, в основном у старшего поколения. В общественной сфере сарт-калмаки прибегают больше к киргизскому и русскому языкам. Хорошо знают татарские песни и охотно их поют.

В первые годы поселения на Иссык-Куле сарт-калмаки пользовались ойратской письменностью «тодо», употребляли и арабский алфавит. Письменность «тодо» угасла у них по данным А. В. Бурдукова в начале 40-х годов нашего века. К 1934 г. сарт-калмаки ввели у себя латинскую письменность на калмыцком языке и закрепили единое этническое наименование *калмык* (*калмак*).

В настоящее время иссык-кульские калмыки пользуются общекалмыцкой письменностью на русской основе.

У иссык-кульских калмыков сохранились родовые названия. К самым крупным единицам относятся *қалмақ*, *байымбаху*, *солто*, *хәрвәтир*. К более мелким — *шоңқур*, *сатывалды*, *қыпқақ*, *буғу*, *сары бағыш*, *чимит*, *жәдигар*, *һөдөнүүл*, *куйкүнуул*. Из приведенных наименований можно видеть, что калмыки Иссык-Куля не представляют собою этнически однород-

¹ С. М. Абрамзон, Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи, Л., 1971, стр. 28.

² Ш. Дондуков, Некоторые языковые особенности говора иссык-кульских сарт-калмыков (ойратов) в сравнительном освещении с монгольскими и киргизским языками, сб. «Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал», I, Улаанбаатар, 1973, стр. 166.

³ С. И. Руденко, Башкиры. Историко-этнографические очерки, М.—Л., 1955, стр. 54; 57; Р. Г. Кузеев, Происхождение башкирского народа, М., 1974, стр. 285—286.

⁴ А. В. Бурдуков, Каракольские калмыки (сарт-калмаки), «Советская этнография», 1935, 6, стр. 47—56.

ной группы. В их состав вошли также и киргизские родовые подразделения — *солто, сатывалды, ғыпчағ, буғу, сары бағыш, җедигэр* ⁵.

Историко-этнографические сведения об иссык-кульских калмыках дали в конце 30—середине 40-х годов XX в. А. Гагарин, Т. Меллер ⁶ и монголист А. В. Бурдуков ⁷, в 1966 г. — Б. Алымбаева ⁸. Еще меньше опубликовано по языку иссык-кульских калмыков. Записи же делались неоднократно и сотрудниками НИИЯЛИ из Элисты, и языковедами из среды калмыков Чельпека. Так, учитель чельпекской школы Бектур Тавалдиев, закончивая университет во Фрунзе, написал под руководством К. К. Юдахина дипломную работу «Строй калмыцкого языка Иссык-Куля». Недавно вышла в свет статья Ш. Дондукова о некоторых языковых особенностях говора иссык-кульских сарт-калмаков ⁹.

Автор данной заметки посетил чельпекских калмыков летом 1973 г. и, не будучи монголистом, на свой страх и риск сделал записи их языка на слух. Моими информантами были Ташпай Исламов (из рода чимит, род. в 1911 г. в с. Бёрю-Баш; окончил курсы нацменов Советского Востока при Институте им. Герцена в Ленинграде в 1929 г. и партшколу в 1949 г.; служил в армии, ныне пенсионер; знает калмыцкий, киргизский, русский, татарский, узбекский, уйгурский языки) и Абдукадир Казакпаев (из рода җедигэр, род. в 1910 г. в Чельпеке; получил домашнее образование, работал в колхозе, теперь — на пенсии; знает калмыцкий, киргизский, русский, татарский, узбекский языки). Благодарю этих товарищей за оказанные мне содействие и внимание.

Ниже приводится записанный мною материал.

Фонетические особенности. 1. О переломе гласного *и*. В одной группе слов перелом *и* явно присутствует: *нудн* «глаз», ок. *nüdn*, м.-п. *nidün* ¹⁰; *нуур* «лицо», ок. *nüür*, м.-п. *niqur*; *нэгн* «один», ок. *negn*, м.-п. *nigen*; *зырга* «шесть», ок. *zurhan*, м.-п. *jiŕyŕyan*; *йёсе* «девять», ок. *jisn*, м.-п. *jisün*.

Но некоторые слова сохранили старый фонетический облик — перелом и в них не наблюдается: *шидн* «зуб», ок. *šüdn*, м.-п. *sidün*; *җүре* «шестьдесят», ок. *jiŕn*, м.-п. *jiŕan*.

Любопытно, что в примерах второго рода — совпадение с общекалмыцким, а в примерах первого рода такого совпадения нет. Иными словами, перелом *и* в языке чельпекских калмыков произошел неравномерно. В связи с этим заключение Ш. Дондукова о том, что перелом звука *и* у иссык-кульских калмыков отсутствует, не подтверждается полностью. 2. О губной гармонии. В языке чельпекских калмыков *о, оо; ө, өө; е, ее* возможны и в непервых слогах. Губные и негубные широкие

⁵ С. М. Абрамзон, Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии, сб. «Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции», IV, М., 1960, стр. 22—31, 86—87, 88, 90—91, 94—92.

⁶ А. Гагарин, Т. Меллер, Сарт-калмаки, «Северная Азия», кн. 5—6, М., 1928, стр. 186—188.

⁷ А. В. Бурдуков, указ. соч., стр. 47—79.

⁸ Б. Алымбаева, К вопросу о сближении народов Киргизии, в кн.: «Трудящиеся Киргизии в борьбе за строительство социализма и коммунизма», Фрунзе, 1966, стр. 207—212.

⁹ Ш. Дондуков, указ. соч.

¹⁰ Ок.— общекалмыцкий — свойственный калмыцкому языку вообще, примеры приведены из: G. J. Ramstedt, Kalmükisches Wörterbuch, Helsinki, 1935; Б. Б. Басангов, Русско-калмыцкий словарь, Элиста, 1963; м.-п.— монгольско-письменный язык (см.: Б. Я. Владимиров, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929; Г. Д. Санжеев, Старописьменный монгольский язык, М., 1964); знак — над буквой — позиционная долгота.

в первом и втором слогах могут сочетаться следующим образом: *aa* — *oo*; *заахоо* «чужбина», *o* — *o*: *би йовхов* «я пойду», *o* (*o*) — *o*: *доче^o* «сорок», *өлкө* «дедушка», *өөрчө* «грудь», *мөңгөн* «серебро». Широкие *o* и *ö* могут быть представлены и в третьем слоге: *жорабор* «жорга, иноходец», *көмушке* «висок». Конечный *e* встречается после *o*, *э*, *e*, *и*: *дөрве* «четыре», *хөре* «двадцать», *тэве* «пятьдесят», *йёсе* «девять», *йёре* «девяносто», *эчхе* «отец», *эке* «мать», *жйре* «шестьдесят», *чйче* «правнук».

В современном калмыцком языке указанные выше гласные могут находиться только в первом слоге слова ¹¹.

Монгольский письменный язык, монгольское квадратное письмо и ойратская письменность показывают, что в XIII—XIV вв. и в XVII в. широкие губные имелись за небольшим исключением только в первых слогах ¹². Система губной гармонии развилась в диалектах халхасского типа ¹³. По-видимому, она была некогда свойственна и калмыцкому языку, что подтверждается данными языка оренбургских, уральских ¹⁴, а также иссык-кульских калмыков. Исследования калмыковедов в этом направлении наводят на мысль о том, что сложение губной гармонии в калмыцком было закончено накануне периода создания письменности «тодо» (середина XVII в.), а разрушение началось до XIX в. ¹⁵.

3. Об увулярном звонком *э*. Щелевой *э* в языке иссык-кульских калмыков встречается и в начале слов и между гласными, а также между сонорными и гласными: *гуй* «бедро», *гурву* «три», *гуччу* «тридцать», *мантаган* «с нами», *мантаган* «с вами», *зырга* «шесть», *арнур-гун* «спина», *толе'а* «голова». В калмыцком литературном и в говорах в указанной позиции могут быть *h*, *x*, *г*.

4. Об увулярном глухом *к*. Смычный *к* может быть и в начале и в середине слов между гласными и в конце слов: *қалмақ* «калмык», *қира* «ворона», *ноқа* «собака». В литературном калмыцком и в говорах в указанной позиции вместо *к* употребляются *х* и *к*.

Морфологические особенности. 1. Количественные числительные. Для обозначения единиц служат: *нён* «один», *хойыр* «два», *гурву* «три», *дөрве* «четыре», *тэве* «пять», *зырга* «шесть», *дола* «семь», *нээм* «восемь», *йёсе* «девять», *арвы* «десять», *аравь* *нён* «одиннадцать», *аревь* *хойыр* «двенадцать».

Наименованиями десятков являются: *хөре* «двадцать», *гуччу* «тридцать», *доче^o* «сорок», *тэве* «пятьдесят», *жйре* «шестьдесят», *дэлы* «семьдесят», *нэйы* «восемьдесят», *йёре* «девяносто», *зу* «сто», *мыңы* «тысяча».

В отличие от калмыцкого литературного языка в языке иссык-кульских калмыков количественные числительные за исключением числительного *нён* «один» утери́ли конечный *н*.

2. Местоимения. В группе личных местоимений совместный падеж от местоимений *бидн* «мы» и *та* «вы» имеет форму *мантаган* «с нами» и *мантаган* «с вами» вместо литературно-калмыцких *манта* и *манта*. Любопытно, что в роли возвратного местоимения выступает не постпози-

¹¹ Г. Д. Санжеев, Грамматика калмыцкого языка, М.—Л., 1940, стр. 15; Б. Х. Годаева, Калмыцкий язык, в кн.: «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 35—36.

¹² Б. Я. Владимиров, указ. соч., стр. 315—317; Н. П. Поппе, Квадратная письменность, М.—Л., 1941, стр. 38.

¹³ Г. Д. Санжеев, Старописьменный монгольский язык, стр. 34—35.

¹⁴ Н. Н. Убушаев, Фонетика торгутского говора калмыцкого языка. АКД, М., 1974, стр. 10.

¹⁵ Д. А. Павлов, Исследования по калмыцкому языку и письменности, Алма-Ата, 1971, стр. 50.

тивный *эерэн*, как в литературном калмыцком, а изменяющиеся по лицам формы от *бийи* «тело»:

Ед. число	Мн. число
<i>би бийим</i> «я сам»	<i>бидн бийимдин</i> «мы сами»
<i>чи бийим</i> «ты сам»	<i>тадн бидн</i> «вы сами»
<i>тери бийим</i> «он (а) сам (а)»	<i>тедн бийим</i> «они сами»

3. Глагол. 1) Изъявительное наклонение (на примере глагола *йов-* «идти»). Настоящее время момента речи образуется с помощью аффикса *-на/-нэ*:

Ед. число	Мн. число
<i>би йовнав</i> (< <i>йовнав</i>) «я иду»	<i>бидн йовнайдн</i> «мы идем»
<i>чи йовнач</i> «ты идешь»	<i>тадн йовнат</i> «вы идете»
<i>тери йовна</i> «он (а) идет»	<i>тедн йовна</i> «они идут»

В функции будущего времени выступает причастие будущего времени с аффиксом *-х*:

Ед. число	Мн. число
<i>би йовхов</i> «я пойду»	<i>бидн йовхуйдн</i> «мы пойдем»
<i>чи йовхич</i> «ты пойдешь»	<i>тадн йовхит</i> «вы пойдете»
<i>тери йовхи</i> «он (а) пойдет»	<i>тедн йовхи</i> «они пойдут»

Прошедшее время, обозначающее давнее действие, образуется при помощи аффикса *-ла/-лэ*:

Ед. число	Мн. число
<i>би йовлаа</i> «я шел»	<i>бидн йовлайдн</i> «мы шли»
<i>чи йовлач</i> «ты шел»	<i>тадн йовлат</i> «вы шли»
<i>тери йовла</i> «он (а) шел (шла)»	<i>тедн йовла</i> «они шли»

Формы времен изъявительного наклонения в морфологическом плане полностью совпадают с соответствующими формами калмыцкого литературного языка.

2) Повелительное наклонение. Второе лицо ед. числа — чистая основа: *бич!* «пиши!», *бды!* «иди!». Второе лицо мн. числа имеет приметой аффикс *-т(ун)*: *та бичты!* «пишите!», *та оттун* (< *одтн!*) «идите!» и совпадает с калмыцким литературным языком.

3) Желательное наклонение. Формы желательного наклонения образуются присоединением к основе глагола аффикса *-йи(ла)*, *-йа(ла)*: *х'овий!* «разделите-ка!», *жиргыйала!* «поиграем-ка!», *сууйала!* «посидим-ка!». Они полностью совпадают с соответствующими формами калмыцкого литературного языка, кроме одной детали — факультативного наращения частицы *-ла*.

4) Форма условного деепричастия образуется при помощи аффикса *-хыйла/-хийлэ* (литературный эквивалент: *-хла/-хлэ*): *давхыйла* «если перейду».

Лексические особенности. 1. Термины родства: *аччы* «внук; внучка», ок. *atʃn*; *ахы* «старший брат», ок. *axʔ*; *ахы нертаган* «старший и младший братья»; *чйче* «правнук, правнучка», ок. *ʃiʃ*; *далахы* «прапраправнук, прапраправнучка»; *чилахы* «праправнук, праправнучка»; *дуу* «младший брат», ок. *di*, *ду*; *дуукөн* «младшая сестра», ок. *öknädi*, *ду куукн*; *эхе* «отец», ок. *ɛx*; *эке* «мать», ок. *ekʔ*; *эхчи* «старшая сестра», ок. *ektʃ*; *эже* «бабушка», кирг. ¹⁶ *эже* «старшая сестра»; *тайене* «бабушка», кирг. *тай эне*; *көнн* «дочь», ок. *kuukn*; *көнн* «сын», ок. *köwün*; *нахчече* «дядя (по отцу)»; *нахчеке* «тетя (по матери)», *өлкө* «дедушка», ок. *örkʔ*, *өвгн*.

¹⁶ Киргизские примеры см.: К. К. Ю да х и н, Киргизско-русский словарь, М., 1965.

Сравнение с общекалмыцкой лексикой обнаруживает в большинстве случаев совпадение терминов родства у ийсык-кульских калмыков с общекалмыцкими терминами.

2. Части тела человека: *арнургун* «спина; позвонок», ок. *ar + nurgun*; *бармақ* «палец, пальцы», кирг. *бармак*; (*бөдн горегун* «большой палец», ок. *budün* «крупный», *чигун* «палец»; *чикчэ* «указательный палец», ок. *tšiktšigē*, *чиччэ* «мизинец»; *дунктку гурегун* «средний палец», ок. *dund^hч*, *дунктк*; названий безымянного пальца и мизинца мои информанты не знают); *бахлр* «кадык», ок. *baχ^hlur*, *baχlūr* «глотка», *чикун* «ухо, уши», ок. *tšikn*; *дәлә* «предплечье», ок. *dal^h* «лопатка»; *гуй* «бедро», ок. *gijv*; *гижик*, *үсүн* «волосы», ок. *gidžigə*, *үсн*; *кәлн* «язык», ок. *keln*; *киисүн* «шупок», ок. *kisn*; *көл* «нога», ок. *köl*; *көмүшко* «висок», ок. *kömskö*, *күмсэ* «бровь», *күзүн* «шея», ок. *küzün* «шея, горло»; *маңна* «лоб», ок. *maṅnā*, *тапна*; *мәме* «грудь (жен.)», узб. *мамма*; *мурт* «усы», кирг. *мурут*; *нүдн* «глаз, глаза», ок. *nüdn*; *нүүр* «лицо», ок. *nūr*, *нүр*; *омур* «ключица», ок. *otmūr*; *өргун* «подбородок», ок. *örgn*; *өрчө* «грудь», ок. *örtš*; *өшкэ* «пятка», ок. *өскэ*, кирг. *өкө* «каблук, задник (обуви)»; *қаи* «брови», кирг. *каш*; *сәхл* ~ *саел* «борода», ок. *saχvl*, *сахл*; *сорымсы* «ресницы», ок. *sormsvG*, *сормсн*; *шидн* «зуб, зубы», ок. *šidn*; *түзэ* «колено», кирг. *тиз*, *тизе*; *толе'а* «голова», ок. *tol'ā*, *tol'ā*, *толха*; *төхә* «локоть», ок. *toχā*, *toχā*; *урул* «рот», ок. *ur'l*, *урл* «губа»; *хамыр* «нос», ок. *χamr*. Из тридцати терминов — двадцать четыре общекалмыцкие и только шесть заимствованы из киргизского и узбекского языков.

3. Слова различных групп: *мөрн* «конь», ок. *mörn*; *жорабор* «иноходец», ок. *džorā*; *тах* «подкова», ок. *taχ^h*; *дуу* «песня», ок. *dlä dū* «олётская песня»; *дав* «перевал», ок. *das*; *мөсн* «лед», ок. *mösn*; *усна* «вода», ок. *usn*; *хәргышн* «встреча», ок. *χarhln*; *зайан* «любовь», ок. *zajān* «доля, участь, судьба»; *заахоо* «чужбина», ок. *zaχ^h* «край, окраина»; *омғар* «высокий», ок. *om^hγr*; *мөңгөн* «серебро», ок. *möṅgn*; *шархыл* «желтоватый», ок. *šarχvl*; *жиргат-түргэт* «веселье», ок. *džirγv dūrgl*; *жиңник-сөн* «быстрый», *живер* «крыло», ок. *живер*; *жил* «год», ок. *džil*; *залу* «молодец, мужчина», ок. *zalū*, *залу күн*; *көве* «край, кант», ок. *kövē*; *Мөки* (имя соб. муж.); *Жиргилың* (название местности), ок. *džirγ^hlvj* «благо, счастье», *бол* «быть, стать», ок. *bolχv*, *болх*; *дав* «переходить, переваливать», ок. *dawχv*, *давх*; *жирға* «играть, веселиться», ок. *džirγvχv* «счастливо жить», *морд* «садиться на коня, уезжать», ок. *mord^hχv*; *усул* «поить», ок. *uslχv* «поить (о скоте)»; *хува* «делить, распределять», ок. *χuvāχv*; *суу* «сидеть, жить, проживать», ок. *sūχv*. Совпадение лексики ийсык-кульской калмыцкой и общекалмыцкой в данном случае полное.

Приведенный материал обнаруживает, что язык ийсык-кульских калмыков, как можно судить по речи жителей Чельпека, больше всего различий от калмыцкого литературного и диалектного имеет в фонетике; в морфологии и лексике эти различия мало ощутимы, т. е. язык ийсык-кульских калмыков находится на положении говора.

Недавно Д. А. Сусеева высказала мысль, что, несмотря на генетическое родство, язык ийсык-кульских калмыков на правах говора или диалекта нельзя относить к калмыцкому языку. В основе этого взгляда лежит историческая причина — сарт-калмаки не участвовали в формировании калмыцкой народности в XVII—XVIII вв. и калмыцкой национальности в XX в.¹⁷ Думается, что чисто историческое основание не является в

¹⁷ Д. А. Сусеева. К проблеме соотношения калмыцкого языка и калмыцких диалектов, сб. «Совещание по общим вопросам диалектологии, истории языка. Теиис докладов и сообщений (Ереван, 2—5 октября 1973)», М., 1973, стр. 42—43.

В. И. ИВАНОВ

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АБЗАЦА

Среди проблем, которые в последнее время стали привлекать внимание германистов, видное место занимают проблема размеров предложения и проблема строения абзаца. Однако рассматривались эти проблемы всегда независимо друг от друга.

Как соотносятся друг с другом размеры предложения и абзаца, как они взаимодействуют? Или же они совершенно независимы друг от друга, и им чуждо любое соответствие между собой? На эти и подобные вопросы мы попытаемся ответить в данной статье, обобщающей в определенной мере результаты нашего исследования соотношения размеров предложения и абзаца в современном немецком литературном языке¹.

Исследование, проведенное на материале новелл и публицистических статей Т. Манна, Г. Манна, В. Борхерта, показало, что размеры предложения и абзаца являются теми дифференциальными признаками, по которым художественный и публицистический стили могут быть противопоставлены друг другу как более или менее устойчивые функциональные системы. Иными словами, размеры предложения и абзаца как явления синтаксического строя представляют собой лингвистическую основу для сопоставления этих функциональных стилей. Так, в рассмотренной новеллистике средние величины предложения и абзаца равняются соответственно 13,92 и 61,52 слова, между тем как в рассмотренной публицистике эти величины поднимаются до 19,67 и 108,17 слова².

Существенно отличаются друг от друга стили художественной и публицистической литературы и по величине различных структурных видов абзаца и составляющих их предложений. В новеллистике, например, абзацы из сплошного авторского повествования, именуемые нами чистыми абзацами, содержат в среднем 73,52 слова, а в публицистике — в среднем 110,9 слова. Средняя длина предложения в чистых абзацах новелл равна 16,26 слова, такая же длина в статьях — 20,05 слова.

Как видно из приведенных цифр, увеличение объема чистого абзаца в публицистической литературе сопровождается удлинением предложения в ней, а уменьшение объема абзаца в художественной прозе — сокращением предложения. Другими словами, размеры предложения и абзаца находятся здесь в прямо пропорциональной зависимости. С подобным явлением мы столкнулись и при рассмотрении размеров предложения и абзаца в анализируемых стилях в целом (13,92 и 61,52; 19,67 и 108,17). И здесь между размерами предложения и абзаца намечается тенденция к прямой пропорциональности, заключающейся в увеличении длины предложения с увеличением длины абзаца и в уменьшении длины предложения с уменьшением длины абзаца.

¹ См.: В. И. Иванов, Размеры предложения и абзаца и их соотношение в современном немецком литературном языке. КД, Л., 1971.

² Мерой измерения длины предложения и абзаца является слово, под которым понимается последовательность букв между двумя пробелами.

Обнаруженное нами соотношение между размерами абзацев и содержащихся в них предложений может проявляться в разных местах художественных и публицистических текстов по-разному. С этой точки зрения, интерес представляет рассмотрение начальных и заключительных абзацев, являющихся, в силу своего особого положения, наиболее важными пунктами в исследуемом материале. Анализ показал, что абзацы, открывающие произведения, как художественные, так и публицистические, имеют ощутимое преимущество в объеме перед абзацами, завершающими эти произведения. Например, средние размеры первых абзацев в новеллах и публицистических статьях Т. Манна и Г. Манна соответственно составляют 84,42 и 128,18 слова, средние размеры последних абзацев заметно уступают им (27 слов и 75,59 слова). Публицистика по сравнению с новеллистикой характеризуется более крупными начальными и заключительными абзацами. И предложения, составляющие эти абзацы, в публицистике по своей длине (в среднем 25,73 и 19,94 слова) превосходят соответствующие предложения в новеллистике (в среднем 24,51 и 11,02 слова). В обоих функциональных стилях этих писателей удлинение начального абзаца влечет за собой увеличение размера предложения в нем, а сокращению длины заключительного абзаца сопутствует уменьшение размера предложения. Если средние величины предложения во вводящих абзацах новелл и статей равняются 24,51 и 25,73 слова, то в финальных абзацах эти величины снижаются до 11,02 и 19,94 слова.

Таким образом, экспозиция в исследуемых произведениях дается в длинных предложениях и абзацах. В последнем абзаце, подчеркивая основную мысль всего произведения, рассматриваемые писатели, как правило, лаконичны. Так, средний размер предложения в начальных абзацах новеллистики Т. Манна (33,6 слова) более чем в два с половиной раза превышает средний размер предложения в заключительных абзацах (12,8 слова). Что касается размеров начальных и заключительных абзацев, то первые абзацы в два раза длиннее последних (в среднем 67,25 и 33,5 слова). У Г. Манна также уменьшение размера заключительного (в среднем 20,5 слова) и увеличение размера начального абзаца (в среднем 99,6 слова) вызывает сокращение и удлинение находящихся в них предложений. Средняя величина предложения в концовках новелл равняется лишь 9,25 слова, в то время как в зачинах она составляет 15,42 слова.

Раздельное рассмотрение упомянутых абзацев с точки зрения их абсолютной длины, а также средней длины содержащихся в них предложений подтверждает вышесказанное. Так, абсолютный лексический размер заключительного абзаца в новелле Г. Манна «Бранцилла» составляет 28 слов, между тем как аналогичный размер начального абзаца равен 160 словам. Причина столь радикального разрыва между размерами этих абзацев кроется прежде всего в их семантике, а также в структуре. В новеллах Г. Манна преобладают такие начальные абзацы, которые можно считать завязкой действия, так как они сразу придают повествованию динамический характер, сообщая о действии, которое является определенным стимулом для развертывания сюжета. Они представляют собой как бы «трамплин» для дальнейшего развития основного действия. По своей структуре начальные абзацы состоят либо из сплошной авторской речи, либо имеют смешанный состав, т. е. представляют собой сплав речи рассказчика и речи персонажей. Заключительные абзацы Г. Манна могут состоять из сплошной прямой речи, что не встречается ни в четырех анализированных новеллах Т. Манна, ни в десяти новеллах В. Борхерта. Подведение итогов Г. Манн нередко доверяет персонажам, в уста которых он вкладывает основные выводы.

Меньшему лексическому объему заключительного абзаца в новелле «Бранцилла» соответствуют более короткие (в среднем 7 слов), а большему лексическому объему начального — более длинные предложения (в среднем 20 слов).

В новелле Т. Манна «Марио и волшебник» абсолютный лексический размер начального абзаца (124 слова) и средний размер образующих его предложений (31 слово) более чем в два раза превышают соответствующие размеры заключительного абзаца (61 слово и 12,4 слова). И в отношении характера изложения они контрастируют между собой. Начальный абзац с его подробным, исчерпывающим и неторопливым контекстом носит подчеркнуто эпический характер. В этом абзаце Т. Манн в своем повествовании весьма обстоятелен. Интенсивные перечисления, вводная конструкция с распространенным причастным определением, обширные группы существительного удлинняют предложения. В заключительном же абзаце в повествование включается с помощью постпозитивных авторских ремарок диалог в виде вопросно-ответных реплик, создавая небольшую драматическую сценку в общем повествовательном потоке.

Мы наблюдали за поведением не только начальных и заключительных абзацев, обрамляющих новеллы и статьи, но и абзацев, обрамляющих отдельные главы. Здесь имеются в виду новеллы Т. Манна «Тристан» и «Тонио Крегер», состоящие соответственно из 12 и 9 небольших глав. Для этих глав характерны тенденции, обнаруженные на материале целых новелл. Из 21 начального абзаца 19 состоят здесь из сплошного авторского повествования и только два — из сочетания авторской речи с речью персонажей. Невелико колебание и в структуре заключительных абзацев, хотя они чаще, чем начальные, допускают варьирование состава: 15 абзацев содержат сплошную авторскую речь, три — сплошную прямую речь, и три — авторскую речь и речь персонажей одновременно. Средняя длина начальных абзацев в двенадцати главах «Тристана» составляет 79,58 слова, а средняя длина предложения в них — 29,52 слова. Средние размеры конечных абзацев и составляющих их предложений уступают соответствующим показателям в начальных абзацах (в среднем 48,66 и 19,32 слова). Аналогичная картина наблюдается и в соотношении размеров начальных и заключительных абзацев в девяти главах «Тонио Крегера». Если средние объемы заключительного абзаца и предложений в нем равняются 61,2 и 19,8 слова, то в начальном они повышаются до 65,2 и 24,8 слова.

Соотношение размеров предложения и абзаца исследовалось нами также в тех частях, на которые произведения распадаются по своей композиционно-тематической структуре. В первой части (1—4 главы) «Тристана» имеются наиболее развернутые (в среднем 26,6 слова), а во второй (5—9 главы) — наиболее сжатые предложения (в среднем 14,5 слова). Средний размер предложения в третьей части (10—12 главы), равный 19,8 слова, больше, чем во второй части, но меньше, чем в первой. Отношение размеров абзаца в этих частях следует сказать, что их соотношение аналогично соотношению размеров предложения. Наибольшим объемом абзаца характеризуется первая (в среднем 100,4 слова), наименьшим — вторая часть (в среднем 41,6 слова). Что касается длины абзаца в третьей части, то она, как и длина предложения в ней, носит промежуточный характер: средний размер абзаца, равный 69,7 слова, уступает среднему размеру абзаца в первой, но превышает его во второй части.

В идейно-композиционном плане новелла «Тонио Крегер» делится на две приблизительно равные части: 1) 1—5 главы; 2) 6—9 главы. Весьма невелики и колебания между размерами предложения и абзаца в этих частях. Средняя величина предложения в первой половине новеллы со-

ставляет 19,8 слова при средней длине абзаца в 79,8 слова. Во второй половине аналогичные показатели составляют 20,9 и 80,6 слова, т. е. чуть выше. Размеры предложения и абзаца меняются параллельно.

Отмеченная нами тенденция к прямой пропорциональности в соотношении размеров предложения и абзаца подтверждается также данными о размерах структурных типов абзаца и предложений в них, добытыми по новеллам трех писателей. Абзацы из сплошного авторского повествования, обладающие максимальным объемом (в среднем 73,52 слова), содержат самые обширные предложения (в среднем 16,26 слова). Для абзацев из сплошной прямой речи с их минимальным объемом (в среднем 31,66 слова) характерны самые короткие предложения (в среднем 8,92 слова). Смешанные абзацы (в среднем 60,73 слова) занимают промежуточное положение: средняя длина предложения в них, равная 11,89 слова, превышает аналогичную длину в абзацах из сплошной прямой речи, но уступает ей в абзацах сплошного авторского повествования.

При сопоставлении средних размеров абзацев и предложений в новеллах Т. Манна (91,48 и 20,19 слова), Г. Манна (47,46 и 11,18 слова) и В. Борхерта (45,62 и 10,4 слова) обнаруживается, что чем больше абзац, тем длиннее в нем предложение. В результате анализа выяснилось, что такая тенденция присуща рассматриваемым писателям в разной степени. Наиболее отчетливо она проявляется в новеллах Т. Манна. Причем новеллы «Тристан» и «Тонно Крегер», написанные в 1902 и 1903 гг., характеризуются сравнительно меньшими объемами предложения, чем новеллы «Смятение и раннее горе», «Марио и волшебник», которые появились значительно позднее, в 1926 и 1930 гг. Если в первых двух новеллах общий средний размер предложения равен 17,88 слова, то в двух последних он заметно растет и составляет 22,5 слова. Точно так же обстоит дело с размерами абзаца. Ранние новеллы обладают меньшими абзацами (в среднем 65,97 слова), а более поздние — большими (в среднем 117 слов). Итак, не нарушают тенденцию к взаимозависимости размеров языковых единиц на разных ярусах и количественные данные по новеллам, объединенным по принципу хронологической близости.

В длинных абзацах публицистических произведений Т. Манна (в среднем 177,53 слова) содержатся обширные предложения (в среднем 28,8 слова). Сравнительно небольшие абзацы в статьях Г. Манна (в среднем 109,09 слова) состоят из менее развернутых предложений (в среднем 16,28 слова). В публицистике В. Борхерта находятся самые краткие абзацы (в среднем 37,89 слова) и предложения (в среднем 13,77 слова).

Следовательно, в исследованных нами текстах, как в художественных, так и в публицистических, соотношение размеров предложения и абзаца характеризуется прямой пропорциональностью и тем самым включается в ту систему «скрытой упорядоченности» в объеме синтаксических единиц, о которой писал немецкий исследователь Г. Аренс. Проанализировав соотношение между длиной предложения, исчисляемой в словах, и длиной слова, исчисляемой в слогах, он пришел к выводу, что с увеличением размера предложения увеличивается и размер слова, а с уменьшением размера предложения уменьшается и размер слова³. Количественные соответствия такого типа Г. Аренс называет «скрытой упорядоченностью» языка, скрытой потому, что она невидима невооруженным глазом.

Тенденция к взаимодействию размеров языковых единиц на уровне слова и предложения, впервые выявленная и описанная Г. Аренсом, подтверждается в результате нашего исследования на более высоком уровне,

³ Ср.: H. A r e n s, *Verborgene Ordnung*, Düsseldorf, 1965, стр. 5—9.

а именно на уровне предложения и абзаца. Как видим, здесь мы имеем дело с общей тенденцией к «изоквантности», т. е. прямой пропорциональности между объемами тех синтаксических единиц разных уровней, из которых строится речь. Но надо подчеркнуть, что такая пропорциональность является именно лишь тенденцией, а не закономерностью. Она имеет место при определенных условиях, поэтому здесь возможны многообразные отклонения. Наше утверждение о наличии в современном немецком литературном языке тенденции к взаимозависимости размеров предложения и абзаца, прослеживаемой как по отношению к среднему размеру этих синтаксических единиц, так и по отношению к конечным и начальным абзацам, к различным структурным видам абзаца, к композиционно-тематическим отрезкам текста и т. д. носит не фронтальный характер, а основывается на симптоматическом анализе ⁴ определенного числа репрезентативных художественных и публицистических произведений.

⁴ Понятие и термин «симптоматическая статистика» ввел в лингвистический оборот В. Г. Адмони.

М. А. ПЕЙСАХОВИЧ

АСТРОФИЧЕСКИЙ СТИХ И ЕГО ФОРМЫ

Астрофическим стихом написаны многие тысячи поэтических произведений. Однако до настоящего времени недостаточно изучены и общие закономерности, и конкретные особенности нестрофированных форм. Выяснение конструктивных принципов астрофического стиха, установление его основных видов и разновидностей, выявление реальных компонентов, которые определяют особенности его структуры,— все это и сегодня составляет задачи, далеко не решенные филологами. В свете этих задач представляется плодотворным обращение к поэтическому наследию Пушкина, Лермонтова и Некрасова, систематически применявших астрофическую композицию в стихотворениях, поэмах, стихотворных драмах.

В зависимости от строфической организации все стихотворные произведения могут быть разделены на однострофные, равнострофные, разнострофные и астрофические.

Однострофные произведения — стихотворения от 2 до 8 строк и сонеты — представляют собой единое интонационно-смысловое целое и не членятся на меньшие строфические единицы. Таковы у Пушкина: «Пожойник, автор сухощавый...» — двустишие, «Сафо» — трехстишие, «На Каченовского» — четверостишие, «К портрету Жуковского» — пятистишие, «Цветы последние милей...» — шестистишие, «Надпись к беседке» — семистишие, «Все в жертву памяти твоей...» — восьмистишие, «Мадонна» — сонет.

Под равнострофными мы понимаем произведения, состоящие из однородных строф, т. е. из стихосочетаний, которые, во-первых, одинаковы по объему, рифмовке и метрической конструкции, во-вторых, регулярно повторяются с начала до конца произведения, в-третьих, как правило, обладают синтаксической замкнутостью, интонационной завершенностью и смысловой автономностью. Образцами их могут служить у Лермонтова: «Морская царевна» — двустишия, «Пророк» — четверостишия, «Черкешенка» — пятистишия, «Три пальмы» — шестистишия, «Бородино» — семистишия, «Аул Бастунджи» — октавы, «Опять, народные витии...» — девятистишия, «Гляжу на будущность с боязнью...» — десятистишия, «Сашка» — одиннадцатистишия, «Свиданье» (1841) — двенадцатистишия, «Тамбовская казначейша» — онегинские строфы.

Разнострофные произведения содержат строфы интонационно замкнутые и тематически законченные (а потому неизменно выделяемые графически — пробелами), однако отличающиеся друг от друга по одному или нескольким признакам: по виду рифм или способу рифмовки, по объему или метрическому составу. Таковы у Некрасова: «Секрет» — со строфами, отличающимися по виду рифм: АБАб и А'бА'б; «Замолчки, Муза мести и печали...» — где строфы имеют разный способ рифмовки: АБАб и АББА; «Баюшки-баю» — со строфами разного объема: восьми-, двенадцати- и тринадцатистишиями; «Мороз Красный нос» — где использовано 48

строфических типов самых разнообразных дактилических, амфибрахических и анапестических размеров.

Все астрофические произведения принципиально отличаются от любых астрофированных. Построенные на совершенно иных структурных принципах, соответствующих иному типу поэтической речи, они содержат не однородные или разнородные строфы, а нестрофированные стихосочетания.

Естественно поэтому, что при их анализе следует отказаться от термина «строфа» и обратиться к иной терминологии. К сожалению, эта терминология не унифицирована. Одни исследователи обозначают законченную по смыслу нестрофированную группу стихов термином «строфическая тирада» (В. М. Жирмунский), другие — просто «тирада» (А. Л. Жовтис), третьи — «абзац» (С. А. Рейсер), а входящие в такую группу элементарные стихосочетания именуют либо «рифмованными рядами» (Б. И. Ярхо), либо «субстрофами» (Н. С. Поспелов), либо «строфонами» (М. Л. Гаспаров). Представляется уместным прибегнуть в данном случае к понятиям «элементарное рифменное объединение» и «астрофический стиховой период», которые, на наш взгляд, более соответствуют реальному содержанию основных видов нестрофированных стихосочетаний.

В самом деле, в астрофических произведениях стихи, не группируясь ни в однородные, ни в разнородные строфы, составляют стиховые композиционные единицы иного типа — элементарные рифменные объединения. В отличие от строф, эти стихосочетания не отделяются друг от друга графически и в одном и том же произведении могут быть, во-первых, различными по рифмованию, объему и метрическому составу, а во-вторых, — что особенно важно — незавершенными интонационно, синтаксически и по содержанию.

Поэтому элементарные рифменные объединения вступают в разнообразные смысловые, синтаксические и ритмико-интонационные связи друг с другом как сопрягающиеся, сцепляющиеся звенья более крупных стиховых цепей. Сочетаясь между собой, они образуют синтаксически, интонационно и тематически завершенные астрофические стиховые периоды.

Таким астрофическим периодом является, например, I глава лермонтовского «Демона», которая содержит 20 стихов, распределяющихся по 5 элементарным рифменным объединениям: она открывается катреном «Печальный Демон, дух изгнания...» (АБАБ), продолжается пятистишием «Тех дней, когда в жилище света...» (ВзВВз), за которым следуют другое пятистишие «Когда свозь вечные туманы...» (ДеДее) и стиховая пара «Счастливый первенец творенья...» (ЖЖ), а замыкается катреном «И не грозил уму его...» (зИзИ). При этом ни одно из рифменных объединений не обладает смысловой, синтаксической или интонационной завершенностью, почему и отделяется от соседних стихосочетаний запятой или точкой с запятой — как некая часть сложного высказывания.

Строфа, как известно, обладает и целостностью рифмической композиции, и синтаксически-смысловой замкнутостью: «...будучи единицей метрического построения, строфа, — по словам В. М. Жирмунского, — ... является одновременно законченным синтаксическим и тематическим целым: она заканчивается точкой и заключает в себе самостоятельную мысль»¹.

Однако в стихосочетаниях астрофического произведения такой целостности и замкнутости нет: качества строфы в нем как бы раздваиваются,

¹ В. М. Жирмунский, Композиция лирических стихотворений, Пг., 1921. стр. 13—14.

«распределяясь» и по элементарным рифменным объединениям, и по астрофическим стиховым периодам.

Рифменное объединение напоминает строфу только в одном отношении: оно характеризуется рифмической неделимостью, неразложимостью. Но такая рифмическая целостность далеко не всегда соответствует интонационной законченности, синтаксической завершенности, смысловой автономности рифменного объединения.

Астрофический период подобен строфе постольку, поскольку обладает интонационно-синтаксической замкнутостью и тематической завершенностью. Вместе с тем он существенно отличается от строфы, ибо представляет собой стихосочетание синтактико-тематическое, а не метрико-строфическое и лишен таких неперменных признаков строфы, как единообразие объема и единообразие рифмования. Каждый астрофический период по своей стиховой композиции индивидуален: он не повторяет соседние периоды ни по количеству и типу входящих в него рифменных объединений, ни по способам и последовательности их сочетания. И если, например, I глава «Демона» — это астрофический период в 20 стихов, то II глава — вдвое меньшая (ее рифменная схема — *аБаБввГдГд*), а III глава состоит из двух астрофических периодов — 23-строчного, содержащего семистишие и 4 катрена, и шестистрочного, образуемого стиховой парой и катреном.

Основными параметрами, характеризующими элементарное рифменное объединение, являются: 1) метрический состав (стихи одинаковой стопности, разноstopные урегулированные, вольные стихи, полиметрические); 2) объем (количество строк); 3) виды рифм и порядок рифмовки (смежной, перекрестной, охватной, терцетной, тернарной, кватернарной в самых различных комбинациях); 4) синтаксическая структура (замкнутая, открытая, разомкнутая, со стиховым переносом).

Понятие замкнутой, открытой и разомкнутой синтаксической структуры ввели Г. О. Винокур и Б. В. Томашевский, анализируя онегинскую строфу². Мы считаем целесообразным воспользоваться данными терминами и при анализе астрофических форм, поскольку видим определенную аналогию между композицией онегинской строфы и астрофического стихового периода (как тематически целостных стихосочетаний), а в соответствии с этим — также между четырьмя постоянными строфическими компонентами пушкинского четырнадцатистишия и непостоянными по числу и составу элементарными объединениями, складывающимися в астрофический стиховой период.

Особенности строения астрофического стихового периода определяются: 1) количеством, типом и соотношением входящих в него элементарных рифменных объединений; 2) их синтаксической структурой.

Именно в зависимости от синтаксической формы рифменных объединений образуемые ими астрофические периоды получают различные структурные типы, которые мы обозначаем — в соответствии с ведущим конструктивным принципом каждого из них — как интонационный, смысловой, синтаксический, ритмический.

Интонационный тип астрофического стихового периода представляет собой сочетание рифменных объединений *з а м к н у т о й ф о р м ы*, т. е. синтаксически самостоятельных и завершенных, но связанных между собой ритмико-мелодическим рисунком и сопрягаемых интонацией, как, например, в поэме Лермонтова «Демон»:

² См.: Г. Винокур, Слово и стих в «Евгении Онегине», в кн.: «Пушкин. Сборник статей», М., 1941, стр. 186—204; Б. В. Томашевский, Стих и язык. Филологические очерки, М.—Л., 1959, стр. 305—313.

На беззаботную семью
 Как гром слетела божья кара!
 Упала на постель свою,
 Рыдает бедная Тамара;
 Слеза катится за слезой,
 Грудь высоко и трудно дышит;
 И вот она как будто слышит
 Волшебный голос над собой...³.

Очевидна интонационная слитность приведенного астрофического периода, соответствующая его тематической неделимости на два обособленные катрена, хотя они и рифмически, и синтаксически независимы друг от друга. Это структурное своеобразие обозначается и пунктуационно: первое рифменное объединение отделено от второго точкой с запятой, а не точкой.

Смысловый тип астрофического периода основан на сочетании рифменных объединений открытой структуры, т. е. связанных между собой содержанием так, что одно из них дополняется другим и, хотя непосредственно не зависит от него, но лишь вместе с ним приобретает исчерпывающую смысловую целостность. Такого типа стиховой период мы видим в стихотворении Некрасова «Надрывается сердце от муки...»:

По холмам, по лесам, над долиной
 Птицы севера вьются, кричат,
 Разом слышны — напев соловьиный
 И нестройные пiski галчат,
 Грохот тройки, скрипенье подводы,
 Крик лягушек, жужжание ос,
 Треск кобылок, — в просторе свободы
 Все в гармонию жизни слилось...⁴.

В приведенном стиховом периоде начальное четверостишие может показаться законченным по содержанию. Но с присоединением второго рифменного объединения «Грохот тройки, скрипенье подводы...» становится ясным, что первое — не замкнутое, а открытое, содержание которого как раз и дополняет второе четверостишие, продолжающее цепь однородных членов предложения. Только вместе с ним первое рифменное объединение приобретает смысловую полноту и завершенность, получает значение законченного высказывания. Не случайно эти четверостишия разделены запятой — пунктуационным знаком, нередко «сигнализирующим» об открытом характере рифменных объединений.

Синтаксический тип астрофического периода образуется при сочетании рифменных объединений разомкнутой структуры, т. е. взаимосвязанных синтаксически в такой степени, что отдельно друг от друга они вообще не могут существовать. Вот пример из «Мцыри» Лермонтова:

Недвижим молча я лежал.
 Порой в ущелии шакал
 Кричал и плакал, как дитя,
 И гладкой чешуей блестя,
 Змея скользила меж камней;
 Но страх не сжал души моей... (IV, 156).⁵

³ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести томах, IV, М.—Л., 1955, стр. 193. Далее цитируем это издание.

⁴ Н. А. Некрасов, Поли. собр. сочинений и писем, II, М., 1948, стр. 151. Далее цитируем это издание.

В этом стиховом периоде все три рифменные объединения невозможно отделить друг от друга, потому что каждое из них, «замкнутое», казалось бы, рифмически, вместе с тем лишено синтаксической замкнутости: с концом первой стиховой пары фраза не заканчивается, а переходит во вторую пару («Порой в ущелии шакал Кричал и плакал, как дитя»), точно так же, как другое предложение, начатое во второй стиховой паре, завершается в третьей («И гладкой чешуей блестя, Змея скользнула меж камней»). Естественно, что такого рода синтаксически разомкнутые рифменные объединения особенно тесно сопрягаются в стиховой период.

Ритмический тип стихового периода характеризуется тем, что в нем сочетание рифменных объединений достигается посредством стихового переноса, который, рассекая фразу на стыке смежных рифменных объединений, вместе с тем способствует их особой ритмической сцепленности. Сошлемся на такое место из поэмы Некрасова «На Волге»:

Без шапки, бледный, чуть живой,
Лишь поздно вечером домой
Я воротился. Кто тут был —
У всех ответа я просил
На то, что видел, и во сне
О том, что рассказали мне,
Я бредил. Няню испугал:
«Сиди, родименькой, сиди!
Гулять сегодня не ходи!»
Но я на Волгу убежал (II, 89).

Как видим, здесь в первое рифменное объединение фраза не укладывается и перебрасывается стиховым переносом в следующую стиховую пару («Лишь поздно вечером домой Я воротился»). Эта фраза, будучи ритмически разделенной стиховым переносом между двумя строками, относящимися к соседним двустрочным рифменным объединениям, вместе с тем сближает данные строки, а с ними и стиховые пары. Точно так же и в дальнейшем: из второго рифменного объединения следует перенос в третье («У всех ответа я просил На то, что видел»), а из третьего — в заключительное четверостишие («О том, что рассказали мне, Я бредил»). Четыре рифменные объединения неизменно связываются стиховыми переносами и благодаря им образуют астрофический стиховой период.

Наряду с астрофическими периодами четырех рассмотренных структурных типов есть и такие, которые образуются сочетанием трех и более рифменных объединений различного синтаксического строения. В этих случаях стиховые периоды приобретают смешанные структурные типы, например: интонационно-смысловой, синтаксически-смысловой, интонационно-синтаксический, ритмически-смысловой, интонационно-ритмический.

Стиховая композиция астрофических произведений в значительной мере обуславливается типом основного рифменного объединения, используемого в них. В одних исходной, а порою единственной стиховой композиционной единицей служит двустипие; другие характеризуются вольной рифмовкой, при которой ведущее место, как правило, принадлежит четверостишию. Соответственно этому астрофические произведения имеют две основные структурные формы — двустипийную и четверостишию. Помимо того, мы находим нужным выделить смешанную, двустипийно-четверостишию астрофическую форму.

Двустипийная форма. Распространенное представление об астрофическом стихе только как о стихе вольной рифмовки далеко не полно. К астрофи-

ческим принадлежат в большинстве своем и произведения, выполненные стихами с парной рифмовкой.

В отдельных случаях рифмующиеся пары стихов выступают в качестве самостоятельных строф — либо единичных (двустрочная эпиграмма, надпись и т. п.), либо систематически повторяющихся («Черная шаль» Пушкина, «Морская царевна» Лермонтова, «Несжатая полоса» Некрасова). Иногда стиховые пары служат для образования строф большего объема, например, у Лермонтова в стихотворениях «Русалка» (аабб), «Три пальмы» (ааББев), «Наполеон» (1830) (ааббвевгдд). Но чаще всего они употребляются как элементарные рифменные объединения в астрофических произведениях двустипшной формы.

Астрофические двустипшные произведения существенно отличаются от строфированных, прежде всего, ясно выраженной композиционной тенденцией, поддерживаемой структурными особенностями стиховых пар. В произведениях строфированной формы двустипшная чаще всего обладает интонационно-синтаксической законченностью и тематической автономностью, т. е. имеют замкнутую структуру, что выражается и графически: они отделяются друг от друга пробелами. В астрофических же произведениях замкнутость стиховых пар не только не является правилом (хотя и не исключается), но уступает место тенденции к их интонационно-синтаксической неавтономности и тематической незавершенности, т. е. к открытости либо разомкнутости структуры, что также выражено через графическое оформление: рифмующиеся пары пробелами не разделяются. Такое отличие астрофических двустипшных произведений от строфированных делает целесообразным и терминологическое различение типов двустрочных сочетаний, применяемых в них. Нам представляется приемлемым употребление термина «двустипшие» применительно к строфе, а «стиховая пара» — к астрофическому рифменному объединению.

Пушкин, Лермонтов и Некрасов неоднократно обращались к двустипшной астрофической форме, прибегая к ее различным метрическим разновидностям.

Одной из таких разновидностей был александрийский стих — шестистопный цезурованный ямб с чередующимися парами стихов мужской и женской каталектики, который в XVIII в. служил для классицистических поэм и трагедий (Ломоносов, Сумароков, Херасков, Княжнин, Николев), но с начала XIX в. получил широкое распространение в лирических жанрах (Жуковский, Батюшков, Вяземский, Рылев, Баратынский, Языков).

Пушкин применил эту метрическую форму в 61 стихотворении (1864 строки), начиная с первого печатного произведения — «К другу стихотворцу» (1814) и кончая одним из последних — «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (1836), создав такие высокие образцы лирики, как «Лицинию» (1815), «Редеет облаков летучая гряда...» (1820), «Муза» (1821), «Послание цензору» (1822), «Ночь» (1823), «Желание славы» (1825), «Зима. Что делать нам в деревне?..» (1829), «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» (1830), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834), «Отцы пустынноики и жены непорочны...» (1836), «Из Пиндемонти» (1836).

К александрийскому стиху прибегали и продолжатели Пушкина. Лермонтов написал им 10 стихотворений (186 строк), в числе которых «Цевница» (1828), «К Гению» (1829), «Из Андрея Шенье» (1830—1831), «Приветствую тебя, воинственных славян...» (1832), «Ребенку» (1840). Некрасову принадлежит 8 стихотворений (351 строка), выполненных этой формой, в том числе: «Родина» (1846), «Вор» (из цикла «На улице», 1850), «Муза» (1851), «За городом» (1852), «Элегия» (1874).

В некрасовской «Элегии» рельефно выразились структурные принципы астрофических произведений двустихийной формы. Приведем ее начало:

Пушкai нам говорит изменчивая мода,
 Что тема старая — «страдания народа»
 И что поэзия забыть ее должна, —
 Не верьте, юноши, не стареет она.
 О, если бы ее могли состарить годы!
 Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы
 Влачатся в ницете, покорствуя бичам,
 Как тощие стада по выжженным лугам,
 Оплакивать их рок, служить им будет муза,
 И в мире нет прочней, прекраснее союза!.. (II, 392).

Перед нами — типично астрофическая конструкция. Стиховые пары не обособляются друг от друга, а объединяются между собой, так что стихотворный текст может быть членом не строфически — на равные двустихия, а синтаксически и тематически — на неравные по величине фразы.

Другой метрической разновидностью двустихийной астрофической формы был четырехстопный хорей с чередующимися женскими и мужскими стиховыми парами, который закрепился за произведениями, соотносящимися с фольклорными сказочными сюжетами и образами, композиционными и языковыми приемами («Конек-горбунок» Ершова, «Спящая царевна» Жуковского и т. д.).

Эту стихотворную форму Пушкин применил еще в начале 20-х годов в фривольной сказке «Царь Никита и сорок его дочерей» (1822), а в 30-е годы — в «Сказке о царе Салтане...» (1831), «Сказке о мертвой царевне...» (1833), «Сказке о золотом петушке» (1834). Лермонтов данную форму не использовал, а Некрасов обратился к ней в двух обширнейших произведениях 1840 г.: «Баба-Яга костяная нога» (стихи 413—496) и «Сказка о том, как царь Елисей хотел женить сына на луне...».

В произведениях этой метрической разновидности достаточно полно проявляет себя характерная для двустихийной астрофической формы тенденция к интонационно-синтаксической незавершенности, смысловой неавтономности стиховых пар — к значительному преобладанию открытых и разомкнутых рифменных объединений над замкнутыми. Сошлемся на первый астрофический стиховой период «Сказки о золотом петушке» Пушкина:

Негде, в тридевятом царстве,
 В тридесятом государстве,
 Жил-был славный царь Дадон.
 Смолоду был грозен он
 И соседям то и дело
 Наносил обиды смело;
 Но под старость захотел
 Отдохнуть от ратных дел
 И покой себе устроить.
 Тут соседи беспокоить
 Стали старого царя,
 Страшный вред ему творя⁵.

Из 6 стиховых пар, составляющих данный астрофический период, ни одна не может быть выделена как строфа, ибо лишена синтаксической целостности и смысловой законченности. Все эти рифменные объединения

⁵ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, IV, М.—Л., 1949, стр. 475. Далее цитируем это издание.

выступают как необходимые, но лишённые самостоятельности стиховые композиционные единицы, которые только в совокупности составляют 12-строчный астрофический период, обладающий интонационной и тематической завершенностью. И хотя они следуют друг за другом, правильно чередуясь (по формуле рифмовки *ААббВВггДДее*) и правильно сочетаясь (по композиционной схеме $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$), но совсем иначе располагаются и сочетаются здесь синтаксические объединения — предложения (по схеме $3 + 3 + 3 + 3$). На 6 рифменных объединений приходится 4 синтаксических, причем границы тех и других оказываются несовместимыми и совпадают лишь с последней строкой данного астрофического периода.

Третья метрическая разновидность двустипной астрофической формы — четырехстопный ямб со сплошными мужскими рифмами стиховых пар. Введенная в русскую поэзию Жуковским («Шильонский узник», «Суд в подземелье»), эта метрическая форма была применена Лермонтовым в поэмах «Исповедь» (1829), «Боярин Орша» (1835) и «Мцыри» (1839), благодаря чему получила типологическое закрепление за жанром романтической поэмы.

Романтическая стилистика, повышенная экспрессивность поэтического языка этих произведений обусловили самое широкое использование в них разных видов стиховых переносов — как внутри рифменных объединений, так и на их стыке друг с другом. Это определило преобладание астрофических периодов ритмического типа над другими структурными типами. Вот как начинается, например, 20 глава «Мцыри»:

Я вышел из лесу. И вот
 Проснулся день, и хоровод
 Светил напустивших исчез
 В его лучах. Туманный лес
 Заговорил. Вдали аул
 Куриться начал. Смутный гул
 В долине с ветром пробежал...
 Я сел и вслушиваться стал... (IV, 164).

В этом астрофическом периоде, кроме «внутренних» стиховых переносов («И вот Проснулся день», «Вдали аул Куриться начал»), применены самого разного типа переносы, «сцепляющие» соседние стиховые пары: «И хоровод Светил напустивших исчез В его лучах» — контр-рэже в сочетании с рэже; «Туманный лес Заговорил» — дубль-рэже; «Смутный гул В долине с ветром пробежал» — контр-рэже. (Мы прибегаем к этим терминам французской версификации из-за неустановленности соответствующей терминологии в нашем стиховедении.)

Стремясь к ритмическому и синтаксическому разнообразию двустипной астрофической формы, поэты прибегали и к другим ее метрическим разновидностям: Пушкин — в 8 законченных и 5 фрагментарных произведениях (352 строки), Лермонтов — в 2 поэмах и 12 стихотворениях (1262 строки), Некрасов — в 10 стихотворениях (364 строки).

Среди этих метрических разновидностей выделяются четырехстопный ямб с мужскими и женскими стиховыми парами («Собрание насекомых», «К кастрату раз пришел скрынач...», «Не знаю где, но не у нас...» Пушкина), пятистопный ямб [«Литературное известие», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») Пушкина, поэмы «Джюлио», «Литвинка», стихотворения «Звезда», «Вечер после дождя», «Утро на Кавказе», «Предсказание», «Сон», «Смерть» и другие Лермонтова], хореические размеры («Признания труженика», «Княгиня» Некрасова), трехложные размеры [«Свадьба»,

«Встреча», «Буря» (1850) Некрасова], раешник («Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина).

Астрофический характер произведений данных метрических разновидностей нередко проявляется в нарушении принципа двустихности, в несоблюдении парного рифмования: в ряде случаев поэты присоединяют к стиховым парам иные рифменные объединения — от трехстрочных до восьмистрочных. Так, у Пушкина «Литературное известие» открывается пятистишием *АббАб*, «Собрание насекомых» завершается перекрестным катреном *аБаБ*, а стихотворение «К кастрату раз пришел скрыпач..» — охватным катреном *аББа*. Лермонтов подключает к стиховым парам в поэме «Джюлио» 14 трехстиший и четверостишие. Некрасов прибегает в стихотворении «Буря» к смежному трехстишию *aaa*, во «Встрече» — к перекрестному катрену *аБаБ*, в «Признаниях труженика» — к охватному катрену *аББа* и т. д. и т. п.⁶

Четверостишная форма. Самое широкое распространение в поэзии Пушкина, Лермонтова и Некрасова получила четверостишная астрофическая форма, в которой основными стиховыми композиционными единицами служат катрены, входящие в многообразные смысловые и синтаксические, интонационные и ритмические связи как друг с другом, так и с иными рифменными объединениями — от двухстрочных до семнадцатистрочных.

Наглядное представление о принципах стиховой композиции четверостишной астрофической формы можно получить, обратившись к стихотворению Пушкина «Арион»:

Нас было много на челне;
Иные парус напругали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный чол;
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Суту на солнце под скалою (III, 15).

Стихотворение состоит из 15 строк, которые распределяются по четырем различным, не повторяющим друг друга рифменным объединениям: охватному катрену *аББа* («Нас было много на челне...»), пятистишию *ВgggB* («На руль склонясь, наш кормщик умный...»), стиховой паре *dd* («Погиб и кормщик и пловец!...») и охватному катрену *ЕжжЕ* («На берег выброшен грозою...»). При этом ни одно из рифменных объединений не обладает синтаксической целостностью и смысловой автономностью. Первое заканчивается словами «В тишине», которые относятся уже ко второму:

⁶ Подробнее о двустихной форме см. в работах автора этой статьи: «Строфика Лермонтова» (в кн.: «Творчество М. Ю. Лермонтова», М., 1964); «Стиховая композиция поэмы Лермонтова «Мцыри» [«Вопросы русской литературы», 2 (5), Львов, 1967]; «Стих юношеских поэм Лермонтова. (Двустихные формы)» [«Вопросы русской литературы», 1 (16), Львов, 1971]; «Двустихные формы в поэзии Некрасова» (ФН, 1974, 6).

они начинают предложение, занимающее 1—2 строки пятистишия. Пятистишие завершается как будто бы законченным предложением — «Вдруг доно волн Измял с налету вихорь шумный...». Но в действительности это не так: высказывание, выражаемое данным предложением, получает законченность лишь с первой строкой следующего рифменного объединения («Погиб и кормщик и пловец!»). Эта строка соотносится по смыслу с последней фразой пятистишия (внезапно налетевший «вихорь шумный») не только «измял доно волн» — от него в волнах «погиб и кормщик и пловец»), а не со второй строкой стиховой пары («Лишь я, таинственный певец»), которая обращена уже к образу лирического героя и в свою очередь продолжается и завершается в заключительном катрене. Как видим, здесь каждое последующее рифменное объединение продолжает и дополняет ему предшествующее, так что стихотворение оказывается единым интонационно-смысловым периодом.

Стиховая композиция «Ариона» свидетельствует, что в четверостишных астрофических произведениях в гораздо большей мере, чем в двустихишных, наблюдается, с одной стороны, органическая спаянность рифменных объединений в астрофическом периоде, с другой — несоответствие их метрической структуры с синтаксическим строением.

В самом деле, схема стиховой композиции стихотворения: 4 + 5 + + 2 + 4. Но данная схема сочетания рифменных объединений не совпадает со схемой сочетания объединений синтаксических — фразовых единиц, которую можно выразить так: 1 + 1 + 1,5 + 2,5 + 1,5 + 1,5 + 1 + + 2 + 3. Рифменных объединений в «Арионе» — 4, синтаксических же — 9. И дело здесь не столько в этих различных цифровых показателях, сколько в том, что границы рифменных объединений и фразовых единиц не совпадают и вообще оказываются несоизмеримыми.

Однако такая «несовместимость» рифмических сочетаний с синтаксическими — как ни парадоксально на первый взгляд — обуславливает сплошную связанность одних с другими. И в этом явлении мы усматриваем основную закон свободной астрофической композиции.

Четверостишная астрофическая форма использована Пушкиным в 226 стихотворениях и 10 поэмах — от «Руслана и Людмилы» (1820) до «Медного всадника» (1833); Лермонтов применил ее в 18 поэмах — начиная с «Черкесов» (1828) и кончая «Демоном» (1841); Некрасов обратился к ней в 84 стихотворениях и 13 поэмах — от «Чиновника» (1844) до «Современников» (1875).

Эти 382 произведения (40 209 строк) необычайно разнообразны как по идейно-тематическому содержанию и жанровым формам, поэтике и стилистике, так и по метрическому составу и стиховой композиции.

Метрический диапазон четверостишной астрофической формы несравненно шире двустихишной. Метрические разновидности четверостишных астрофических произведений Пушкина, Лермонтова и Некрасова охватывают множество силлабо-тонических размеров и их комбинаций.

Произведения четверостишной астрофической формы выступают у Пушкина в 14 метрических разновидностях (в том числе — 7 ямбических и 3 полиметрических); Лермонтов применяет 5 разновидностей (исключительно ямбических); а Некрасов прибегает к 31 разновидности, включая двусложные и трехсложные метры, равноstopные и разноstopные размеры, а также полиметрию (11 разновидностей).

Четверостишная астрофическая форма получила первоначальное распространение в конце XVIII — начале XIX в. в дружеском послании как наименее традиционному жанре. Именно в этом жанре был выработан астрофический четырехstopный ямб, который впоследствии — через произ-

ведения, подобные «Алине» Карамзина и «Ермаку» Дмитриева, — перешел в жанр романтической поэмы⁷.

Метрическая прикрепленность четверостишной формы к четырехстопному ямбу и ее жанровая соотнесенность с дружеским посланием и романтической поэмой частично проявлялись и в поэзии Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Однако поэты не ограничились усвоением сложившейся «астрофической традиции». Они значительно раздвинули не только метрические, но и жанровые границы четверостишной формы, распространив ее на многие лирические и лиро-эпические жанры.

Среди 204 законченных лирических произведений Пушкина этой формы 86 стихотворений (42%) составляют дружеские послания. Однако еще более у поэта стихотворений той же формы, которые представляют другие жанровые разновидности лирики, как-то: «Деревья» (1819), «Война» (1821), «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823), «Вакхическая песнь» (1825), «Поэт» (1827), «Когда в объятия мои...» (1830), «Клеветникам России» (1831), «Когда владыка ассирийский...» (1835).

Из 29 лермонтовских стихотворений четверостишной астрофической формы уже только 7 (24%) представляют жанр дружеского послания, остальные же 22 относятся к иным лирическим жанрам, например: «Жалобы турка» (1829), «Ужасная судьба отца и сына...» (1831), «Умиравший гладиатор» (1836), «Не смеяй над моей пророческой тоскою...» (1837), «Смерть Поэта» (1837), «Вид гор из степей Козлова» (1838), «Валерик» (1840), «Журналист, читатель и писатель» (1840), «Родина» (1841).

Несомненно, что именно астрофическую, прежде всего — четверостишную, форму Пушкин, Лермонтов и Некрасов считали наиболее соответствующей не только жанру романтической поэмы, но вообще чуть ли не всем жанровым разновидностям современной им поэмы. Не потому ли из 14 поэм Пушкина строфами написаны только две: «Домик в Коломне» (октавы) и «Езерский» (онегинские строфы); из 30 лермонтовских поэм строфированными являются пять: «Аул Бастунджи» (октавы), «Сашка», «Сказка для детей» (одиннадцатистишия), «Моряк» и «Тамбовская казначейша» (онегинские строфы); а Некрасов выполнил строфированной формой лишь три поэмы: «Саша» (двустиишия), «Дедушка» и «Княгиня М. Н. Волконская» (катрены без графического разделения).

По сравнению с двустиишной четверостишная астрофическая форма отличается значительно большим разнообразием стиховой композиции. Это естественно объясняется применением вольной рифмовки, предполагающей использование рифменных объединений разного объема, синтаксического и рифмического строения. Благодаря широкому варьированию количества и типа элементарных объединений, складывающихся в самые разнотипные стиховые периоды, Пушкин, Лермонтов и Некрасов чуть ли не в каждом отдельном произведении четверостишной формы достигают структурной индивидуализации, неповторимости стиховой композиции и синтаксического строя⁸. Особенно выразительно это проявляется в крупных произведениях поэтов — их поэмах, стихотворных пьесах, сатирах.

В стихотворных драмах и драматизированных сценах ряда поэм и стихотворений Пушкина, Лермонтова и Некрасова, выполненных астрофическим четверостишным стихом, используется драматическая струк-

⁷ См.: М. Л. Г у с п а р о в, Элементы строфики в русском нестрофическом ямбе XIX века, в кн.: «Марксизм-ленинизм и проблемы теории литературы (Тезисы докладов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина)», Алма-Ата, 1969, стр. 57—59.

⁸ См.: Н. С. П о с п е л о в, Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина, М., 1960, стр. 41—83. 171—248.

тура. Это обуславливает драматизацию стиховой композиции: рифменные объединения и астрофические периоды при распределении по монологическим партиям, диалогам и репликам персонажей не только сочетаются, а и расчлняются, вплоть до рассечения на разноречивые «диалогические отрезки» отдельных строк.

Драматизация стиховой композиции приближает монологи, диалоги и реплики к живому разговорному языку, позволяет свободно строить — то расширяя, то сокращая — драматическую фразу, передавать интонационные особенности и экспрессивные оттенки речи действующих лиц, всю непосредственность их переплетающихся реплик. Она способствует проявлению таких качеств драматизированной стихотворной речи, как непреднамеренная эмоциональность, живая взволнованность, разговорная естественность, порою непродуманность и опрометчивость высказывания, повышенная, нередко обнаженная напряженность, а то и драматичная вершинность вопросов, ответов, замечаний и суждений персонажей.

Показательны в этом отношении «Цыганы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Полтава» Пушкина; «Журналист, читатель и писатель», «Хаджи Абрек», «Маскарад», «Арбенин», «Демон» Лермонтова; «Поэт и гражданин», «Крестьянские дети», «Медвежья охота», «Современники» Некрасова.

Сопшемся лишь на следующее место из поэмы Лермонтова «Хаджи Абрек»:

Л е и л а
Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне...
Х а д ж и А б р е к
Он жив.
Хотя порой дождям и служе
Открыта голова его...
Но ты?
Л е и л а
Я счастлива...
Х а д ж и А б р е к (тихо)
Тем хуже!
Л е и л а
А? что ты молвил?
Х а д ж и А б р е к
Ничего! (III, 273).

Следование принципу астрофичности означало для Пушкина, Лермонтова и Некрасова раскованность стиховой композиции, ее полную свободу от регламентирования и заданности. Именно поэтому в свои астрофические поэмы, стихотворения, драмы они нередко включали строфированные песни, монологи, эпизоды. Тому свидетельством — «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава» Пушкина; «Кавказский пленник», «Измаил-Бей», «Маскарад», «Беглец», «Демон» Лермонтова; «В деревне», «Несчастные», «Балет», «Медвежья охота», «Княгиня Трубецкая», «Современники» Некрасова.

В ряде случаев строфированные вставные песни и эпизоды отличаются от основного — астрофического — текста своими стихотворными размерами. Таковы у Пушкина в «Цыганах» стихотворение «Птичка божья не знает..» (4 катрена 4-стопного хорей) и песня «Старый муж» (3 катрена 2-стопного анапеста); у Лермонтова в «Кавказском пленнике» — пес-

ня «Как сильной грозою...» (одиннадцатистишие и семистишие 2-стопного амфибрахия), в «Измаил-Бее» — «Черкесская песня» (3 восьмистишия урегулированного 44444343-стопного хорей), в третьей редакции «Демона» — «Песнь монахини» (5 катренов 3-стопных трехсложников), в «Маскараде» — романс «Когда печаль слезой невольной...» (3 катрена 4-стопного ямба), в последних редакциях «Демона» — «На воздушном океане...» (4 катрена 4-стопного хорей); у Некрасова в «Медвежьей охоте» — стихотворение «Белинский был особенно любим...» (8 катренов 5-стопного ямба) и сатира «Диалектик обаятельный...» (10 катренов 4-стопного хорей), а в «Современниках» — 13 строфированных вставок, начиная с первой же главы «Я книгу взял, восстав от сна...» (9 катренов 4-стопного ямба) и кончая монологом князя Ивана «Ты Шиллера, должно быть, начитался...» (4 шестистишия 5-стопного ямба)⁹.

Двустипно-четверстишная форма. С двумя основными формами астрофического стиха связана форма смешанная — двустипно-четверстишная. В произведениях этой формы происходит систематическое сочетание стиховых пар с катренами, а роль рифменных объединений иного типа незначительна.

Наглядное представление о характере стиховой композиции таких произведений может дать, к примеру, следующее место из поэмы Пушкина «Граф Нулин»:

А что же делает супруга
Одна в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней:
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и погреб заглянуть, —
Хозяйки глаз повсюду нужен;
Он вмиг заметит что-нибудь (IV, 238).

Приведенные восемь строк составляют астрофический стиховой период интонационно-смыслового структурного типа: первая стиховая пара замкнутой синтаксической формы «А что же делает супруга...» сочетается с парой стихов открытой формы «Занятий мало ль есть у ней...», к которой подключается перекрестный катрен «Заказывать обед и ужин...» (общая схема рифмовки периода: *ААббВгВг*). Подобная структура и дает основания говорить о данной поэме как о произведении не двустипной и не четверстишной, но смешанной — двустипно-четверстишной формы.

Двустипно-четверстишную форму представляет 31 произведение Пушкина, Лермонтова и Некрасова (5238 строк). Этой формой выполнены: поэмы «Граф Нулин» и «Анджело» Пушкина, «Последний сын вольности» Лермонтова, «Баба-Яга костяная нога» (стихи 1—412), «Деловой разговор», «В. Г. Белинский», «На Волге» и «Суд» Некрасова; 18 стихотворений Пушкина, среди которых «Монах», «Тень Фонвизина», «Сон. (Отрывок)», «Сцена из Фауста», «О муза пламенной сатиры...», «Какая ночь! Мороз трескучий...», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Сват Иван, как пить мы станем...»; стихотворение Лермонтова

⁹ Подробнее о четверстишной форме см. в работах автора этой статьи: «Строфическое строение поэмы Лермонтова „Демон“» [«Вопросы русской литературы», 2 (8), Львов, 1968]; «Стих юношеских поэм Лермонтова. (Произведения вольной рифмовки)» [«Вопросы русской литературы», 1 (19), Львов, 1972]; «Строфика Некрасова» (в кн.: «Некрасовский сборник. V. Поэзия любви и гнева», Л., 1973); «Астрофические стихотворения Лермонтова» [«Вопросы русской литературы», 2 (24), Львов, 1974]; «Стихотворное мастерство Пушкина. (Произведения астрофической формы)» [«Радянське літературознавство», 1975, 6 (на укр. яз.)].

«Перчатка», 4 стихотворения Некрасова: «Ночь», «В альбом», «Так это шутка? Милая моя...», «Дедушка Мазай и зайцы», ч. 2.

Произведения рассматриваемой формы выступают в 7 метрических разновидностях. 4 разновидности представляют ямбические размеры, которыми выполнено большинство произведений: 8 поэм и 19 стихотворений. Но обращались поэты и к иным стихотворным метрам: 4-стопному хорю («Стихи, сочиненные ночью...» и «Свят Иван...» Пушкина, «Ночь» Некрасова), разноударному дольнику («Перчатка» Лермонтова), полиметрии — сочетанию 3- и 4-стопного дактиля с 2-стопным ямбом («Дедушка Мазай...», ч. 2).

Главной особенностью структуры двустихно-четверостишных произведений является соединение двустихного и четверостишного композиционного начала. В 20 произведениях Пушкина 2534 стиха, составляющие 871 рифменное объединение, распределяются по 516 стиховым парам (1032 строки), 272 катренам (1088 строк) и 83 иным рифменным объединениям (414 строк). В двух лермонтовских произведениях 918 строк дают 295 рифменных объединений, среди которых: стиховых пар — 188 (376 строк), катренов — 67 (268 строк), иных рифменных объединений — 40 (274 строки). А в 9 произведениях Некрасова 1786 строк распределяются по 617 рифменным объединениям, в числе которых 366 стиховых пар (732 строки), 209 катренов (836 строк), 42 иных стихосочетания (218 строк).

Естественно, что количество и соотношение стиховых пар, катренов и рифменных объединений иного объема в каждом произведении особое. В «Графе Нулине», например, количество строк, группирующихся в катрены — 164 — превышает число строк, объединенных в стиховые пары — 116, а остальные 90 строк распределяются по 18 рифменным объединениям (2 трехстишия, 12 пятистиший, 4 шестистишия). А в другой поэме Пушкина «Анджело», выполненной, казалось бы, той же астрофической формой, «двустихных» строк — 336 — чуть ли не вдвое больше, чем «четверостишных» — 176, и лишь 22 строки группируются в иные стихосочетания (3 пятистишия, семистишие).

Несомненно, двустихно-четверостишная астрофическая форма ни в творчестве Пушкина, Лермонтова и Некрасова, ни вообще в русской поэзии не заняла такого большого места, какое заняли двустихная и четверостишная формы. И все же оригинальная стиховая композиция произведений смешанной формы представляет безусловный интерес, убедительно свидетельствуя о структурной гибкости астрофического стиха.

Как видим, все астрофические формы стиха, к которым охотно прибегали Пушкин, Лермонтов и Некрасов, не только освобождали поэтов от заданных рамок стихотворной речи, от регламентированности строфики, но и способствовали их новым достижениям в области стиховой композиции.

Следование астрофическому принципу никоим образом не вело к структурной неорганизованности, синтаксической неупорядоченности, к аморфности интонационного и ритмического строя стихов. Нестрофированные формы позволяли широко варьировать стиховую композицию, синтаксическое строение, ритмико-мелодические рисунки стиха. Они открывали перед Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым неисчерпаемые возможности художественной индивидуализации архитектоники и поэтики, стиля и языка произведений в соответствии с теми задачами, которые ставили перед собой и в каждом отдельном случае по-разному решали великие русские поэты.

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

С. О. КАРЦЕВСКИЙ

СРАВНЕНИЕ*

В повседневном общении, осуществляемом посредством разговорного языка, в основе сравнения почти всегда лежит субъективная оценка, и как раз потому, что к этому примешивается эмоциональность, существуют совершенно различные способы выражения сравнения. Требуется серьезное усилие для того, чтобы выделить систему, лежащую в основе многочисленных средств, которые язык представляет в распоряжение говорящих субъектов для выражения сравнения.

I

Прежде всего следует различать две «степени сравнения»: сравнительную и превосходную степень. Что касается положительной степени, то она употребляется только в одном случае (см. ниже).

1. Сравнивая единичный случай («предмет» или процесс) с совокупностью случаев того же рода, мы имеем дело с превосходной степенью: индивидуальное воспринимается как превосходящее всех себе подобных. В то же время, что само по себе немаловажно, последние не дискредитируются. Напротив, чем больше их значимость, тем больше заслуга того, кто их превосходит. Превосходная степень несет в себе ностальгию по «абсолютному».

2. С другой стороны, мы имеем дело со сравнительной степенью всякий раз, когда надо сравнить единичный случай с одним или несколькими единичными случаями. Но здесь одно часто возвеличивается в ущерб другому.

Взаимозависимость двух сравниваемых членов выражается в языке совершенно различными способами. Подчас член сравнения эксплицитно не выражен, а существует только в мысли в столь неопределенной форме, что дает повод говорить об «абсолютной превосходной степени». Например: *Это — мой наилучший ученик; Вот наиболее интересная кни-*

* В рукописном отделе Института русского языка АН СССР хранится архив С. О. Карцевского (фонд № 16). Предлагаемая вниманию читателей журнала «Вопросы языкознания» статья С. О. Карцевского «Comparaison» датируется автором 28 VIII 1945 г. и представляет собой окончательную редакцию материала под тем же названием, хранящегося в папке № 13 этого архива.

В статье С. О. Карцевский излагает свою общелингвистическую интерпретацию категории сравнения в русском языке.

Статья печатается без каких-либо сокращений и изменений (за исключением шрифтовых выделений, сделанных редакцией).

Текст дается в переводе с французского, выполненном В. Г. Кузнецовым.

га, какую я когда-либо читал; Волга — самая большая европейская река [или в Европе]; Самое трудное — это переводить с французского на русский и др. С равным основанием можно было бы говорить об «абсолютной сравнительной степени». Вот несколько примеров: *Учитель выбрал задачу потруднее; Ты бы лег лучше спать; Будет вежливее, если ты сам зайдешь к нему* и др. Термин «абсолютный» не удачен, и лучше им не злоупотреблять. Впрочем, во всех приводившихся примерах мы имели дело с эллиптическими фразами, и если член сравнения в них эксплицитно не выражен, то это либо для целей выразительности, либо потому, что он легко определяется контекстом.

II

Наиболее тесной связью между двумя членами сравнения выступает в сравнительной степени. Она может даже принимать форму соотносительности двух предложений (см. ниже). Мы рассмотрим все сравнительные структуры русского языка. (В первом столбце помещены степени сравнения прилагательных, а во втором — наречий).

1. Аналитические структуры.

В аналитических структурах используются вспомогательные слова *более* и *менее*; член сравнения вводится сравнительным союзом *чем* и *нежели* (устаревшее).

<i>Иван более способен, чем Петр.</i>	<i>Сегодня менее холодно, чем (было) вчера.</i>
<i>Иван мне показался более способным, чем Петр.</i>	<i>Иван скоро станет писать более правильно, чем Петр.</i>
<i>Я не читал еще книги более интересной, чем эта.</i>	
<i>Эта книга менее интересна, чем я (того) ожидал.</i>	<i>Жизнь дорожает более быстро, чем мы (того) ожидали.</i>

Аналитическая сравнительная степень может употребляться в очень большом количестве фраз. Она единственная дает возможность отличать сравнительную степень прилагательного от сравнительной степени наречия и позволяет тем самым избегать некоторые двусмысленности. Более того, оппозиция *более: менее* дает возможность легко строить антонимические фразы.

2. Полуаналитические структуры.

В полуаналитических структурах используется сравнительная форма на (-ее/-е), а также сравнительные союзы *чем* и *нежели*.

<i>Иван способнее, чем Петр.</i>	<i>Завтра не будет холоднее, чем сегодня.</i>
<i>Ольга казалась моложе, чем Елена.</i>	<i>Иван работает не хуже, чем Петр.</i>
<i>Он способнее, чем я полагал.</i>	<i>Сегодня больному лучше, чем было вчера.</i>
<i>Все лучше, чем это.</i>	<i>Я пишу сочинения лучше, чем диктовки.</i>
<i>Я решил бы задачу и труднее, чем эта.</i>	<i>Иван пишет лучше, чем читает.</i>
<i>Нынешняя зима будет длиннее, чем прошлогодняя.</i>	<i>Лучше погуляй, чем сидеть дома.</i>
	<i>Я скорее удивился, чем (нежели) испугался.</i>

В только что рассмотренных двух типах структур в члене сравнения предикат сравниваемого члена не повторяется, и поэтому первый тип становится эллиптическим. Слова *лучше* и *скорее*, последнее в меньшей мере, чем первое, постепенно становятся вспомогательными словами наподобие *более* и *менее*, но с «преференциальной» и, следовательно, «качественной» значимостью. В разговорном языке сравнительная неаналитическая степень часто комбинируется со смягчительным префиксом *по-* (ср., *поиграть*); напр.: *Я решил бы задачу и потруднее*. Благодаря этому способу расстояние между членами сравнения несколько сокращается.

3. Синтетические структуры.

Член сравнения сокращается до простого косвенного дополнения (в родительном падеже сравнения).

Иван способнее Петра.

Иван выглядел не старше Петра.

Оба они, один умнее другого.

Мы решали задачи (и) сложнее этих.

Сегодня не теплее вчерашнего.

Иван пишет хуже Петра.

Я пишу диктовки лучше сочинений.

Он старается пуще [больше] прежнего.

Охота пуще неволи.

Это лето будет жарче прошлогоднего.

Твоя диктовка лучше твоего сочинения.

Этот вид сравнительной структуры распространен в разговорном языке. Но его употребление ограничивается именными сравнениями и исключает сравнение двух глаголов.

Три первые типа сравнительных структур могут рассматриваться как «нормальные». Именно они используются для выражения сколь угодно объективной оценки, в то время как аналитический тип остается достоянием литературного, книжного языка.

4. Соотносительные структуры.

В соотносительных структурах сравниваются два предиката. Используемые союзы: *чем ~ тем*.

Чем более красива книга, тем более она дорога.

Чем красивее книга, тем она дороже.

Он тем нахальнее, чем вы с ним вежливей.

Чем хуже, тем лучше.

Чем дальше в лес, тем больше дров.

Чем больше учишься, тем меньше знаешь.

Он учится тем лучше, чем меньше им занимаются.

В соотносительных структурах, как правило, придаточное предложение выступает в функции главного, отношение, которое обычно интерпретируют как отношение причины и следствия. Едва ли можно утверждать, что соотносительные структуры принадлежат разговорному языку. Зато они великолепно подходят для образования предложений. Следует отметить, что поскольку член сравнения отсутствует, мы имеем дело с «абсолютными» сравнениями. К тому же, поскольку речь идет о сравнении двух актов предикации, а не двух частей речи, прилагательное может сравниваться с наречием, напр., *Чем красивее книга, тем она стоит дороже*.

5. Уступительные сочинительные конструкции.

Из двух членов сравнения второй вводится уступительным союзом *зато* или его синонимом *а*.

Иван способнее, зато Петр прилежнее. [Пусть] *сегодня холоднее, зато вчера было ветренее.*
Если [хотя] Петр и более прилежен, зато Иван более способен. *Хотя [если] Иван и лучше говорит, зато Петр лучше пишет.*

Структура этого типа может быть в определенной мере противопоставлена предыдущему типу. Функциональному отношению, обычно интерпретируемому как отношение следования, в уступительной конструкции противопоставляется отношение равновесия, обусловленное отношением уступки.

6. Противительные сочинительные структуры.

В этих структурах впервые сравнительная степень противопоставляется положительной. В них используются противительные союзы *а* (или *но*); вспомогательные слова *еще* и *того*.

Мне дали интересную книгу, а моему брату еще более интересную. *Больному плохо, а завтра может стать [и того] хуже.*
Петр ленив, а Иван еще ленивее. *Петр пишет хорошо, а говорит еще [и того] лучше.*

Структуры двух последних типов часто используются для выражения субъективной оценки. Следующий тип структуры относится к той же категории.

7. Структуры с прогрессирующим сравнением.

Эти структуры характеризуются наличием вспомогательного слова *все*, а также несовершенным видом глагола.

Он все более (и более) стареет. *Становилось все теплее (и теплее).*
Она все менее (и менее) прилежна. *Он работает все лучше (и лучше).*
Ольга выглядит все красивее (и красивее). *Мы работаем все более (и более) прилежно.*
Погода с каждым днем становится все хуже (и хуже). *С каждым днем все радостнее жить.*
Жизнь все дорожает (и дорожает). *Начало становится жить все труднее (и труднее).*

Структуры этого типа характеризуются одночленностью и отсутствием члена, с которым сравнивают. Впрочем мы имеем здесь дело со *с т а н о в л е н и е м*, и каждый момент или каждый последующий шаг представляет собой поступательное движение по отношению к настоящему, которое является как раз тем, с чем сравнивают, и никакая экспликация последнего не возможна. Вспомогательное слово — местоименно-тотализатор *все* подчеркивает длительность процесса, уже выраженного несовершенным видом глагола. Такое удвоение, свойственное разговорному языку, указывает на возрастание качества во времени.

8. V a g i a.

Различные эллиптические структуры, свойственные скорее аффективной речи.

(Чем) тише едешь, (тем) дальше будешь. — *Ты бы лучше погулял (чем...) — Погуляй (лучше), чем сидеть дома.* — *Будет лучше, если (ежели), ты сам зайдешь к нему (чем...).* — *Говорит он хорошо, а пишет хуже (чем...).* — *Все лучше, лишь бы не это! — Все лучше, чем так.* — *Скорей в воду, чем за него замуж.* — *Заходи к нам поскорей, да почаще.* — *Тут делать больше нечего.* — *Это не более и не менее, как подлость.* *Он более или менее прав и др.*

III

В превосходной степени взаимосвязь двух членов сравнения в той или иной мере ослаблена. И как раз именно здесь то, что сравнивают, легко становится «абсолютной превосходной степенью».

Признаками последнего являются вспомогательные слова *самый* и *наиболее/наименее*. То, с чем сравнивают, заключает, со своей стороны, местоимение-тотализатор *весь* или какое-либо другое синонимическое выражение. Напр., *Учитель выбрал самую [наиболее] трудную задачу из (всего) учебника; Иванов наименее способный из или среди (всех) моих учеников; Это самая интересная книга, какую когда-либо я читал.*

Самый легко принимает субъективную значимость: *Я попал в самую [=страшно, ужасно] неприятную историю.* Как раз благодаря местоимению *весь*, являющимся своеобразным противовесом, *самый* функционирует в качестве признака превосходной степени (ср. также *Они живут у самого синего моря*). *Наиболее* и *наименее* являются вполне объективными признаками. Частица *наи-* придает им значимость, благодаря которой они превосходят соответствующие средства сравнения *более* и *менее*.

Наречие располагает в превосходной степени только вспомогательными словами *наиболее* и *наименее*; напр., *Он наиболее охотно занимается по грамматике и наименее прилежно по математике.*

Присутствие местоимения *весь* придает сравнительным оборотам значение превосходной степени. Напр., *Ольга способнее всех учениц своего класса; Я больше всего люблю музыку; Нет ничего приятнее [-всего приятнее; самое приятное], как беседовать с умным человеком и др.*

Непродуктивные способы

Существует небольшая группа прилагательных на *-ший*, образующих антиномические пары и обозначающих сами по себе высшую степень качества. Это — *высший ~ низший*, *старший ~ младший*, *лучший ~ худший* и *большой ~ меньший*, к которым можно добавить *меньшой*, антоним которого *набольший* принадлежит разговорному языку. Эти средства образования превосходной степени функционируют тремя способами: 1) *Он старший в семье*, т. е. старший из всех членов семьи; 2) усиливаются вспомогательным словом: *он самый младший в семье*; 3) усиливаются частицей *наи-*, напр., *Это наилучший из (всех) моих учеников.*

Суффиксы *-ейший/-айший* и *-ейше/-айше* являются продуктивными лишь в литературном и письменном языке. Они служат только для усиления качества: *Это — оригинальнейший ум* означает «чрезвычайно оригинальный». Существует между прочим целый ряд устойчивых выражений со значением абсолютной превосходной степени; напр., *малейшая* или даже *самомалейшая провинность*; *Всемилоостивейший государь*; *Ваш покорнейший слуга*; *нижайшее почтение*; *строжайше воспрещается*; *покорнейше прошу* и др.

Наиболее характерной чертой сравнительной степени в русском языке является форма на *-ее/-е*, общая для прилагательных и наречий. На вопрос, горячо обсуждаемый грамматиками: к какой части речи ее следует отнести — может быть, по нашему мнению, только один ответ. Это — гибридная форма, относящаяся как к прилагательному, так и к наречию. Она функционирует в качестве с у б с т и т у т а сочетаний *более* + прилагательное и *более* + наречие. Она управляет родительным падежом. Впрочем родительный падеж в русском языке и сам чаще всего

выступает в качестве субститута. В случае сравнительной степени он замещает предложение с союзом *чем*, представляющее член сравнения и, как правило, уже сведенное к эллипсису.

Характерной чертой превосходной степени в русском языке является употребление уточняющего местоименного прилагательного *самый* в качестве вспомогательного слова. Само по себе *самый* указывает на последнюю степень точности, исключая всякую аппроксимацию и тем самым всякую синонимию. *Самый красный* означает «действительно, полностью красный», в то время как просто *красный* может покрывать все оттенки и синонимы красного цвета. Тем не менее, чтобы помешать скольжению вспомогательного слова *самый* по наклонной плоскости аффективности, что привело к тому, что оно обозначало бы *страшно, ужасно* и т. п., язык в качестве противовеса дополняет второй член сравнения местоимением-тотализатором *весь* или каким-либо его синонимом.

Вспомогательные слова превосходной степени *наиболее* и *наименее* являются вполне объективными: они выступают как выражающие «количество». Они могут обходиться без противовеса. Впрочем, как раз поэтому разговорный язык в последнем нисколько не нуждается. В обиходном языке «сравнить» — значит выразить свое отношение, «оценить», «измерить», руководствуясь нашими чувствами и нашими страстями.

В области с р а в н е н и я конфликт между интеллектом и чувством дает о себе знать чрезвычайно поучительным образом. Это — еще один довод в пользу учения Шарля Балли.

Женева, 28 VIII 1945

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

С. ЭРВИН-ТРИПП

СОЦИОЛИНГВИСТИКА В США*

Доминирующее положение в американской лингвистике блумфилдских методов и задач, а также трансформационной грамматики обусловило преобладание такого исследовательского подхода, который игнорировал влияние социальных факторов на язык, полагая, что: а) лингвисты должны иметь дело только с идеальными говорящим и слушающим; б) референционная функция языка является главной; в) предложение — единица, которая легче всего поддается систематическому анализу и г) в социальных различиях речи проявляются «факторы использования» («performance factors»), затемняющие грамматические структуры.

Противоположную точку зрения формулируют Дж. Шерцер и Д. Хаймз (Sherzer 1973, Hymes 1972a, 1972b). Д. Хаймз подчеркивает, что в рамках новых исследований функциональная множественность языка является центральной идеей; он считает функцию первичной по отношению к грамматике и сомневается в наличии четких диалектных границ и в традиционном тезисе о независимости грамматики.

В 1963 г. произошли два события: конференция Американской антропологической ассоциации определила область, названную этнографией общения (ethnography of communication). Материалы конференции были затем опубликованы (Gumperz and Hymes 1964; см. также Hymes 1964, Fishman, 1968, 1971—1972, Gumperz and Hymes 1972). Вторым событием было формирование в том же году Комитета по социолингвистике под эгидой Совета социальных исследований, в который вошли как лингвисты, так и социологи, под председательством Чарльза Фергюсона. Комитет провел ряд конференций (Fishman, Ferguson and Das Gupta 1968, Hymes 1971, Bauman and Sherzer 1974), его члены содействовали организации других конференций (Bright 1966, Lieberman 1966) и основали два новых журнала («Language in society» и «International journal of the sociology of language»). Центр по прикладной лингвистике начал издавать серию работ по диалектологии и прикладной лингвистике (см., например, Labov 1966, Wolfram 1969, Baratz and Shuy 1969, Fasold 1972 и др.), Издательство «Стэнфорд-пресс» опубликовало ряд сборников по социолингвистике под редакцией Энвары Дила (Ferguson 1971, Greenberg 1971, Fishman 1972, Gumperz 1971, Lambert 1972, Ervin-Tripp 1973, Haugen 1972). В 1972 г. Джорджтаунский «круглый стол» провел специальную социолингвистическую

* Сокращенный вариант. Полностью настоящий обзор публикуется в сб. «Социально-лингвистические исследования», под ред. Л. П. Крыгина и Д. Н. Шмелева, М. (в печати).

сессию, итогом которой явились три публикации (Shuy 1972, Shuy and Falsold 1973, Rubin and Shuy 1973).

В настоящем обзоре мы рассмотрим в отдельности микросоциолингвистику, или изучение личной (face-to-face) коммуникации говорящих, и макросоциолингвистику, объектом которой являются совокупности людей и большие социальные проблемы.

1. Своими работами о варианте английского языка, используемом американскими неграми (АЯН), У. Лабов начал целое новое направление в лингвистике — выявление правил, характеризующих не постоянные, а переменные признаки языка, обусловленные в свою очередь социальными факторами. Примером является правило вариантного опущения конечного *-t* или *-d* в группе согласных на конце слова, как в *first* или *passed*: [t согл] → ⟨∅⟩ <+ согл ⟨∅⟩ — # # <~ гл.⟩. В такой форме правило читается следующим образом: «всякий раз, когда конечный согласный вариативно опускается, это происходит чаще, если он следует после другого согласного, не предшествует гласному и не является отдельной грамматической морфемой» (Labov 1972b, стр. 217). Так, у изученных У. Лабовом говорящих-негров средний процент опущения согласного в пределах одноморфемных слов (таких, как *first*) равен 90%. В другом фонетическом окружении, а именно — при несоблюдении условий, перечисленных в правиле У. Лабова, процент опущений согласного равен только 7% (ср. слова типа *passed*). У каждого говорящего есть четыре варианта, определенным образом различающихся.

Вариантные правила играют большую роль в новых исследованиях диалектов, пиджин- и креольских языков (Bailey and Shuy 1969), а дальнейшая формализация этих правил делает более точными количественные сопоставления (Cedergren and Sankoff 1974). Несмотря на возрастание знаний о социальных причинах кодового переключения, существует мнение, что каждому данному коду присуща вариативность, которая свойственна фонологической и грамматической системе данного говорящего и в основном обусловлена случайными факторами¹.

2. Изучение грамматических и фонологических правил недавно было дополнено изучением того, что получило название «социолингвистических правил, так как компонентом правил «формального отбора» (языковых средств), наряду с контекстом, являются социальные признаки. Эти правила трех типов: правила выбора, правила совместной встречаемости (co-occurrence rules) и правила последовательности, или правила общения (sequencing or discourse rules)².

Давно известно, что для каждого говорящего выбор языка, стиля или конкретной грамматической или лексической единицы предсказуем на основе ситуации, жанра речи или таких признаков, как пол или положение собеседника. Основным теоретическим достижением У. Джохегана (Geoghegan 1973) явилась предложенная им модель обработки сообщения, формально характеризующая эти альтернативы. Он различает кодо вы е п р а в и л а (coding rules), которые делают выбор обязательным, и м а р к и р у ю щ и е п р а в и л а (marking rules), по которым к высказыванию добавляются такие эмоциональные оттенки, как уважение или презрение.

¹ Кодовое переключение относится к любым систематическим изменениям между разновидностями языка. Репертуар, имеющийся в распоряжении говорящего при переключении, может состоять из регистров или стилей у одноязычного говорящего или же из различных языков — у билингов.

² Английский термин «discourse» используется применительно к изучению естественной речи в ее контексте. Он может относиться к речи одного и более чем одного лица. Термин «речевое событие» (speech event) обозначает виды речи, такие, как урок, беседа за обеденным столом, выступление с трибуны или случайный разговор. Самой низкой ступенью анализа является «речевой акт» (speech act).

Кодовые правила о б я з ы в а ю т говорить *Вы* при обращении к старшему; маркирующие правила п о з в о л я ю т говорящему выражать свои дружеские чувства другому с помощью *ты*, хотя это не обязательно. У. Джо-хеган обнаружил, что кодовые правила содержат дискретные разветвляющиеся последовательности социальных селекторов. Эти правила могут быть представлены как альтернативные способы, обусловленные значением переменных селектора (подробнее см.: Ervin-Tripp 1968).

3. Выбор переменной часто означает выбор большей, чем отдельный лексический элемент, единицы речевого события, соответствующей коду, регистру или стилю. Говорящий, в распоряжении которого имеется репертуар из нескольких стилистических вариантов, в состоянии выбрать какой-либо вариант достаточно последовательно; природа этой последовательности и описывается с о ч е т а е м о с т ь н ы м и п р а в и л а м и.

Внутри данной единицы речи могут быть «вертикальные правила сочетаемости», которые определяют, например, следующую закономерность: если английский лексический материал вводится в русскую речь, то говорящий должен избирать тот производительный вариант, который фонологически является ближайшим к английскому. С другой стороны, А. Диболд (Diebold 1963) обнаружил, что речь греков, живущих в США, подчиняется «горизонтальным правилам сочетаемости», потому что лексическое переключение не сопровождается у них переключением фонологического кода. Такое утверждение, конечно, требует доказательств, действительно ли лексическое переключение имеет место, так как в репертуаре говорящего есть оба лексических альтернанта и английская словесная единица не просто заимствуется в греческий лексикон.

Хотя имеются многочисленные работы о лингвистическом и семантическом аспектах языковых заимствований, часто в их отношении к социальным условиям двуязычия (см., например, Weinreich 1953, Haugen 1953), до сих пор естественная непринужденная речь билингов не записана так, чтобы можно было детально исследовать ограничения на сочетаемость языковых элементов у различных групп билингов. Дж. Гамперц (Gumperz 1971), например, обнаружил, что при определенных социальных условиях в двуязычном обществе развиваются разновидности речи, которые конвергируют несколько уровней языковой системы, оставляя минимальную дифференциацию — вероятно, лишь в морфофонематическом оформлении словаря, — которая служит для разграничения отдельных кодов.

Место переключения лингвистически, конечно, не случайно. Наиболее удобным местом являются синтаксические границы фраз, но переключение может происходить также между логически выделенным подлежащим и сказуемым, глаголом и локативом, между именем и обстоятельственным оборотом, между предложением и союзом. Эти «точки» могут обладать особой провидаемостью (для переключения) под влиянием семантических факторов. Другие виды переключения могут восприниматься носителем языка как ошибки.

Диалектные ограничения в сочетаемости могут служить критерием для выбора между гипотезой о самостоятельности диалектов и интерпретацией свойственной диалекту вариативности как случайного явления. С. Митчел-Кернан (Mitchell-Kernan 1971) утверждает, что такая случайность свойственна определенным признакам английских глаголов в АЯН.

С. Гирц (Geertz 1960) в описании речевого этикета в одном из яванских языков, следуя С. Мартину (Martin 1964) в его описании японских и корейских форм вежливости, выделил два типа признаков с различными свойствами. Признаки первого типа управляются ограничениями на сочетаемость, обеспечивающими стилистическую согласованность в выборе языковых единиц; в яванском это касается выбора и слов, и флективных

морфем. С. Гирц назвал такие признаки «стилемами». Второй тип признаков — определенные необязательные маркеры, которые, создавая оттенки подчеркнутого уважения, варьируют по интенсивности в зависимости от частоты их употребления. Эти признаки образуют *говори́ческий словарь* (т. е. словарь элементов, служащих для выражения различных степеней почтения к собеседнику).

У. Лабов первым начал изучение стилистических вариаций в условиях опроса (Labov 1966). Он обнаружил, что не существует говорящих, пользующихся только одним каким-либо стилем, и утверждает, что стили могут быть ранжированы по степени внимания говорящих к своей речи. По его словам, стиль, который наиболее однороден по своей структуре и органично развивается вместе с развитием языка, это родной диалект (*vernacular*), т. е. это стиль, используемый в непринужденном общении между собой хорошо знакомыми людьми, в котором форме речи уделяется минимальное внимание. Он показал, что многие фонологические варианты систематически различаются при четырех различных уровнях контроля речи, и в дальнейшем обогатил эту работу исследованием варьирующих грамматических признаков в АЯН (Labov 1972a).

В дополнение к этому стилистическому параметру, описанному У. Лабовом, можно выделить такие разновидности речи в АЯН, как стиль разговоров с детьми (*baby talk register*) (Ferguson 1964, Snow 1972, Berko-Gleason 1973), профессиональные (Ervin-Tripp 1968), школьные (Houston 1969) и маркирующие (Mitchell-Kernan 1971) регистры.

4. Тот факт, что определенные речевые акты обладают строгой внутренней структурой, известен с тех пор, как было описано ритуальное поведение. В исследованиях по этнографии общения недавно были структурно исследованы другие речевые акты, в частности акты с жестко фиксированной системой альтернатив — например, общение при улаживании тяжб и конфликтов (Frake 1972), на общественных собраниях (Watson and Potter 1962, Frake 1964), в непринужденных рассказах (Labov 1972a, Watson 1973) и словесных перепалках (Labov 1972a). Некоторые исследования ориентированы на выделение типов речевых событий в различных группах (Kochman 1972, Abrahams 1970, Mitchell-Kernan 1971).

Некоторое время назад Э. Гофман (Goffman 1963, 1967) начал серию тонких этнографических описаний социального взаимодействия. Наиболее существенными исследованиями вербальной структуры общения являются работы Г. Сакса и Э. Щеглова (Sacks, Jefferson and Schegloff, в печати, Sudnow 1972) о начале и окончании акта общения, поочередности, связывающей взаимные высказывания говорящих, и о категориальных пра-вилах, которые появляются на повторяющихся фазах общения, таких, как вступление в беседу, опознавание говорящими лиц, которых они имеют в виду, выбор темы. Основная особенность этих работ заключается в том, что они используют материалы записанных на магнитофонную ленту неподготовленных заранее бесед и телефонных разговоров и тем самым выделяют структурные признаки для безусловно непреднамеренных речевых актов. Анализ компонентов, нормальных для каждого речевого акта, служит базой для систематического изучения альтернатив в рамках свободного контекста.

5. Если, как подчеркивал Д. Хаймс (Hymes 1972b), функция речи первична, то речевой акт (Searle 1969, Sherzer 1973, Sinclair 1972, Ervin-Tripp, в печати) становится основной единицей лингвистического анализа и первичен по отношению к способу выражения. Дж. Гамперц и Э. Герасимчук (Gumperz and Herasimchuk 1972) показали, что намерения говорящего приобретают форму выбора альтернативных «стратегий» общения, характеризующихся последовательностью языковых черт.

В пуэрториканской общине в Нью-Йорке испанский язык является более «непринужденным», чем английский, который для членов этой общины — язык выражения социальной дистанции и власти. Когда мать пуэрториканского ребенка, живущая в Нью-Йорке, говорит: *Ven acá, ven acá, come here*, т. е. переключается с родного языка на английский, — ее речь производит впечатление строгой команды. Когда же переключение идет в обратную сторону — с английского на родной, и она говорит: *Come here, come here, ven acá*, то это ласковое, интимное обращение. Такие переключения — основной признак речевого взаимодействия, даже одноязычного. Дж. Блом и Дж. Гамперц (Blom and Gumperz 1972) сравнили ситуативное переключение, которое обусловлено кодовыми правилами, весьма сходными с нормативными правилами обращения, и метафорическое переключение, которое, подобно маркированию, передает отношение говорящего.

6. Дж. Дор (Dore 1972) и М. Хэллидей (Halliday, в печати) первыми предприняли изучение функций языка и их речевой реализации у детей и получили систему альтернативных реализаций одного и того же речевого акта, соответствующим образом отражающую знание детьми социальных селекторов (Ervin-Tripp, в печати). Большое внимание уделяют исследователи использованию специального стиля, используемого при обращении старших детей к младшим (Schatz and Gelman 1973). Этот стиль отражает не только черты разговорного языка детей, но и понимание того, что у младшего слушателя может быть другой уровень языковых знаний. Старшие приспособливают свой словарь к знаниям слушателя, даже если участники общения различаются всего на четыре года. Иные изменения регистров речи были замечены С. Хаустоном (Houston 1969), Т. Уиксом (Weeks 1970) и У. Лабовом (Labov 1966, 1972a). Этнографические исследования социальной среды, в которой развивается детская речь, были выполнены М. Уорд (Ward 1971) и В. Хорнер (Horner 1968) отчасти под влиянием руководства по полевой методике исследования процесса овладения коммуникативной компетенцией (Slobin 1968). Обзоры этих сообщений опубликованы К. Казденом и С. Эрвин-Трипп (Cazden 1964, Ervin-Tripp 1973).

7. У. Лабов детально рассмотрел разнообразные методы социолингвистики и сам внес большой вклад в эту область — проанализировал неподготовленные диалоги между равными в социальном отношении говорящими (Labov 1972 c). Трудной проблемой является корреляция между описательными обобщениями и нормами. Одна из проблем при выработке суждений относительно «грамматичности» или уместности речевого факта заключается в том, что социолингвистические правила чувствительны к контексту, и, следовательно, суждения должны делаться относительно речевых сегментов, достаточно значительных для того, чтобы они могли рассматриваться как контекст. Интересным является подход У. Лэмберта (Lambert 1972), который записывал на пленку эмоциональные речевые сцены, различающиеся использованием личного местоимения. Наблюдателя просили выразить мнение по поводу того, кто мог так говорить, кто был адресатом, указать признаки говорящего, интерпретировать сообщение или указать на его приемлемость (Shuy and Fasold 1973, Lambert 1972).

8. Диссертация У. Лабова о белых носителях английского языка в Нью-Йорке (Labov 1966) внесла новшества, которые предвосхитили более поздние обследования. Эти новшества состояли в следующем: а) систематический отбор регистров, или стилей, различающихся по степени контроля говорящего над собственной речью; б) включение в обследование, помимо приемов «речевой провокации», вопросов, ответы на которые требу-

ют прямой оценки форм речи говорящего³; в) анализ варьирующих признаков; г) систематическое разбиение совокупности говорящих на группы. Хотя более поздние работы не всегда использовали вышеописанные методы, — собственно лингвистические и методы интервью получили широкое распространение при исследовании речи белых и негров в Вашингтоне (Fasold 1972), Детройте (Wolfgram 1969) и Нью-Йорке (Labov 1972a,b). Ч. Кесслер (Kessler 1972) внес еще одно новшество из изучения имплицитивных правил в креолизованных языках, показав, что в использовании существительных множественного числа наблюдается грация от менее литературных к более литературным формам⁴.

Обширные языковые обследования проведены в восточной Африке. Ряд новых лингвистических фактов был обнаружен в Эфиопии (Bender, Cooper and Ferguson 1972). Основная направленность этого исследования — измерение языкового расстояния и изучение распространенности языков, включая распространенность *linguas francas*, туземных языков и суперстратных вариантов языка. Проведены также обследования речи в семейном общении и при торговых сделках. В обследованиях, осуществленных как в Америке, так и в Африке, используются традиционные социальные переменные.

9. Существует большая специальная литература о двуязычных сообществах, включающая классические работы У. Вайнрайха (Weinreich 1953) и Э. Хаугена (Haugen 1953). Работа Дж. Рубин о Парагвае (Rubin 1968) и краткое сообщение Н. Тэйнер об Индонезии (Taner 1967) используют дополнительные, по сравнению с предыдущими исследованиями, социальные параметры. В работе Дж. Фишмана о пуэрториканцах в Нью-Йорке применены главным образом методы опроса (Fishman 1966). Большой вклад в теорию двуязычия внес Ч. Фергюсон статьей о диглоссии (Ferguson 1959), где он показал, что в определенных обществах более разнообразные варианты языка используются чаще для «высоких», официальных функций, чем для «низких», более непринужденных ситуаций, для домашнего общения. Примеры — Греция, Египет и немецкая Швейцария. Конечно, в этих случаях два набора языковых разновидностей соотносительны и обнаруживают сходства в их речевой реализации, которое свидетельствует, что их разделение в действительности менее жестко, чем в теории (Blom and Gumperz 1972). Дж. Фишман высказал мысль, что это противопоставление может быть обобщено для диглоссного двуязычия, при котором один язык представляет собой разновидность, используемую в официальных функциях. Это различие сходно с тем, которое обнаружено микросоциолингвистическими исследованиями ситуативно обусловленного речевого переключения. Сборник работ по двуязычию под редакцией Дж. Макнамары совмещает оба типа исследования (Macnamara 1967).

Под руководством Дж. Фишмана опубликована серия работ об устойчивости европейских языков в США (Fishman 1966). Статья Х. Клосса (Kloss 1966) подводит итог этим исследованиям: факторами, в наибольшей степени способствующими устойчивости языка, являются религиозно-общинное обособление, существование языковых островов, приходских

³ Тесты на субъективную реакцию — это такие тесты, при которых исследователь предлагает слушателям записи речи и просит их высказать мнение: а) о том, каковы признаки говорящих или б) является ли их речь социально приемлемой или грамматически правильной.

⁴ Имеется в виду различная степень отступления говорящих от норм литературного языка. При этом наблюдается такая закономерность: лица, допускающие в своей речи грубые нарушения нормы, безусловно могут использовать формы, являющиеся менее грубыми ошибками, но не наоборот. Так, например, русск. *выборба* (род. мн.) — более нелитературная форма, нежели *шоферба*. Человек, который говорит *выборба*, может употребить и *шоферба*, но обратное неверно (Примеч. переводчика).

(церковных) школ, доэмиграционная устойчивость языка и колонизация, предшествующая английской.

Пиджин- и креольские языки являются идеальным объектом для изучения социального воздействия на язык, так как здесь социальные потребности «подавляют» языковые нормы. Результатом одной из конференций по этим вопросам явились обширные собрания статей, изданные Д. Хаймзом (Hymes 1971) и, позднее, Джорджтаунским университетом (Bailey 1973). Д. Декамп (Decamp 1971), работающий на Ямайке, предположил, что в ситуации после креолизации языков, когда возможна социальная мобильность, креольская и суперстратная языковые разновидности, если они имеют одну и ту же лексическую базу, образуют континуум, подобный шкале Гутмана (Guttmann 1950)⁵.

Хотя созданная Б. Бейли (Bailey 1973) трансформационная грамматика креольского языка Ямайки была научным событием, она явилась скорее идеальной грамматикой для некоего гипотетического носителя языка, и поэтому в дальнейших исследованиях все большее внимание уделялось получению текстов, отражающих реальную речь указанного континуума, и изучению таких изменений речи в процессе ее порождения, которые, например, превращают пиджин в креольский язык (Sankoff and Laberge 1973).

10. Темой многих перечисленных выше работ является исследование факторов, которые способствуют конвергенции языковых разновидностей или, напротив, их дивергенции. Данные свидетельствуют, что а) одни только коммуникативные потребности не ведут еще к конвергенции. У. Лабов (Labov 1972a) показывает, что дети-негры могут ясно понимать литературные английские формы, которые они переводили, когда имитировали литературный английский язык. Он приводит различные способы измерения способности понимать другие языки или диалекты или реагировать на них без проявления в речи таких индивидов конвергенции своего и чужого языка или диалекта (Labov 1972c); б) высокая частота общения сама по себе не ведет к полной конвергенции, хотя длительное двуязычие может приводить к частичной конвергенции, сохраняющей символические различия (Gumperz 1971); в) как показали М. Хаммер, С. Полгэр и К. Зальцингер (Hammer et al 1965), индивиды, которые чаще общаются между собой, проявляют очень большую способность предсказывать речь друг друга. У. Уолфрэм сообщает, что те пуэрториканцы, живущие в Нью-Йорке, которые больше других социально взаимодействуют с неграми, говорят во многом подобно им (Wolfram 1971). У. Лабов утверждает, что индивиды, отчужденные от своих социальных групп, изолированы как социально, так и лингвистически: подростки, не являющиеся членами групп сверстников, по своей речи отличаются от подростков, образующих эти группы (Labov 1972a). При изучении речи населения маленького острова Марты Виньярд У. Лабов пришел к выводу, что фонологическое изменение в языке данного говорящего вызывается факторами социальной солидарности; г) стремление выделить себя в качестве представителя данной социальной общности может способствовать устойчивости различий в речи в зависимости от пола (Lakoff 1973), группы и других социальных переменных. Устойчивость языков в двуязычных обществах — хороший тому пример.

11. Среди аспектов языкового планирования, которые подвергаются обсуждению в американской социолингвистике, выделяются такие, как развитие форм речевого поведения, выбор одного из стилей языка в ка-

⁵ Имеется в виду предложенная Л. Гутманом шкала для измерения качественных различий между языковыми объектами, широко используемая в современных работах по социолингвистическому изучению двуязычия, смешения языков и т. п. (Примеч. переводчика).

честве образца при кодификации и стандартизации, развитие письменности, разработка и модернизация языковых подсистем (например, развитие технической терминологии) и совершенствование языковых функций.

Ч. Фергюсон рассматривает некоторые общие следствия языкового планирования (Fishman, Ferguson and Das Gupta 1968).

Большое внимание уделяется двуязычию и особенностям обучения негритянских детей (Andersson and Boyer 1970, Baratz and Shuy 1969, Cazden, John and Hymes 1972, и др.).

Перевел с английского Л. П. Крысин

ЛИТЕРАТУРА

Abrahams 1970: R. D. A b r a h a m s, Deep down in the jungle, в кн.: «Negro narrative folklore from the streets of Philadelphia», Chicago.

Andersson and Boyer 1970: T. A n d e r s s o n and M. B o y e r (eds.), Bilingual schooling in the United States, Washington.

Bailey 1973: B. B a i l e y, Jamaican creole syntax, New York.

Bailey and Shuy 1969: C. - J. B a i l e y and R. S h u y (eds.), New ways of analyzing variation in English, Washington.

Baratz and Shuy 1969: J. B a r a t z and R. S h u y (eds.), Teaching black children to read, Washington.

Bauman and Sherzer 1974: R. B a u m a n and J. S h e r z e r (eds.), Explorations in the ethnography of speaking, London.

Bender, Cooper and Ferguson 1972: M. B e n d e r, R. C o o p e r, C. F e r g u s o n, Language in Ethiopia: implications of a survey for sociolinguistic theory and method, «Language in society», 1.

Berko-Gleason 1973: J. B e r k o - G l e a s o n, Code switching in children's language, в кн.: «Cognitive development and the acquisition of language», ed. by T. Moore, New York.

Blom and Gumperz 1972: J. B l o m, J. G u m p e r z, Social meaning in the linguistic structure: code-switching in Norway, в кн.: «Directions in sociolinguistics», ed. by J. Gumperz and Hymes, New York.

Bright 1966: W. B r i g h t (ed.), «Sociolinguistics», The Hague.

Cazden 1964: C. C a z d e n, Subcultural differences in child language, «Merrill-Palmer quarterly», 10.

Cazden, John and Hymes 1972: C. C a z d e n, V. J o h n, D. H y m e s (eds.), Functions of language in the classroom, New York.

Cedergren and Sankoff 1974: H. C e d e r g r e n, D. S a n k o f f, Variable rules: performance as a statistical reflection of competence, «Language», 50, 4.

DeCamp 1971: D. D e C a m p, Towards a generative analysis of the post-creole continuum, в кн.: Hymes 1971.

Diebold 1963: A. D i e b o l d, Code-switching in Greek-English bilingual speech, «Georgetown University Monograph series on languages and linguistics», 15.

Dore 1972: J. D o r e, The development of speech acts in children, Ph. D. dissertation, New York.

Ervin-Tripp 1968: S. E r v i n - T r i p p, Sociolinguistics, в кн.: «Advances in experimental social psychology», ed. by L. Berkowitz, New York.

Ervin-Tripp 1973: S. E r v i n - T r i p p, Language acquisition and communicative choice, Stanford, California.

Ervin-Tripp, в печати: S. E r v i n - T r i p p, Wait for me, roller-skate: the structure of children's directives, в кн.: «Language socialization in context», ed. by J. J. Gumperz and J. C. Gumperz, New York.

Fasold 1972: R. F a s o l d, Tense marking in black English: a linguistic and social analysis, Washington.

Ferguson 1959: C. F e r g u s o n, Diglossia, «Word», 15, 2.

Ferguson 1964: C. F e r g u s o n, Baby talk in six languages, «American anthropologist», 66, 6, pt. 2.

Ferguson 1971: C. F e r g u s o n, Language structure and language use, Stanford, California.

Fishman 1966: J. F i s h m a n, Language loyalty in the United States, The Hague.

Fishman 1968: J. F i s h m a n (ed.), Readings in the sociology of language, The Hague.

Fishman 1971—2: J. F i s h m a n (ed.), Advances in the sociology of language, The Hague.

- Fishman 1972: J. Fishman, Language in sociocultural change, Stanford, California.
- Fishman, Ferguson and Das Gupta 1968: J. Fishman, C. Ferguson, J. Das Gupta, Language problems of developing nations, New York.
- Frake 1972: C. Frake, Struck by speech: the Yakan concept of litigation, в кн.: Gumperz and Hymes 1972.
- Geertz 1960: C. Geertz, Linguistic etiquette, в кн.: «Religion of Java», Glencoe.
- Geoghegan 1973: W. Geoghegan, Natural information processing rules: formal theory and applications to ethnography, сб. «Monographs of the language-behavior research laboratory», 3.
- Goffman 1963: E. Goffman, Behavior in public places, Glencoe.
- Goffman 1967: E. Goffman, Interaction ritual, New York.
- Greenberg 1971: J. Greenberg, Language, culture and communication. Stanford, California.
- Gumperz and Hymes 1964: J. Gumperz, D. Hymes, The ethnography of communication, «American anthropologist», 66, 6, pt. 2.
- Gumperz 1971: J. Gumperz, Language in social groups, Stanford.
- Gumperz and Herasimchuk 1972: J. Gumperz, E. Herasimchuk, The conversational analysis of social meaning: a study of classroom interaction, в кн.: «Monograph series on languages and linguistics», 25.
- Gumperz and Hymes 1972: J. Gumperz, D. Hymes (eds.), Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication, New York.
- Guttman 1950: L. Guttman, The basis for scalogram analysis, в кн.: «Measurement and predication», ed. by S. Stouffer et al., Princeton.
- Halliday, в печати: M. Halliday, Learning how to mean, «Foundations of language», ed. by E. Lenneberg.
- Hammer et al. 1965: M. Hammer, S. Polgar, K. Salzinger, Comparison of data-sources in a sociolinguistic study, Denver.
- Haugen 1953: E. Haugen, The Norwegian language in America, Bloomington.
- Haugen 1972: E. Haugen, The ecology of language, Stanford, California.
- Heath 1972: S. Heath, Telling tongues: language policy in Mexico, colony to nation, New York.
- Horner 1968: V. Horner, The verbal world of the lower-class three-year-old: a pilot study in linguistic ecology. Ph. D. dissertation, New York.
- Houston 1969: S. Houston, A sociolinguistic consideration of the Black English of children in northern Florida, «Language», 45, 4.
- Hymes 1964: D. Hymes (ed.), Language in culture and society, New York.
- Hymes 1971: D. Hymes (ed.), Pidginization and creolization of languages, London.
- Hymes 1972a: D. Hymes, The scope of sociolinguistics, «Monograph series on languages and linguistics», 25.
- Hymes 1972b: D. Hymes, Editorial introduction, «Language in society», 1.
- Kessler 1972: C. Kessler, Noun plural absence, в кн.: Fasold 1972.
- Kloss 1966: H. Kloss, German-American language maintenance efforts, в кн.: Fishman 1966.
- Kochman 1972: T. Kochman, Rappin and stylin out, Urbana, Illinois.
- Labov 1966: W. Labov, The social stratification of English in New York City, Washington.
- Labov 1972a: W. Labov, Language in the inner city: studies in the Black English vernacular, Philadelphia.
- Labov 1972b: W. Labov, Sociolinguistic patterns, Philadelphia.
- Labov 1972c: W. Labov, Some principles of linguistic methodology, «Language in society», 1972, 1.
- Lakoff 1973: R. Lakoff, Language and women's place, «Language in society», 1973, 2.
- Lambert 1972: W. Lambert, Language, psychology and culture, Stanford, California.
- Lieberson 1966: D. Lieberson (ed.), Explorations in sociolinguistics. «International journal of American linguistics», 44; «Sociological inquiry», 36, 2.
- Macnamara 1967: J. Macnamara (ed.), Problems of bilingualism, «Journal of social issues», 23, 2.
- Martin 1964: S. Martin, Speech levels in Japan and Korea, в кн.: Hymes 1964.
- Mitchel-Kernan 1971: C. Mitchel-Kernan, Language behavior in a black community, в кн.: «Monographs of the language-behavior research laboratory», 2.
- Rubin 1968: J. Rubin, Bilingualism in Paraguay, The Hague.
- Rubin and Shuy 1973: J. Rubin, R. Shuy (eds.), Language planning: current issues and research, Washington.

Sacks, Jefferson and Schegloff, в печати: H. Sacks, G. Jefferson, E. Schegloff. A simplest systematic for the organization of turn taking in conversation, «Language».

Sankoff and Laberge 1973: G. Sankoff, S. Laberge, On the acquisition of native speakers by a language, «Kivung. Journal of the linguistic society of Papua», New Guinea.

Schatz and Gelman 1973: M. Schatz, R. Gelman, The development of communication skills: modifications in the speech of young children as a function of listener, «Monograph of society for research in child development», 38, 5.

Searle 1969: J. Searle, Speech acts: an essay in the philosophy of language, Cambridge.

Sherzer 1973: J. Sherzer, Review of R. J. O'Brien, Linguistics: developments of the sixties-viewpoints for the seventies, «Language in society», 2.

Shuy 1972: R. Shuy (ed.), Sociolinguistics: current trends and prospects, Washington.

Shuy and Fasold 1973: R. Shuy, R. Fasold (eds.), Language attitudes: current trends and prospects, Washington.

Sinclair et al. 1972: J. Sinclair, I. Forsyth, R. Coulthard, M. Ashby, The English used by teachers and pupils, Birmingham.

Slobin 1968: D. Slobin, A field manual for cross-cultural study of the acquisition of communicative competence, Berkeley.

Snow 1972: C. Snow, Mother's speech to children learning language. «Child development», 43.

Sudnow 1972: D. Sudnow (ed.), Studies in social interaction, New York.

Tanner 1967: N. Tanner, Speech and society among the Indonesian élite: a case study of a multilingual community. «Anthropological linguistics», 9, 1.

Ward 1971: M. Ward, Them children: a study in language learning, New York.

Watson 1973: K. Watson, Sequential patterns in a speech event: talking story with Hawaiian children.

Watson and Potter 1962: J. Watson, R. Potter, An analytical unit for the study of interaction, «Human relations», 15.

Weeks 1970: T. Weeks, Speech registers in young children. в кн: «Papers and reports on child language development», Stanford, California.

Weinreich 1953: U. Weinreich, Languages in contact, New York.

Wolfram 1969: W. Wolfram, A sociolinguistic description of Detroit Negro speech, Washington.

Л. К. ГРАУДИНА, В. Э. СТАЛТМАНЕ

РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Русско-национальное двуязычие характеризуется целым набором местных вариантов русской речи, образующихся прежде всего благодаря специфике строя родного языка билингвов, а также благодаря сложному взаимодействию двух языковых систем в конкретной языковой ситуации.

Весьма своеобразную картину в этом плане представляют собой русско-латышские языковые связи. Изучение их (так же как и языковых контактов вообще) особенно интенсивно стало проводиться советскими лингвистами в последнее десятилетие. Отдельные же особенности русской речи рижан спорадически освещались в рижской печати на русском языке еще в прошлом веке.

В данном обзоре не затрагиваются работы, посвященные балто-славянским языковым отношениям в историческом аспекте, оставлены в стороне учебные пособия русского языка для латышей и латышского языка для русских¹, а также статьи методического характера², вопросы сопоставления русского и латышского языков³.

В обзоре анализируется только та литература, в которой непосредственно затронуты вопросы русско-латышских языковых контактов в социалингвистическом аспекте. Исследования в этой области разнообразны, многие из них связаны с именем М. Ф. Семеново⁴. Исследование русско-

¹ Например: N. V o g o l u b o v a, N. M i h a i l o v a, V. A v s t r i c a, K r i e v u valodas mācības grāmata pieaugušajiem, I, Rīgā, 1956; Б. Х. Векслер, Д. А. Магазник, О. Я. Салениек, Учебник латышского языка для взрослых, I, II, Рига, 1958—1959.

² См. работы: Г. И. Румянцева, Лексическая работа на практических занятиях по русскому языку со студентами-латышами, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», I, 16, 2, 1957; е е же, Принципы отбора русских слов и выражений, предназначенных для активного усвоения на практических занятиях по русскому языку в латышских группах, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 25, 3А, 1958.

³ М. Ф. Семенова, Сопоставительная грамматика русского и латышского языков, Рига, 1966; В. А. Юрик, Общая система залогов предикативных форм глаголов русского и латышского языков в сопоставительном плане, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 16, 2, 1957; е г о же, Категория числа имен существительных в русском и латышском языках, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 43, 1961; е г о же, Категория рода имен существительных в русском и латышском языках, «Вопросы методики преподавания практического курса русского языка в высших учебных заведениях Прибалтийских ССР», Даугавпилс, 1961; е г о же, Основные средства выражения грамматических значений в латышском и русском языках, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 54, 9А, 1964; С. Г. Бажанова, Некоторые значения ползузнаменательных полуслужебных слов в русском и латышском языках, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 25, 3А, и др. работы.

⁴ Интересные наблюдения о языковых контактах в Прибалтике высказаны Е. Д. Поливановым, учившимся в свое время в рижской Александровской гимназии (Е. Д. Поливанов, За марксистское языковедение, М., 1931, стр. 146, 150, 154 и др.). Характеристику и теоретическое осмысление современной лингвоституации в Латвийской ССР содержат также статьи: З. А. Толмачева, Т. А. Якубайтис, О структурно-типологическом изучении латышско-русских языковых контактов, «Изв. АН ЛатвССР», 1967, 5; Ю. М. Паршута, Об одном польском говоре на территории ЛатвССР, «Советское славяноведение», 1969, 1; историческим контактам русского и латышского народов посвящена книга Р. Пельше «Связи латышской и русской литературы», Рига, 1951.

латышских языковых контактов не ограничивается сферой литературного языка. Данные вопросы решаются также на диалектном материале⁵. Кроме этого, особое внимание уделяется ономастике⁶, поскольку на развитие этого периферийного пласта лексики исключительное влияние оказывает воздействие экстралингвистических факторов. Наиболее ярко многоплановость этой проблемы отражается в книге М. Ф. Семеновы «Русско-латышские языковые связи» (Рига, 1973)⁷, поэтому на ней остановимся более подробно.

В качестве объекта исследования в книге избрана речь русских, проживающих в Риге. Автор исходит из постулата, что городскую речь в принципе можно рассматривать как переходную стадию между литературным языком и его территориальными диалектами. Однако в данном случае речь идет о городе, состав жителей которого не одноязычен. Это обстоятельство модифицирует лингвоситуацию за счет наличия взаимоотношений между носителями разных языков. Возникают контакты иного порядка, в результате чего происходит взаимовлияние и взаимообогащение этих языков. Заслугой автора надо считать исторический подход к избранной теме. Обзор русского элемента в речи рижан автор начинает с появления его первых признаков, а именно — с «Рижской долговой книги» XIII в., в которой автором зарегистрировано около 400 русских антропонимов⁸, и доводит до наших дней.

Предлагаемая автором историческая периодизация материала обусловлена переменами лингвоситуации в Риге, вызванными изменением политической ситуации во всей стране.

Первый период: конец XVIII — начало XX в. Рига — крупный торговый и административный центр. Еще в период феодализма это был один из ганзейских городов. Городскую классовую верхушку в основном составляли немцы, а немецкий язык длительное время был господствующим в культурной, экономической и административной жизни города. Жившие в городе латыши, русские и др. занимали более низкое и бесправное положение, чем немцы. Естественно, что в таких условиях немецкий язык оказывал сильное влияние на речь местного разноязычного населения. Поэтому речь русских и латышей пестрела германизмами. Такое положение сохранялось даже после того, как Рига вошла в состав Российской империи в начале XVIII в. М. Ф. Семенова раскрывает источники формирования и миграции русского населения в Риге, которые

⁵ Необходимо отметить, что изучение русских говоров Прибалтики проводится координированно, см. работу «Материалы для словаря русских старожилческих говоров Прибалтики» (Рига, 1963), подготовленную диалектологами-русистами Литвы, Латвии и Эстонии. Помимо этого, следует назвать работы: М. Ф. Семенова, Русские говоры Латвийской ССР, «Труды Ин-та языка и лит-ры АН ЛатвССР», 8, Рига, 1964; е е же, О региональном атласе русских старожилческих говоров Прибалтики, «Диалектологический сборник», Рига, 1968; е е же, Русские говоры Латвии, «Русский фольклор в Латвии», Рига, 1972; «Материалы для словаря русских говоров Латвийской ССР», I—IV, Рига, 1970—1974; е е же, Об одной особенности русских говоров Латгале, «Труды Ин-та языка и лит-ры АН ЛатвССР», 6, Рига, 1958.

⁶ См. работы этого направления: М. Ф. Семенова, Восточнославянско-латышские языковые связи по данным топонимики, «Вопросы географии», сб. 70, М., 1966; е е же, Русские топонимы в латышском окружении, «Уч. зап. Латв. гос. ун-та», 83, 1967; е е же, Русские личные имена в средневековых иноязычных документах, «Ономастика», М., 1969; е е же, Современные личные имена в г. Риге, «Личные имена в прошлом, настоящем и будущем», М., 1970; е е же, Названия улиц в городах Латвийской ССР, «Этнография имен», М., 1971, и др.

⁷ См. также статьи: М. Ф. Семенова, Славяно-латышские этнолингвистические отношения, «Уч. зап. Даугавпилсского пединститута», 10, 6, 1964; е е же, Русско-латышские словари XVIII в., «Вопросы языка и литературы», Рига, 1966.

⁸ Подробнее об этом см.: М. Ф. Семенова, Русские личные имена в средневековых иноязычных документах.

обусловили специфику его речи. С одной стороны — это русские чиновники, военные, купцы, ремесленники, рабочие. С другой — это старообрядцы, которые в конце XVIII в. компактно расселились по всей восточной территории Прибалтики, а затем и в Риге, причем Рига становится старообрядческим центром всей Прибалтики. Будучи обособленными и консервативными по своему бытовому укладу и религии, старообрядцы устойчиво сохраняли и свои исконные языковые особенности. Русский язык в условиях социального расслоения русского населения Риги оставался лишь средством общения в кругу самих русских, в семье и в русском коллективе.

Особым достоинством краткой и лаконичной книги М. Ф. Семеновой можно считать ее обстоятельную документированность, как в плане освещения фактов самой истории, жизни общества, так и в плане освещения фактов языка. Что касается последних, то для того, чтобы получить представление о специфике русской речи каждого исторического периода, автор пользуется самыми различными источниками, включая лингвистическую литературу. К ним можно отнести привлекающую внимание автора книгу Оттона Гуна «Топографическое описание города Риги» (СПб., 1804)⁹, где указывается, что в 1787 г. в Риге было 3205 русских. Здесь же приводится список русских слов (521) с переводом их на латышский язык. Привлекаются также учебные пособия и словари русского языка, изданные в обозреваемое время в Риге и предназначенные для обучения латышей и немцев русскому языку. Особый интерес представляют разрозненные в русской печати того времени и разысканные автором спорадические заметки любителей словесности, характеризующие русскую речь рижан. Тщательно изучен автором язык русских газет, издаваемых в Риге: «Российское еженедельное издание в Риге» (1816) и «Рижский вестник» (1869—1915).

Проанализировав лингвистический материал, приведенный в книге М. Ф. Семеновой и отражающий особенности русской речи рижан этого периода, можно констатировать следующее: в речи рижан, как латышей, так и русских, влияние немецкого языка сказалось лишь в области словообразования и синтаксиса. Что касается лексических заимствований, то они из немецкого языка вошли одновременно как в латышский, так и в русский языки. Исходя из фонетической близости германизма в русском и латышском языках, можно предположить, что некоторые германизмы пришли в русский язык не непосредственно из немецкого, а через фильтр латышского языка. Латышское влияние на русскую речь менее заметно. Что касается русских диалектных особенностей, то в печатную русскую речь, отражающую в целом речь интеллигенции, они проникали в значительно меньшей мере. Речь русского рабочего населения Риги подвергалась воздействию немецкого, латышского языка и местных русских говоров.

В т о р о й п е р и о д, весьма своеобразный — 20 и 30-е годы XX в. Он слабо освещен в научной литературе. Языковые традиции этого периода во многом продолжают прошлое. Однако изменившийся политический статус в стране радикально меняет и лингвоситуацию. Это объясняется тем, что Рига в течение более 20 лет (1918—1940) была столицей буржуазной Латвии и латышский язык стал государственным. Вследствие этого латышский язык значительно расширил свои функции, интенсивно развивался, совершенствовался, нормировался: создавалась необходимая терминология и шел процесс постепенного освобождения от германизмов

⁹ Подробнее о книге О. Гуна см.: М. Ф. Семенова, Русско-латышские слова-ри XVIII в., «Вопросы языка и литературы», Рига, 1966.

и русизмов. Русский язык в это время, как язык национального меньшинства, продолжает оставаться языком внутреннего общения в семье, в школе, в русском коллективе. В этот период в Латвии законом было запрещено в публичных местах разговаривать не по-латышски. Русско-латышское двуязычие становится односторонним, так как обучение русскому языку в латышских школах с середины 30-х годов прекратилось. Поэтому речь русских рижан подверглась значительному влиянию латышского языка. Русская речь в Риге почти четверть века занимала как бы островное положение. Однако русские рижане, особенно их рабочая часть, были тесно связаны, хотя и не непосредственно, с ближайшим сельским русским старожильческим населением Латгалии, безземельным и малоземельным, которое шло в Ригу на заработки и было носителем местных русских говоров¹⁴.

Кроме того, после революции в Ригу хлынул довольно значительный поток русских эмигрантов из разных мест России. Это была главным образом интеллигенция, которая здесь выступала как хранительница классического русского литературного языка.

Необходимо отметить, что два периода существования русской речи рижан освещены М. Ф. Семеновой в неодинаковой мере. Объяснить это можно несоразмеримой длительностью этих периодов (значительной длительностью первого и краткостью второго), а также крайне скудными сведениями о русской речи второго периода в Латвии. Кстати, М. Ф. Семенова, сама прожившая этот период в Латвии, принесла бы большую пользу науке, если бы дала более развернутый и подробный анализ русской речи рижан именно этого периода. Важно это потому, что судьба русской речи в Риге (и шире во всей Латвии) в течение всего советского этапа развития (тем более самого непосредственно предшествующего периода) обусловила характер местного варианта русской речи в Латвии в советское время.

Но в этот этап языковой жизни в Латвии начался после ее воссоединения с Советским Союзом в 1940 г. Проблема языковой действительности в Риге, начиная с 1940 г., может рассматриваться лишь на широком историческом, социально-экономическом и политическом фоне. В условиях Советской Латвии наблюдалось тесное языковое взаимодействие русского и латышского языка, сопровождавшееся взаимными влияниями, различного рода интерференцией. Учитывая особенности истории Латвии, М. Ф. Семенова после 1940 г. вычленяет следующие периоды: 1) 1940—1941 гг. — Советская Латвия, 2) 1941—1944 гг. — война и оккупация, 3) конец 40-х — 50 и 60-е годы — послевоенная Советская Латвия.

В предвоенный период после свержения ульманисовской буржуазной диктатуры шло интенсивное обогащение местной русской речи новой лексикой, связанной с советской действительностью. На страницах местных русских газет, в частности, таких рижских газет, как «Трудовая газета» «Пролетарская правда», «Советская Латвия», книжно-канцелярские стили языка местной русской интеллигенции скрестились с элементами живого русского литературного языка, носителем которого была приехавшая в Латвию русская и латышская интеллигенция, находившаяся во времена Ульманиса в политической эмиграции в Советском Союзе. В области лексики некоторых разрядов сразу наметились сдвиги: ушли в пассивный запас названия прежних денежных единиц (*лат, сантим*), старые названия государственных учреждений, общественных организаций и лиц (*сейм, полиция, айсарги, мазпулки*), обозначения административно-терри-

¹⁴ Подробнее об этом см.: М. Ф. Семенова, О русских старожильческих говорах в Латгалии, «Русский фольклор в Латвии».

ториальных единиц (*волость, уезд*) и т. д. На смену пришла новая лексика, отражавшая появление иного уклада общественной жизни.

Интересно, что входившие в обиход аббревиатуры еще не воспринимались как отдельные слова, а лишь как инициальные сокращения, как видно из написания этих слов, например, *С. С. С. Р., Ц. К., Л. К. П., В. Е. Ф.* Образованная прослойка городского населения владела несколькими европейскими языками, и эта черта обуславливала отбор языковых средств. Так, в стилистических рядах вариантов предпочиталось интернациональное слово его русскому эквиваленту: *аэроплан* (самолет), *гардероб* (одежда), *статут* (устав), *мануфактура* (материал, ткань), *абсолюент* (выпускник), *полир* (прораб) и под.

Появилась необходимость транслитерации географических названий, городских микротопонимов (названий улиц, бульваров, парков), собственных имен и фамилий. Новизна, неустойчивость литературных норм требовала унификации. О непоследовательностях в передаче микротопонимов М. Ф. Семенова пишет следующее: «Иногда переводится только определительная часть наименования на русский язык, например: Большая Грединиеку иела. Дальнейший этап в обозначении названий сводится к тому, что апеллятивы уже переводятся на русский язык и в газетах появляются такие наименования, как например, Аудею улица, Матиса улица, Марас озеро, Киш-озеро, Аспазияс бульвар, Краму улица, Шкуню улица... Такой неудобный для русского языка, но характерный для латышского языка порядок слов со временем изменяется, и апеллятив переносится на первое место, предшествуя микротопониму, например: улица Блаумая, ул. Кр. Барона, бульвар Аспазияс. Однако в некоторых случаях необоснованно подвергается изменению и сам микротопоним, приобретает русскую флексию, например, бульвар Аспазии, б. Райниса» (стр. 46).

Автор отмечает целый ряд интересных явлений взаимовлияния в этот период — в лексике, словообразовании и синтаксисе. Например, явление гипертрофии родительного падежа под влиянием латышского языка (*около Риги* вм. *Рижский округ*, *общество купцов* вм. *купеческое общество*), обилие страдательных конструкций, неуместных с точки зрения современных литературных норм (*общество предвидено организовать, оглашение покрыто рукописками, будет приступлено к созданию* и под.). Появление этих конструкций неслучайно. Имеются их соответствия в латышском языке. К тому же само преподавание русского языка в предшествующие годы было весьма несовершенным. Автор приводит интересный факт по поводу того, что «в школьных грамматиках русского языка для Прибалтийских школ в XIX в. приводятся правила, образцы и упреждения на употребление форм страдательного причастия в роли сказуемого от любого глагола, например: *я двиган, был, буду двиган*» (стр. 54). Именно в этих конструкциях можно заметить реликтовые формы, порожденные латышско-немецким двуязычием XVIII—XIX вв.

Процесс тесного языкового взаимодействия русского и латышского языков был прерван Великой Отечественной войной. В годы оккупации с 1941 по 1944 г. контакты приостановились. После оккупации наблюдается интенсивнейший расцвет культурных, экономических, политических и языковых связей. С этого времени начинается наиболее длительное и всестороннее языковое строительство. К 60-м годам, по замечаниям М. Ф. Семеновой, устанавливается контактное двуязычие, отчасти двустороннее, отчасти одностороннее. «В наше время, — пишет автор, — в советском городе Риге двуязычно только старшее поколение русских местных старожилов, а младшее и среднее при большой миграции населения, в основном, одноязычно. (Ср., по данным А. И. Холмогорова,

только 20% русских рижан знают латышский язык). Латыши, в основном, все двуязычны (98% знают русский язык, — по Холмогорову). Чаще всего двуязычны представители интеллигенции» (стр. 99)¹¹.

В результате взаимодействия языков сложился местный вариант русского литературного языка, причём автор подчёркивает, что влияние локально ограничено — оно сильнее в местной латышской и русской речи, чем в языках в целом.

М. Ф. Семенова отмечает индивидуальность, неповторимость языковой действительности в Риге в сравнении с другими городами Латвии — Даугавпилс более русский город по своим традициям и языку, Лиепая — более латышский. К сожалению, автор ограничивается этой общей характеристикой, не раскрывая подробно местного своеобразия речи каждого из названных городов.

Более подробно характеризуется стилистическое и социальное расслоение рижской речи. В устной речи рабочей части населения Риги сказывается влияние диалектной стихии. Наиболее стойкими, в частности, оказались диалектные произносительные черты. Соседний белорусский язык поддерживает эти черты.

В письменных стилях речи, как показывает язык газет, переводов латышских художественных произведений и популярных изданий на русский язык, нормы современного литературного языка соблюдаются в наибольшей степени: воздействие латышского языка сказывается в области лексики, словообразования и синтаксиса, и особенно, в области стилистического использования слов, форм и конструкций. Это проявляется прежде всего в нарушениях норм сочетаемости (*радостная благодарность, он получил знать, на новой неделе, неутомимую энергию показывают* и под.). В области лексики происходят непосредственные заимствования некоторых обозначений национальных понятий, предметов и реалий, которые не имеют русского эквивалента. Например, *пура* (мера веса в 40 кг), *кала* (мера мелкой рыбы, 30 штук), *рабарбар* (ревень), *путра* (жидкая каша, похлебка), *караш* (сорт хлеба), *лиго* (название народного праздника), *дайны* (род народных песен), *сакта* (национальная брошь) и др.

Из словообразовательных средств, устойчивых в местной письменной речи, может быть приведена широко распространенная суффиксация, образование отглагольных имен существительных на *-тель* со значением деятеля и на *-ние* со значением действия в связи с влиянием аналогичных отглагольных образований в латышском языке на *-tājs* и *-šana* (*мокатель ядра, оформитель витрин, топтатель* и под.)¹².

Особый интерес представляют устные формы языкового существования русского языка в Риге. Характеристика местной городской речи дается М. Ф. Семеновой в социологическом аспекте. Источником послужили записи живой речи в различных ситуациях: устный диалог, монолог, выступление, доклад, сообщение, радио- и телепередачи. Обследованы разные группы населения — рижские русские старожилы; местные жители, долгое время прожившие в русской языковой среде и вернувшиеся на родину только после войны; латыши, хорошо владеющие русским языком. Интересные выводы получены относительно произношения местной русской интеллигенции: обнаруживается сильное влияние книжной речи, наблюдается употребление диалектных элементов. В то же время непосредственное влияние латышского языка не сказывается. В русской речи

¹¹ См. также: А. И. Холмогоров, Конкретно-социологические исследования двуязычия, сб. «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972.

¹² Подробно явление грамматических межязыковых аналогий рассмотрено в работе М. Ф. Семеновой «Сопоставительная грамматика русского и латышского языков».

латышей сохраняются наиболее типичные особенности их родного произношения.

Языковые нормы русской речи в Латвии варьируют в зависимости от возраста говорящих, их социального положения и места жительства.

Проблема изучения русского языка как средства межнационального общения в настоящее время получает широкое освещение в научной литературе¹³. Теоретическое осмысление проблемы русско-латышских языковых связей является результатом исследования обширного фактического материала, освещенного и в историческом, и в социологическом аспектах.

¹³ См.: Ю. Д. Дешернев, И. Ф. Протченко, Развитие языков народов СССР в советскую эпоху, М., 1968; Ф. П. Ф и л и н, Современное общественное развитие и проблема двуязычия, в кн.: «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972. В Институте русского языка АН СССР ведется работа над темой «Русский язык как средство межнационального общения».

РЕЦЕНЗИИ

Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., «Прогресс», 1974. 448 стр.

Выпуск русского перевода рецензируемой книги (в оригинале она издана издательством Галлимар в 1966 г. под заголовком «Problèmes de linguistique générale») — важное событие в нашем языкознании. В эпоху развивающихся международных контактов между учеными ознакомление возможно широких кругов научной общественности с наиболее значительными работами ученых других стран совершенно необходимо. Следует также добавить, что выбор книг для популяризации у нас далеко не всегда был столь удачен. В частности, нередко создавалось ложное впечатление, что в зарубежном языкознании усилия ученых направляются главным образом на «новые» направления, имеющие к языкознанию лишь весьма отдаленное отношение.

Книга состоит из шести разделов, причем к двадцати восьми статьям французского подлинника в русском издании добавлено еще четыре. Разделы эти следующие: 1) Лингвистика на пути преобразований (Transformations de la linguistique); 2) Проблемы коммуникации (La communication); 3) Языковые структуры и их анализ (Structures et analyses); 4) Синтаксические функции (Fonctions syntaxiques); 5) Человек в языке (L'homme dans la langue); 6) Лексика и культура (Lexique et culture).

В кратком предисловии Э. Бенвенист следующим образом определяет основную проблематику книги: «отношение между биологическим и культурным аспектами языка, между субъективным и социальным, между знаком и предметом, между символом и мыслью, а также приемы и методы внутреннего анализа языка» (стр. 17). «Представители других наук, — подчеркивает автор в предисловии, — осознавшие важность языка для их области знания, увидят, как лингвист подходит к некоторым вопросам, возникшим и перед ними, и, возможно, заметят, что организация языка определяет все семиотические системы» (там же). В другом месте «Предисловия» Э. Бенвенист делает следующие замечания, имеющие важное методо-

логическое значение: «Следует, впрочем, всегда помнить ту истину, что рассуждения о языке плодотворны только тогда, когда они опираются на данные конкретных языков. Изучение этих реальных, данных нам в опыте исторических систем, какими являются отдельные языки, — единственно возможный путь к пониманию общих механизмов языка и его функционирования» (там же).

Первая часть была задумана автором как паворама «исследований, осуществленных в последнее время в области теории языка», и тех перспектив, которые они открывают. Поскольку она состоит из статей, опубликованных между 1954 и 1963 гг., — «Взгляд на развитие лингвистики» (1963), «Новые тенденции в общей лингвистике» (1954), «Соссюр полвека спустя» (1963) и «Понятие структуры в лингвистике» (1962) — совершенно ясно, что главное здесь — не вопрос «новизны» (весьма изменчивой и нестойкой категории), а компетентное, глубокое и ясное изложение тех направлений в лингвистике, которые открыли перспективы дальнейшего развития (или не смогли этого сделать, несмотря на кажущееся наличие многообещающих оригинальных идей). Постоянное расширение сферы лингвистических исследований, включение в круг лингвистического исследования все новых и новых языков земного шара, шло рука об руку с беспримерным развитием лингвистической методологии, которая была поднята Соссюром, Сепиром, Мейе, Блумфилдом, Трубецким, Якобсоном, Куриловичем, Вальдресом на уровень «предлюди к обществуному переосмотру ценности, который охватит в конечном итоге все науки о человеке». Лингвисты перестали рассматривать категорию близкой им семьи языков как универсальную модель, поскольку оказалось, что индоевропейский тип является скорее исключением, чем правилом, и что только живые языки предоставляют в распоряжение исследователя факты, достаточно очевидные для того, чтобы можно было проводить исследование с исчерпывающей полнотой.

По мере огромного увеличения языкового материала все расширялось и увеличивалось число различных филологических традиций и соответствующих метаязыков, различие между которыми нередко доходило до необходимости «перевода» с одного метаязыка на другой. Даже в пределах одного «западного мира» трудно было достигнуть взаимопонимания: как объединить и примирить, например, эмпиризм американского дескриптивизма с логическим идеализмом глоссематики или попытками свести языкознание к некоторой разновидности математической логики? Э. Бенвенисту уже в то время была совершенно ясна неприменимость логического подхода, так как логики отвергают предмет изучения языковедов — естественный человеческий язык, и стремятся создать полностью символическую систему знаков.

Попытки применить структурные методы к изучению «аппарата культуры» не учитывали (со свойственным «новым» направлениям незнанием истории нашей науки) классической социолингвистики. Очень жаль, что здесь Э. Бенвенист не проявляет необходимого знакомства с работами советских языковедов. Поэтому, по его мнению, мало что было сделано в этом направлении, несмотря на попытки А. Sommerfeldta. Но, конечно, совершенно иначе обстояло дело в СССР, где не переставала вестись напряженнейшая исследовательская работа именно в таких областях, как «язык и общество», «язык и мышление». Ошибки в этом направлении последователей Н. Я. Марра были вызваны неясностью в вопросе о базе и надстройке, о месте языка в системе общественных отношений. Однако очень важным является указание Э. Бенвениста на то, что уже в 1906 г. А. Мейер разъяснял необходимость изучения языков в неразрывной связи с общественной жизнью и социальным устройством соответствующих языковых коллективов.

В статье «Взгляд на развитие лингвистики» автор с сожалением отмечает, что работы, претендовавшие на то, чтобы называться лингвистическими, все больше переполняются специальной терминологией. Именно поэтому трудно читать сочинения лингвистов, но еще труднее понять, чего они хотят, потому что языковые факты становятся лишь материалом для алгебраических схем или служат лишь аргументами в бесплодных спорах о методах. Таким образом возникает своеобразная изоляция языкознания по отношению к другим гуманитарным наукам.

Какой же выход был предложен Бенвенистом? Необходимо различать естественный человеческий язык как предмет языкознания — науки о языке (science du langage) и общую семиотику — науку о языках (science des langues), которая включает разнообразнейшие гуманитарные дисциплины. Именно

отдельными языками и занимается языковед, а языкознание в подлинном смысле слова есть прежде всего теория языков. Однако эти два направления исследования часто переплетаются и в конце концов смешиваются друг с другом, поскольку бесконечно разнообразные проблемы, связанные с отдельными языками, объединяются тем, что на определенной ступени обобщения всегда приводит к проблеме языка вообще.

Э. Бенвенист делит историю языкознания на три фазы: 1) от истоков древнегреческой философии до XVIII в. язык оставался предметом спекулятивных рассуждений, а не объектом наблюдения; 2) начало XIX в. — «генетика» языков; 3) 1916 г. — сосюрская революция: философия языка, не эволюция языковых форм становится объектом лингвистики, а прежде всего имманентная реальность языка. «Лингвистика стремится стать наукой — формальной, строгой, систематической» (стр. 23). Отсюда идеи системы и структуры, оппозиций и различительных признаков — лексемы, морфемы, фонемы, «меризмы», которым структура придает их «смысл», или функцию.

Идеи Соссюра сливались с идеями других теоретиков. Так, в России Бодуэн де Куртэнэ и его ученик Крушевский независимо от учения Соссюра создали новую концепцию фонемы. Мысль Э. Бенвениста о зависимости идей Соссюра от идей русских языковедов полезно несколько развить, приведя ссылку на известную работу Е. Поливанова «За марксистское языкознание»: «...в деле разработки общелингвистических проблемские и польские ученые предшествующего поколения не только были наравне, но и намного опередили современных им, да и современных нам западноевропейцев (позволю себе привести один пример: посмертная книга F. de Saussure'a, которая многими была воспринята как некое откровение, не содержит в себе буквально ничего нового в постановке и разрешении общелингвистических проблем по сравнению с тем, что давным давно уже было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой»¹.

Лингвистический архив де Соссюра не перестает изучаться, причем уже внесены многие существенные коррективы в те далеко не всегда правильные представления, которые были вынесены из записей А. Ридлингера, отредактированных Ш. Балли и А. Сешез. Это большая и особая тема, на которой мы не имеем возможности остановиться в настоящей рецензии. Особого внимания заслуживает одно высказывание в известной работе Соссюра «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-euro-

¹ Е. Поливанов, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 3—4.

реппенс», цитируемое Э. Бенвенистом в статье «Сосюр полвека спустя». Это высказывание Сосюра можно считать «эпиграфом ко всему творчеству» не только Ф. де Сосюра, но и самого Э. Бенвениста: «И если мы все же отважимся на это вторжение в наименее исследованные области (индоевропейского языкознания. — О. А., т. III.), хотя заранее убеждены, что наша неопытность будет не раз заводить нас в тупик, то это потому, что для всякого, кто предпринимает подобные исследования, братья за такие вопросы — не дерзость, как часто говорят, а необходимость; это первая школа, которую надо пройти, потому что дело здесь касается не трансцендентных рассуждений, а поисков первичных элементов, без которых все языко, все произвольно и недостоверно» (стр. 49).

Вторая часть — «Проблемы коммуникации» — состоит из пяти статей: «Семнология языка», «Природа языкового знака», «Коммуникация в мире животных и человеческий язык», «Категории мысли и категории языка», «Заметки о роли языка в учении Фрейда».

В этой части Э. Бенвенист в значительной мере исправляет и дополняет Сосюра: языковой знак отнюдь не произволен, он необходим. Недоразумение возникло из-за недостаточного четкого различения «обозначаемого» (*le signifié*) и «обозначающего» (*le signifiant*). Язык свойствен только человеку. Животные общаются при помощи сигнального кода. Мысль не может существовать ни до языка, ни независимо от него. Это положение доказывается путем рассмотрения ряда глагольных категорий древнегреческого языка, причем Э. Бенвенист приходит к выводу, что архаические категории были не более, чем «понятийным отражением одного определенного состояния языка». Дальнейшее подтверждение и доказательство обеспечивается детальным анализом греческого *εστι* в сопоставлении с выражением соответствующего содержания в языке эвэ. Бенвенист показывает, что «многочисленные функции глагола „быть“ в греческом языке представляет собой особенность индоевропейских языков, а вовсе не универсальное свойство или обязательное условие для каждого языка» (стр. 113). Он стремится показать, что «сама структура греческого языка создавала предпосылки для философского осмысления понятия „быть“» (стр. 114). Но современная эпистемология видит в мышлении «потенциальную и динамическую силу, а не жесткие структурные рамки для опыта» (там же). Вот почему «прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка» (там же).

Как уже было сказано, в русском переводе добавлено по сравнению с фран-

цузским подлинником четыре статьи. Одна из них — «Семнология языка» (*Sémiologie de la langue*, «*Semiotica*», 1969, 2). Думается, что включение в книгу именно этой статьи вряд ли было целесообразным. Во французском и английском изданиях этот (второй) раздел книги начинается с работы 1939 г., написанной автором для известной дискуссии о природе лингвистического знака. Последующие две статьи — 1952 и 1968 гг. — обеспечивают историческую и логическую последовательность. Публикация же на первом месте работы 1969 г., в которой разбирается несовместимость идей Сосюра и Пирса с учетом семиотических выкладок совсем другой эпохи, совершенно искажают перспективу других частей раздела.

Хотя, на первый взгляд, теория Фрейда может показаться слишком специфическим случаем, чтобы ее можно было рассматривать в данном разделе, она является очень подходящим продолжением темы, поскольку психоанализ основывается на изучении «речевого» и «мифотворческого» поведения больного. После тщательного изучения техники психоанализа (включая ее возникновение и развитие) Э. Бенвенист приходит к выводу о том, что необходимо 1) сформулировать антиномию «язык — речь» заново как «язык — речь — рассказ» (язык — это структура, которая является принадлежностью всего общества и которую речь использует в индивидуальных и intersубъективных целях, придавая ей таким образом новый и сугубо индивидуальный облик) и 2) пересмотреть принципы сравнительно-исторической семантики. Э. Бенвенист указывает на то, что Фрейд не сумел понять, что «*Gegensinn der Urworte*» К. Абеля (идею «противоположных значений праслов») далеко не всегда можно признать правомерной. Рассматривая формы и значения, последовательно зафиксированные в каждую эпоху, и опираясь на регулярные соответствия, Э. Бенвенист показывает, что в середине века и король, и прокляженный могли быть названы одним и тем же латинским словом *sacer*, из чего, однако, отнюдь не следует, что в этом слове заключено два противоположных значения. Как бы ни было различно общественное положение короля и прокляженного, оба они были в буквальном смысле «неприкасаемые». То же относится к таким словам, как лат. *altus* «высокий; глубокий», англ. *without*, нем. *wider* и т. п.

Не менее интересна и убедительна критика понимания Фрейдом проблемы отрицания. «Язык сновидений» представляет собой вид риторики. Сопоставлять его с языком можно только на стилистическом (метасемiotическом) уровне. Если же его рассматривать как таковой, то его отличительными чертами являются следующие: 1) он универсален. 2) харак-

теризуется множественностью обозначающих при единичности обозначаемого и 3) синтаксически одомомерен, причем порядок следования выражает отношения причинной зависимости.

Часть III — «Языковые структуры и их анализ» — состоит из четырех статей: «Уровни лингвистического анализа»; «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта»; «Логические основы системы предлогов в латинском языке»; «К анализу падежных функций: латинский генитив». Таким образом, эта часть построена по тому же самому принципу: от общего к частному, причем частное служит иллюстрацией и подтверждением общего.

«Структура» — это термин, который приобрел теоретический и в некотором роде программный смысл и получил широкое распространение в лингвистике (особенно произведенные от него прилагательные). Этот термин никогда не употреблялся Соссюром и впервые появился в 1929 г. в Пражских тезисах (Э. Бенвенист в своем историческом обзоре рассматривает только работы, написанные по-французски). В. Брэндалл дал термину «структура» философское осмысление и пытался связать его с «Gestalt-теорией» (ссылаясь на определение Клаппарда). Л. Эльзлев рассматривал структуру как автономное единство внутренних зависимостей. А. Мартини считает, что под этим названием объединяются школы, весьма различные по своему духу и по своим тенденциям. Сам Э. Бенвенист определяет структурную лингвистику как такое направление в языкознании, которое выявляет строение языковой системы через отношения между элементами как в речевой цепи, так и в парадигмах форм.

В оригинале дальше помещена статья, посвященная классификации языков (*La classification des langues*). То, что в русском переводе она вообще изъята, представляется нам непонятным и необъяснимым. Для раздела «Structures et analyses» она, как показывает Э. Бенвенист, совершенно необходима, потому что именно через попытки классификации (как бы они ни были наивны и непоследовательны в начале) и началось развитие научного языкознания. Понятно, что по мере того, как принципы и методы, применявшиеся только к индоевропейской группе языков, охватили все разнообразие существующих типов и систем, стало возможным развитие принципов и идей, развитие и умножение классификационных систем. Однако применение математических методов — исчисление вероятностей и статистическая обработка междуязыковых отношений — не дали существенных результатов. Не оказались продуктивными также и попытки перевода генетических классификаций в типологические и наоборот. Сейчас, когда от времени написания рассматриваемой статьи

нас отделяет 20 лет, становится ясно, что все большее число исследователей все более настойчиво и определенно возвращается к основному языковедческому принципу, который напрасно старались отвергнуть представители символической логики, а именно: нет лингвистики, кроме лингвистики конкретных фактов, и язык не знает другой онтологии, кроме его фактических проявлений. Именно потому, что сам Э. Бенвенист всегда в своей деятельности руководствовался именно этим принципом, его работы сохраняют свое значение по прошествии очень долгого времени в отличие от различного рода модных работ, не имеющих по существу никакого права называться работами языковедческими. Именно конкретными глубокими и методологически безупречными исследованиями ценна рецензируемая книга.

Перечислим те из них, которые относятся к данному разделу:

1. *pro* и *prae* в латинском языке, которые традиционно рассматривались как синонимы, на самом деле оказываются глубоко различными по значению, что становится совершенно ясным при обращении к реальности их употребления в речи, а не к общесемантическим абстракциям: *pro* значит «вне», «снаружки», в то время как *prae* значит «в передней части» объекта.

2. Определяя значение латинского родительного падежа, нельзя исходить ни из тридцати различных случаев употребления генитива, представленных в традиционных классификациях, ни из восьми случаев, предложенных де Гроотом. И здесь следует исходить из реальности речевого общения, которая показывает, что латинский генитив представляет собой транспозицию высказывания, содержащего глагол в личной форме, управляющий либо аккузативом, либо номинативом. Все другие употребления генитива являются лишь разновидностями этого основного значения, причем часто эти разновидности имеют стилистический характер.

3. Хотя именное предложение представляет собой языковую универсалию, разные языки пользуются разными средствами для ее выражения. При этом следует прежде всего различать именное, вневременное безличное утверждение типа *omnia praeclara rara*, с одной стороны, и утверждение глагольное, совпадающее время совершения события со временем речи о нем, с другой. Поэтому именное предложение ни в коем случае не следует рассматривать как «неполное» или «с опущенным глаголом».

4. С точки зрения языков мира, конструкция *mihi est* представляет собой более частое явление, чем конструкция с *habeo*. Первая выражает внутреннее, а вторая внешнее отношение. В германском перфекте они комплементарны.

5. Относительное предложение представляет собой своего рода «синтаксическое прилагательное», тогда как относительное местоимение — своего рода «синтаксический артикль». Эта мысль важна для того, чтобы подчеркнуть функциональное подобие простых единиц или слов и сложных единиц или придаточных предложений.

6. Действительный и средний залогов представляют собой внешнюю и внутреннюю диатезу, причем на основе среднего залогов возникает пассив.

7. Начиная с хеттского и выходя до современных западноевропейских языков «иметь» и его заместители употребляются для выражения транзитивного перфекта. Его нельзя смешивать с пассивом на основе внешнего сходства.

Каждая из этих статей потребовала бы отдельной рецензии — так богато и оригинально их содержание. Поэтому здесь следует подчеркнуть лишь следующий момент: как ни разнообразно их содержание, они все построены на едином методологическом принципе, на методологии языкознания, а не логики, философии, математики или какой-либо другой науки. Языковед должен прекрасно знать язык, который является для него предметом научного исследования, и быть в состоянии глубоко проникать в его особую семантическую структуру, так как каждый язык интерпретирует экстралингвистическую ситуацию, исходя из одного ему свойственных условий существования и развития. Языковеды должны наконец освободиться от соблазна процитировать категории современных языков на языки, которые этих категорий не знают, уметь отказываться от схем, навязанных собственными языковыми навыками ученого.

Предпоследний раздел, «Человек в языке», как и вся книга в целом, изобилует интереснейшими идеями и показывает новые пути в рассматриваемых уже знакомых явлениях. Она состоит из семи статей: «Структура отношений лица в глаголе», «Отношения времени во французском глаголе», «Природа местоимений», «О субъективности в языке», «Аналитическая философия и язык», «Формальный аппарат высказывания», «Делокутивные глаголы». Начнем со статьи «Аналитическая философия и язык». У нас распространялось совершенно искаженное представление об этом соотношении потому, что именно это философское направление явилось очередным «революционным открытием» Н. Хомского. Как известно, аналитическая или «лингвистическая» философия дается «обновить» философию, освободить ее от абстракций, привязав ее к реальности естественных человеческих языков. В этой связи, однако, опять возникает та же проблема: для того чтобы исследовать проблемы языка, необходимо быть лингвистом. Чтобы стать таковым,

требуются годы усердной работы, которые у философа ушли на изучение философии. Поэтому он абсолютно беспомощен в своих попытках найти подходящие лингвистические факты. Подробно анализируя тщательно отобранные факты, Э. Бенвенист объясняет подлинную лингвистическую природу перформативно-когнитивной оппозиции. Дж. Остин, непревзойденный специалист в области аналитической философии, не знаком с лингвистическими критериями и категориями, такими, как различие между значением и референтной отнесенностью или языковой реализацией действия и ее внеязыковым следствием.

Надо отметить, что, хотя философская сущность аналитической философии уже давно раскрыта и разоблачена марксистской философией, среди некоторых наших «лингвистов» (т. е. тех из них, которые исследованию языковых фактов предпочитают броское перетолковывание зарубежных доктрин) получают хождение такие претензии лингвистических философов, как якобы ими только открытая и созданная теория лексического значения, только им открывшееся подлинное соотношение между словом и контекстом, легенда о «естественном носителе языка» в виде своеобразной идеалистической фикции ума и т. д.

Говоря о лингвистических категориях, очень удобно перейти к сравнительно недавней статье «Отношения времени во французском глаголе». Время — древняя четко установленная категория в индоевропейском языкознании, также как и традиционное металингвистическое противопоставление простых и сложных времен — *temps simples* и *temps composés*. Однако различие между ними не лежит на временной оси, если под последней мы подразумеваем различие между 1) тем, что произошло до момента говорения, до времени данного высказывания, 2) тем, что произошло после него и 3) тем, что совпадает с ним, включается в данный отрезок времени. В однозначном противопоставлении простых и сложных времен на самом деле реализуется совершенно иная категория — категория предшествования. Жаль, конечно, что Э. Бенвенист не был знаком с исследованиями в этой области А. И. Смирнинского, который еще за 10 лет до первой публикации статьи Э. Бенвениста убедительно доказал, что противопоставление между английскими простыми и сложными временами служит для реализации категории одновременности — предшествования, или «временной отнесенности». Однако несмотря на это, для советских англостов статья Э. Бенвениста представляет исключительный интерес, так как Э. Бенвенист очень тонко разъяснил связь между двумя категориальными формами данной категории, а также соотнес их с еще одной важной оппозицией «повествование» — речь.

Французское «discours» — это «речь» со всеми ее прагматическими и деиктическими свойствами. Этой теме посвящены статьи «О субъективности в языке», «Природа местоимений», «Временные отношения во французском глаголе» и «Делокутивные глаголы». «Субъективность», о которой здесь идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта». Однако осознание себя возможно только в противопоставлении «я» кому-то, кто предстает как «ты». Это диалогическое условие и определяет категорию лица, т. е. обратимость первого и второго лиц. Иначе говоря: полярность лиц — вот основное условие, по отношению к которому процесс коммуникации есть всего лишь прагматическое следствие. Полярность эта не обозначает ни равенства, ни симметрии: *ego* и *tu* взаимодополнительны и обратимы, и ни один из них невозможен без другого.

В отличие от первого и второго лиц, «третье лицо» — лишь особый вид «синтаксической репрезентации». На примере не-индоевропейских языков автор показывает, что «третье лицо» это не-лицо, так как выражает ориентированность на кого или на что угодно за пределами акта речи, причем «он — она — они» всегда имеют объективную предметную отнесенность. Добавим, что эти в высшей степени интересные идеи Бенвениста можно далее развить за счет «четвертого лица» и притяжательных местоимений вообще, особенно таких противопоставлений как *я — мой, ты — твой, он — его* и *я, ты, он — свой* в русском языке.

Что же произойдет, если эти выводы применить к категории лица в глаголе? Во-первых, интересно отметить, что греческие грамматики приводят глаголы в первом лице, в то время как индийские — в третьем. Отсюда остается лишь один шаг до «безличного» — еще один способ, при помощи которого говорящий может при желании «стусшевzься». Три лица могут также использоваться (и действительно используются) в различных языках для выражения разнообразных стилистических коннотаций. Так, «он» может представлять собой как бесконечное число субъектов, так и ни одного. Вот почему фраза Рембо «*Je est un autre*» («я есть другой») представляет собой типичное выражение «мистического отчуждения» (*alienation mentale*). «Неличность» «третьего лица» дает возможность его употребления как формы уважения (которая возвышает человека над уровнем обычного лица), так и формы оскорбления (которая может унижить его как лицо). «Я» может расширяться до «мы», делая выражение лица более объемным и торжественным, но и менее определенным: таково «мы», используемое лицами королевского ранга. С другой стороны, употребление «мы» затуманивает слишком резкое «я», заменяя его более общим и расплывчатым: таково ораторское или автор-

ское «мы». В результате компетентного и оригинального анализа Э. Бенвенист приходит к выводу о том, что категория лица глагола соотносится с двумя постоянными корреляциями: 1) с корреляцией личности, противопоставляющей лица *я/ты* не-лицу *он*; 2) с корреляцией субъективности, которая входит в состав корреляции личности и противопоставляет *я* и *ты*.

Тесная связь между языком и речью, их диалектическое единство, которое является не только основой, но и одним из конституирующих элементов лингвистических категоризаций, ясно проявляется в том, что Э. Бенвенист называет «делокутивными глаголами». Речь идет о глаголах, которые «произведены от фраз». Так, например, латинское *salutare* является производным «от синтагмы, где именная форма оказывается актуализированной как форма приветствия». Английское *to hail* значит «крикнуть hail!», французское *bisser* значит «кричать bis!» и т. п. Основным содержанием рассматриваемой статьи является эволюция, *benefictus* и *benefictio* от *tene dicere*.

Последний раздел книги «Лексика и культура» открывается статьей «Семантические проблемы реконструкции» — известным исследователем Э. Бенвениста (опубликованная в журнале «Word», 10, 1954), оказавшим огромное влияние на развитие лингвистики. Научный анализ тщательно подобранного реестра слов из различных языков несомненно является тем образцом, которому должен следовать каждый лексиколог. Разумеется, потребовался бы отдельный очерк, чтобы удовлетворительно представить материал этого исследования. Следующая его мысль представляет большую методологическую ценность. Бенвенист указывает на то, что семантические категории несравненно сложнее остальных и поэтому почти не поддаются формализации. Они входят в экстралингвистическую «субстанцию» и поэтому требуют прежде всего детального исследования фактического словоупотребления. Книга заканчивается библиографией работ Э. Бенвениста и комментариями к отдельным статьям.

Очень жаль, что не всегда русский перевод сохраняет ясность и стилистическое совершенство оригинала.

Расцвету советского языкознания много способствовало то обстоятельство, что нашим языковедам свойственна широкая осведомленность в области зарубежной лингвистики. Однако, к сожалению, у нас нередко популяризируются направления, научно совершенно бесплодные. Поэтому необходимо еще раз выразить удовлетворение по поводу того, что в русском переводе вышла прекрасная подлинно языковедческая работа, принадлежащая перу одного из самых талантливых, эрудированных и скромных языковедов.

О. С. Ахманова, Т. Н. Шичкина

О. И. Москальская. Проблемы системного описания синтаксиса.—М., «Высшая школа», 1974. 156 стр.

Еще в 1962 г., отражая господствовавшую в то время в лингвистике точку зрения, Э. Бенвенист писал, что «с предложением мы покидаем область языка как системы знаков»¹. Из того, что предложение не является знаком, Э. Бенвенист делал вывод, что оно не составляет класса различных единиц, что синтаксис предложения является лишь «грамматическим кодом, который обеспечивает правильное размещение его членов»². Ясно, что при таком понимании предложения синтаксические структуры оказывались вне языковой системы. Однако в последние 10—15 лет изучение синтаксиса пошло по иному пути. Здесь следует отметить два момента. Во-первых, взгляд на предложение как на языковой знак особого типа заставил видеть в предложениях не только «способ размещения слов» в процессе общения, но прежде всего особые единицы языка, характеризующиеся диалектическим единством формы и содержания. Во-вторых, работы в области синтаксической парадигматики, изучение синтаксических трансформаций, дериваций, перифраз наглядно показали взаимосвязь между различными синтаксическими структурами и моделями предложения. Так постепенно усилились многие советских и зарубежных ученых накапливался материал и закладывались основы для описания синтаксиса как системы.

Исследовать какие-либо языковые элементы в их системе значит: а) определить набор (инвентар) этих элементов, для чего нужно отграничить их от смежных явлений и установить принципы их идентификации (соотношение вариантов и инвариантов элементов); б) выявить внутренние отношения и связи между этими элементами (исследование внутренней системности, в сфере синтаксиса — связей между разными структурными типами предложений); в) выявить отношения и связи этих элементов с другими элементами языка (внешняя системность, в сфере синтаксиса — прежде всего взаимодействие между структурной схемой предложения и его лексическим наполнением). Только объединение этих аспектов может дать полное системное описание синтаксиса. В «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970) приводится полный перечень синтаксических единиц уровня предложения (структурных схем и их регулярных реализаций), но отсутствует систематическое описание взаимоотношений между этими структурными схемами, так же, как и взаимодействия между структурной схемой и ее лексическим наполнением. В других

работах по русскому синтаксису, например, в содержательной книге Г. А. Золотовой³ имеется ряд важных наблюдений, касающихся модификации и взаимодействия моделей предложения, взаимодействия лексического и структурно-синтаксического в предложении, но отсутствует систематический перечень самих моделей.

Описание синтаксиса как системы на материале конкретного языка является актуальной задачей современного языковедения. Решению этой задачи и посвящена рецензируемая книга О. И. Москальской. Следует сразу же отметить, что эта книга, вышедшая в серии «Библиотека филолога», может рассматриваться как своеобразное введение в проблематику системного описания и семантического синтаксиса: в ней обобщаются, критически пересматриваются и развиваются многие взгляды по этим проблемам, высказывавшиеся в советском и зарубежном языковедении. Читатель, несомненно, с интересом прочтет обсуждение различных точек зрения, касающихся классификации предложений по их семантической структуре (стр. 40—43), классификации синтаксических функций (стр. 44—46), парадигматики предложений (стр. 98—103) и других вопросов. Положительной стороной книги является также предельная четкость и ясность изложения сложных проблем, по многим из которых в современной лингвистике высказывались различные и подчас путанные суждения. В рецензируемой книге на материале немецкого языка исследуются все отмеченные выше аспекты системного изучения синтаксиса. Задачу системного описания синтаксиса автор видит в следующем (стр. 6—9): а) выявить модели предложения в языке: при этом модель — единица и первая ступень структурного описания на уровне предложения; б) определить внутримодельные модификации предложения, не нарушающие тождества модели; к таким модификациям автор относит усложнения и регулярные реализации модели (например, фазисные и модальные: *Он говорит — Он начал говорить — Он хочет говорить*) и некот. др.; в) определить межмодельные модификации и правила, по которым одна модель преобразуется в другую. Таким образом реализуется оба аспекта системного описания синтаксиса: статический (выделение моделей) и динамический (выявление реализаций и межмодельных трансформаций).

Отношения между моделями предложения, как и между любыми единицами

¹ Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 139.

² Там же.

³ Г. А. Золотова, *Очерк функционального синтаксиса русского языка*, М., 1973.

языка могут устанавливаться как на уровне форм, так и на уровне содержания. В связи с этим автор останавливается на проблеме значения предложения. Установление типовых значений предложения является важной научной проблемой, без которой невозможна дальнейшая разработка систематического описания синтаксиса с учетом его семантического аспекта. О. И. Москальская обращает внимание на то, что значения, которые можно отнести к области синтаксиса, разнородны и что среди них можно выявить следующие виды: а) семантико-синтаксические категории (агентивность, процессуальность, идентификация и квалификация предмета, каузативность и бытийность и др.); эти категории манифестируются членами предложения; б) структурно-семантические категории (отношение подлежащего и сказуемого, определяемого и определяющего, подчинение и сочинение); в) коммуникативно-грамматические категории (синтаксическое время, модальность, утверждение/отрицание, целеустановка высказывания); г) категории, связанные со структурированием сложного синтаксического целого (актуальное членение, анафора и др.). В книге основное внимание уделяется категориям первой группы, для анализа которых существенно следующие понятия и категории, выдвинутые и разрабатываемые современными семантическими школами: а) понятия лексических разрядов слов (конкретность/абстрактность, одушевленность/неодушевленность и др.), которые проявляются во взаимодействии слов с синтаксической структурой; б) понятийные категории синтаксического синтаксиса (агентивность, аффицированность, адресатность, орудийность и т. п.), выделяемые на уровне целых структур (словосочетаний и предложений); в) категории предикативной логики (функция и аргументы, детерминация и реляционные отношения и др.), релевантные для семантической структуры предложения в целом.

Кратко изложенные нами исходные теоретические положения системного описания синтаксиса немецкого языка составляют содержание главы I. Во II главе рассматриваются принципиальные вопросы, связанные с выделением моделей предложения. Автор отмежевывается от двух крайних точек зрения: отождествления модели с двучленной структурой $S + V$ и отождествления ее со смысловой завершенностью предложения (при этом состав предложения непропорционально расширяется). Двухкомпонентная модель не всегда реализует смысловую минимум высказывания (например, *Город стоит [на реке]*). С другой стороны, не всегда коммуникативно наиболее ценный компонент включается в структурный минимум предложения: ср. *Он говорит (громко)*. Подобно Г. Хельбигу и Ф. Данешу,

О. И. Москальская считает, что актант не входит в структурный минимум предложения, в его модель, если его исключение не делает предложение эллиптическим, т. е. если он выступает как факультативный член; ср. *Старый учитель пишет (письмо)*. Для методики построения модели предложения большое значение имеет не только рассмотренный нами вопрос вычленения структурного каркаса предложения, но и проблема вариативности в рамках тождества модели. Эта проблема в форме так называемых регулярных реализаций модели подробно рассматривалась в русском синтаксисе, прежде всего в работах Н. Ю. Шведовой. Однако О. И. Москальская справедливо отмечает, что соотношение между этими двумя понятиями (вариативность и регулярные реализации) еще не разработано с необходимой теоретической глубиной и что они проявляются специфично в каждом отдельном языке. В качестве источников вариативности модели предложения О. И. Москальская отмечает: а) наличие факультативных членов (*Он отвечает другу — Он отвечает другу на его письмо*); б) субституция позиций в модели предложения; в) введение дополнительных строевых элементов, например *es* в немецком языке при инверсии. Что касается регулярных реализаций, то здесь автор отмечает прежде всего те, что были описаны Г. А. Золотовой (реализации модальные, фазисные, выявленные).

В этом же разделе рассматривается вопрос о соотношении структурной и семантической типологии предложений, поскольку, как отмечалось выше, системные связи между моделями должны устанавливаться не только в плане выражения, но и в плане содержания. Единичей семантического моделирования, по мнению автора, должна быть не структурная схема (т. е. поверхностная структура) предложения, но семантическая («глубинная») структура предложения (стр. 37). Однако поскольку структура смысла предложения не дана в непосредственном наблюдении, то к семантической структуре следует идти через структурную модель, принимая во внимание языковую асимметрию в области синтаксиса и разрабатывая методы обнаружения значения полисемантической модели. Среди методов экспериментальной проверки данных логического анализа предложений О. И. Москальская приводит такие, как перифразы (*Он нет — Он пьанца*), грамматические трансформации, выявляющие совместимость семантического и грамматического значения (например, пассивная трансформация, возможная для фразы *Die Katze fängt Mäuse* и невозможная для *Er erleidet eine Krankheit*), включение моделей в контекст, постановка вопроса к предложениям. Отмечая неразработанность семантического моде-

лирования предложений и отсутствие обобщающего перечня семантических моделей предложения, автор в своем исследовании пользуется двумя пересекающимися классификациями семантических типов: различение, с одной стороны, детерминирующих, реляциональных и бытийных предложений, и с другой — статальных, акциональных и процессуальных предложений. Детерминирующие и реляциональные предложения различаются по своей логической формуле, соответственно: $P(x)$ и xRu , вторая классификация, предложенная В. Чейфом, исходит из характера предиката.

Глава III посвящена структурно-семантическому описанию моделей предложения немецкого языка. Поскольку в книге в целом делается упор на общую языковую модель «текст → смысл», а не «смысл → текст», то модели прежде всего получают классификацию, исходя из их грамматической структуры, и описываются в терминах классов слов (частей речи и членов предложения), а затем каждая модель исследуется с точки зрения ее многозначности и соотносительности с теми семантическими типами, о которых шла речь выше. В заключение дается обобщение материала, исходя из семантических моделей: указываются семантические типы моделей и перечисляются те структурные типы, в которых эти семантические типы реализуются. Таким образом принципиально достигается полное описание моделей от форм к значениям и от значений к формам. Всего в немецком языке выявляется 64 модели предложения, которые распределяются по шести блокам. Эти блоки следующие: модели двусоставных предложений с именным сказуемым; двусоставных предложений с глагольным сказуемым; двусоставных предложений с инфинитивом в главном составе; формально-двусоставных предложений с компонентом *es*; односоставных предложений, фразеологизированные модели предложения. Обращает на себя внимание именно формальная основа разграничения моделей. Так, в блок моделей с инфинитивом попадают и предложения с антиципирующим *es*: *Es macht Spaß, hier zu leben*, и предложения со связкой: *Leben heißt kämpfen*, которые по своей основной структурной схеме не отличаются от аналогичных предложений не с инфинитивом; следовательно, в данном случае только наличие инфинитива дало основание для выделения этих моделей в особую группу.

Внутри блоков модели разграничиваются по составу, по регулярным реализациям, по допустимости определенных трансформаций. При анализе блока моделей выявляются объединяющие их структурные признаки (тип предиката, способность компонентов к распространению, виды усложнений и модификаций). Но наряду с этим определяются и признаки,

разграничивающие эти модели. Таким образом, в каждом случае прослеживается соотношение общего и особенного в моделях одного блока. Сводная таблица в конце главы дает наглядное представление о всех моделях и их распределении по блокам.

Как отмечалось выше, системное описание синтаксиса не заканчивается составлением инвентаря моделей и их классификацией, но, пожалуй, начинается с него. Поэтому вполне логично О. И. Москальская переходит в следующей главе к анализу парадигматики предложения, т. е. внутримодельных модификаций, а в последней, пятой, главе к описанию внутримодельных и межмодельных процессов, связывающих модели между собой в единую систему.

Понятие парадигмы в синтаксисе оказывается весьма запутанным: к синтаксической парадигматике относят самые разнообразные явления. Проанализировав различные точки зрения по данному вопросу, автор приходит к выводу, что в парадигматику предложений следует включать модификации, не нарушающие компонентный состав модели. Считая, что изменения по формам синтаксического времени и модальности, которые Н. Ю. Шведова включает в парадигматику русских предложений, в немецком языке не выходят за пределы глагольной морфологии, О. И. Москальская включает в парадигму предложения модификации по трем оппозициям: по цели высказывания (повествовательные — вопросительные — побудительные предложения), по утверждению/отрицанию и по модальности, выражающейся синтаксически (*Vater schläft — Vater schläft wohl*). Анализ парадигматики позволяет более четко выявить источники синонимии, из которых важнейшим оказывается переносное использование моделей, т. е. их транспозиция в область противочлена. Ср. *Du bleibst zu Hause* (повествовательное предложение) транспонируется в побудительное, становясь синонимом императива *Bleibe zu Hause!*

Еще более сложной, чем парадигматика, оказывается проблема межмодельных синтаксических процессов. Многие лингвисты, писавшие по этому вопросу, не проводили необходимого различия между внутримодельными и межмодельными процессами, между деривацией и парадигмой предложения. О. И. Москальская различает прежде всего внутримодельные и межмодельные процессы, что действительно необходимо при системном описании синтаксиса, поскольку этот вопрос связан с тождественностью модели. К внутримодельным процессам относятся различные преобразования, не затрагивающие основную структуру моделей. Таковыми являются включение/исключение факультативных членов модели (*Он пишет — Он пишет письмо*

отцу), изменение класса слов, реализующих компонент модели (*Sie lernt näher* → *Sie lernt das Nähen*), включение дополнительных членов, находящихся за пределами структурного минимума предложения (*Этот человек был Мюллер* → *Человек, сидевший в кресле с потухшим окурком сигареты во рту, был Мюллер*), и др. Мы видим, что эти процессы не зависят от того, изменяется ли при этом содержание высказывания или нет.

Также и при изучении межмодельных процессов исследователь сталкивается с разнородными явлениями. Предложение состоит из трех основных компонентов: грамматической модели (структурной схемы), лексического (лексемного) наполнения и смысловой стороны. При преобразованиях могут затрагиваться различные из этих сторон. Проанализировав интерпретацию понятий «трансформация», «перифраза», «синтаксическая деривация» у различных авторов, О. И. Москальская предлагает различать эти явления на основании признаков, которые с некоторыми приближениями могут быть резюмированы в следующей схеме (+ означает возможную модификацию, — неизменность):

	Грамматическая модель	Лексические наполнения	Смысл
Трансформация	+	—	—
Перифраза	+	+	—
Деривация	+	+	+

К трансформациям О. И. Москальская относит пассивную трансформацию и деинвазивную трансформацию (превращение подлежащего во второстепенный член предложения — в зарубежных работах ее называют иногда «трансформацией понижения субъекта»): *Ich friert* — *Mich friert*.

В число перифраз включаются любые преобразования, не ведущие к изменению смысла высказывания: замены частей речи при изменении модели предложения: *Ich bin hungrig* — *Ich habe Hunger*, конверсные преобразования с глаголами или существительными: *Hannibal besiegte die Römer bei Cannae* — *Die Römer erlitten bei Cannae eine Niederlage durch Hannibal*; *Martha ist die Tochter von Berta* — *Berta ist die Mutter von Martha*.

И, наконец, к деривации относятся преобразования, вводящие в высказывание дополнительный смысл, а именно: каузация (*Таня открыла окно* → *Мама заставила Таню открыть окно*), деривация косвенности (*Ответ был глупым* → *Пауль нашел ответ глупым*), перцепции (*Колокол зазвонил* → *Я услышала, как колокол зазвонил*), номинации (*Карл лентяй* → *Я назвал Карла лентяем*). Хотя этот раздел сделан не так подробно и всеобъемлюще, как описание моделей в главе II, в нем освещены различные аспекты межмодельных процессов: меха-

низм данного изменения (лексические замены, грамматические преобразования), взаимные перенесения различных синтаксических процессов, причем всякий раз указывается, какие модели объединяются данным процессом.

Это неизбежно сжатое изложение содержания книги О. И. Москальской показывает, что перед нами — полное системное описание синтаксиса немецкого языка. И если не все звенья описания раскрыты с исчерпывающей подробностью, то — и это самое важное в исследовании такого рода — отмечены все звенья системного описания синтаксиса; обсуждена и показана методика выявления всех этих звеньев; и методика определения первичных элементов системы — моделей предложения, их вариантов и модификаций, и методика установления отношений и взаимосвязей между моделями. Рецензируемая книга несомненно будет очень полезной при системном описании синтаксиса и других языков. Но эта книга интересна не только своей позитивной стороной, но и тем, что она нацеливает на дальнейшее обсуждение ряда важнейших для изучения синтаксиса вопросов, показывает, в каком направлении целесообразно развивать исследование системности синтаксического строя языка.

Разумеется, наиболее сложным из вопросов, рассматриваемых в книге, является семантическое моделирование предложений. Вместе с тем это и один из важнейших вопросов, так как от выделения семантических моделей зависит и общая систематизация структурных схем предложений. Из отмеченных в книге аспектов семантического моделирования мы более подробно остановимся на трех: 1) номенклатура семантических типов; 2) факторы многозначности и определение конкретного значения модели; 3) соотношение разных семантических типов внутри одного структурного типа модели.

Что касается номенклатуры семантических типов предложений то, как отмечалось выше, они совершенно обоснованно выделяются на основании перекрещивающихся признаков (к перечисленным ранее двум при конкретном анализе добавляется третьей, исходящий из функций актантов, в связи с чем выделяются агентивно-объектные, -адресатные, -орудийные и пр. предложения с их комбинациями). Таким образом, для одних лишь двусоставных глагольных предложений выделяется 15 семантических типов. Здесь можно было высказать два соображения. Во-первых, в некоторых случаях семантический тип слишком непосредственно выводится из структурной схемы. Так, в предложении типа *Wir danken dir (für deine Hilfe)* выделяются адресатные отношения, так как здесь косвенное (дативное) дополнение. Между тем такое дополнение сохраняет свое пер-

вичное значение адресата в двухобъектных структурах (*Он дал ему книгу; Он рассказал ему все*), но при отсутствии прямого объекта десемантизируется и выражает общий объект действия⁴; ср.: *Он удивляет ему; Он помогает ему*. В этих случаях форма косвенного дополнения, утрачивая свой семантический субстрат, становится неустойчивой и может взаимозаменяться с прямым дополнением при историческом развитии языка или при переходе от одного языка к другому (ср. нем. *Er gratulierte dem Lehrer*, русск. *Он поздравил учителя*; русск. *Он помогает ему*, франц. *Il l'aide*).

Во-вторых, семантические типы предложений, разработка которых, как отмечает автор, стоит на повестке дня, должны определяться, с одной стороны, путем анализа конкретных ситуаций, описываемых данной моделью предложения⁵, и, с другой стороны, путем логического исчисления этих типов.⁶

О. И. Москальская совершенно правильно отмечает, что нередко в одной поверхностной структуре совмещается несколько семантических моделей, и эта асимметрия наглядно представлена в табл. на стр. 82—85. Изменение значения модели связано с тремя факторами: с лексическим значением слов и прежде всего предиката предложения; с семантическими отношениями между компонентами предложения; с ситуацией, с которой соотносится данное высказывание. В книге учитываются эти факторы, особенно первые два, но в некоторых случаях их можно было бы привнести в большей степени во внимание при семантическом анализе предложений. Так, вряд ли правомерно без оговорок объединять модели типа *Он произносит (держит) речь, Он задает вопрос, Он читает книгу* (стр. 78).

⁴ В силу обратного воздействия формы на содержание здесь может ощущаться сохранение некоторой «косвенности» воздействия со стороны субъекта.

⁵ См. опыт выявления семантических структур предложения в ст.: Н. Ю. Ш в е д о в а, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973.

⁶ Заслуживающий внимания опыт такого определения семантических типов представлен в книге Т. Б. Алисовой, где на основании пяти противопоставленных пар признаков и их сочетаний выделяется 24 семантических структуры предложения. См.: Т. Б. А л и с о в а, Очерки синтаксиса современного итальянского языка, М., 1971, стр. 37—39. Интересный пример логического исчисления актантов см. в ст.: Р. Т о м, Математика и лингвистика, «Успехи математических наук», 1975. 1.

Поскольку семантический тип «вырастает всегда из взаимодействия глагола-сказуемого с именными компонентами модели» (стр. 73), то следует подчеркнуть здесь меньшую самостоятельность глаголов *держать* или *задавать* по сравнению с *читать*. Первые два неупотребительны при «отчеркивании дополнения» и вместе с ним образуют фразеологизированные средства выражения залоговых и иных значений сказуемого. Если трансформация пассива не может дифференцировать эти структуры, то их можно разграничивать при помощи вопросительной субституции (в данном случае можно задать вопрос *Что он читает?*, но нельзя *Что он задает?* или *Что он держит?*, можно только *Что он делает?*). Семантический тип зависит и от семантики аргументов. Реляциональное предложение выражает чистое отношение, если объект выражен предметным существительным или его субститутом (*Ich kenne die Regel*). Однако если аргумент (подлежащее или дополнение) выражен именован действием, абстрактным существительным, то такой актант является «ложным» актантом, образовавшимся в результате транспозиции глагола или прилагательного. Со сказуемым он образует расчлененное обозначение самого действия. Ср. *Das Lernen fällt ihm schwer* «Учение дается ему с трудом» → *Он lernt mit Mühe*. Такое предложение ближе к процессуально-детерминирующим (ср. *Он идет быстро, Он учится легко*), чем к реляциональным, ибо образовалось оно вследствие двойной трансформации: а) развертывание: *Он учится с трудом* → *Он проводит учение с трудом*; б) конверсия субъекта и «ложного» актанта: *Учение у него идет с трудом*, или с синонимической заменой при изменении формального управления объектом: *Учение дается ему с трудом*.

Поскольку синонимия является основным способом определения семантического типа модели, деривационная история этих моделей приобретает большое значение. Существенно погодя не столько собственное значение слов, сколько семантическое соотношение лексем, входящих в предложение. В книге приводится правильное суждение О. Неса, что фраза *Karo ist kluger Hund* (модель 3) и *Müller war ein guter Schlosser* (модель 1) неадекватны по смыслу, хотя равны по форме. Первая фраза детерминирующая (= *Karo умный*), вторая — реляциональная, показывающая отношение между двумя субстанциями. Дело здесь не в семантике прилагательного, но в соотносительности подлежащего и предиката-существительного. Поскольку известно, что *Karo* — имя собаки, то предикат *собака* ничего не вносит в информацию высказывания и это слово вполне может быть опущено без ущерба для смысла, так что предложение получает синоним *Karo ist klug*. Такую же семантическую

структуру имела бы и фраза *Мюллер — хороший человек*.

Не меньшее значение для семантического анализа предложения имеет и его соотносительность с ситуацией. Предложение *Она шьет платье* несомненно включается в число акциональных, но его сокращенный вариант (дополнение здесь считается факультативным членом) *Она шьет* в зависимости от временной ответственности может интерпретироваться и как акциональное (*Она шьет в данный момент*) и как детерминирующее (= *Она портниха*). Интерпретация смысла предложения зависит как от конкретной ситуации, так и от общих свойств того мира, в котором используется данный язык. Например, фраза *Она читает* не может быть понята как детерминирующая субъект, ибо чтение книг не является особой профессией или постоянным занятием в наше время (несколько веков назад чтение вслух было профессиональным занятием некоторых людей, например, при дворе монархов). Не случайно, проблема семантической интерпретации высказываний в ряде случаев подводит исследователя к проблеме «возможных миров»: для того чтобы интерпретировать то или иное высказывание, обосновать возможность его формальных модификаций при сохранении его смысла, необходимо принимать во внимание, как устроен тот мир, в котором находятся говорящие и какие привычные представления об этом мире имеются у говорящих.

Что касается соотношения семантических типов внутри одного структурного типа модели, то общая установка в этом вопросе, изложенная в книге, нам представляется правильной. Было бы, разумеется, неправильно в каждом семантическом типе модели видеть своего рода

омоним, никак не связанный с другими значениями той же структурной модели. Такая атомизация не позволила бы вскрыть до конца системность в синтаксисе. Но вместе с тем не следует переоценивать и роль общих значений. Разные значения отдельных моделей подчас настолько расходятся между собой, что трудно найти им единый общий знаменатель, либо это общее значение оказывается настолько общим, что оно характеризует личную форму глагола вообще и оказывается неприменимым при анализе семантических различий синтаксических моделей. Семантическую структуру модели, по-видимому, следует представлять как сложный комплекс значений, в котором различаются первичное, прямое значение модели и косвенные, переносные, вторичные ее значения. Дифференцируясь в своих первичных значениях, модели могут совпадать во вторичных, переносных, как это имеет место и у других единиц языка (слов, грамматических и словообразовательных морфем). Так решается проблема соотносительности структуры предложения со структурой описываемой ситуации: в первичных значениях модель (средствами данного языка) адекватно описывает ситуацию, во вторичных — имеют различные переносы значений.

Систематизируя и обобщая большой свод накопленных современной наукой знаний в области системного описания синтаксиса, развивая эти теории и ставя наглядно ряд важных проблем, рецензируемая книга О. И. Москальской может расцениваться как важная веха на пути к разработке системного описания синтаксиса отдельного языка.

В. Г. Ган

И. Ф. Протченко. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи (социолингвистический аспект). — М., «Наука», 1975. 324 стр.

Монография И. Ф. Протченко — серьезный вклад в активно ведущееся в последние годы исследование особенностей развития русского языка в послеоктябрьскую эпоху, в советском обществе. Она наглядно свидетельствует о том, что, несмотря на появление книг фундаментального труда «Русский язык и советское общество» (М., 1968), многие проблемы остались едва затронутыми в этой принципиально важной теме.

И. Ф. Протченко, исходя не только из лингвистического, но и большого общественно-политического, воспитательного значения темы, методологически переводит рассмотрение ее в более широкий социолингвистический план (что

справедливо подчеркнуто в подзаголовке всей монографии), указывая, в частности, на бесплодность дальнейшего исследования вне постоянного обращения к условиям функционирования русского языка как средства межнационального общения и сотрудничества новой исторической общности людей — советского народа — и как средства широкой международной коммуникации, как одного из «мировых языков» человечества.

Монография распадается на две части — проблемно-теоретическую, методологическую и конкретно-исследовательскую, причем вторая, озаглавленная «О новых лексико-словообразовательных процессах в русском языке последек-

тябрьского периода» и состоящая из разделов «Общественно-политическая лексика советской эпохи», «Из истории слов», «Спортивная и физкультурная терминология», «Образование слов посредством субстантивации», «Новые лексико-словообразовательные процессы в категории названий лиц», служит фактически собранием отдельных, весьма доказательных иллюстраций к изложенным концептуальным положениям и методологическим принципам первой («Русский язык и советское общество»).

Среди этих положений и принципов основополагающим признается необходимость рассмотрения динамики русского языка в последние полстолетия в связи с анализом особенностей языковой жизни в СССР и во всем мире. Позитивное рассмотрение действительного положения дел, как утверждает автор, неоплотворно без рассмотрения «...таких вопросов, как межкультурная роль русского языка; русский язык — язык международного общения, его роль в процессах взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР; о роли русского языка в формировании общего лексического фонда языков народов СССР; о лексическом заимствовании как характерной особенности развития и взаимодействия языков; об особенностях освоения заимствований в русском языке» (стр. 13).

Вне широкого обращения к условиям функционирования русского языка в последние десятилетия, без учета коммуникативных потребностей советского общества исследователь обречен на бескрытую каталогизацию фактов или же на искаженное их истолкование в угоду той или иной предвзятой идее. Такая идея, как показывает И. Ф. Протченко, может привноситься и сознательно, как то имеет место в исследовании антисоветски настроенных лжеученых Э. Гудмана, А. и Т. Фесенко и им подобных, пишущих, например, о якобы проводимой русскими коммунистами «политизации» и «технизации» русского языка в целях уничтожения его «народности» и «демократичности». И. Ф. Протченко критикует подобные взгляды спокойно и веско, основываясь на языковых фактах (стр. 10, 14—16).

Предложенный автором методологический подход помогает преодолеть и многие недостатки советских исследователей этой темы, в частности социологическое вульгаризаторство и, напротив, преувеличение роли внутренних тенденций, действующих активно или пассивно в зависимости от влияния на них внешних факторов или просто в силу имманентного движения системы языка. В книге подвергается критике прямолинейное провозглашение ведущими направлениями развития русского языка в советскую эпоху «авалитизма», «агглютинативности»

и т. д. На структуру языка гораздо значительнее влияет резкое изменение общественных функций русского языка в советском обществе, способное затронуть и самый характер процессов, свойственных языку, но, разумеется, не в качестве извечно заданных. В то же время это отнюдь не оправдывает попыток непосредственной увязки того или иного системного изменения с изменением в действительности: И. Ф. Протченко убедительно, например, полемизирует с выведением складывающейся системы женских коррелятов мужских названий лиц только из особенностей положения женщины в советском обществе (стр. 279 и сл.). Этот пример перерастает в обобщающие выводы о сравнительной роли и взаимодействии структурно-языковых особенностей и «внешних факторов», специфики общественно-производственной трудовой деятельности в рододифференцированных наименованиях лиц, какие признаются яркой характерной чертой современного русского языка (стр. 288).

Специфика нынешнего развития русского языка во многом обусловлена повсеместным распространением нормы литературного языка, сознательно проводимой борьбой за высокую речевую культуру всего населения, в том числе и нерусского, участвующего в прогрессе русского языка, всеобщим образованием и растущей грамотностью людей. Поэтому задача исследования видится в том, «...чтобы не только проанализировать изменения, происшедшие в структуре русского языка советской эпохи, но и остановиться, хотя бы в общих чертах, на вопросе о роли русского языка как средства международного общения и о функционировании его за рубежом. Важной особенностью языковой жизни советского общества является все возрастающая роль русского языка как языка международного общения народов нашей страны, а также становление его в качестве одного из языков международного значения» (стр. 36).

Вся монография И. Ф. Протченко пронизана принципами и установками марксистско-ленинской методологии и социологии, позволяющими изучать язык не только в качестве некой семиотической системы, но только в качестве инструмента коммуникации и мышления, но и в качестве орудия воздействия, прагматического феномена. Такой подход необходим для объективных рекомендаций нормативного свойства, для предсказания хода движения языка в отдельных его категориях, для упрощения этими сложными процессами. Он требует, в частности, учета воздействия общезыковой ситуации в СССР на развитие русского языка, особенностей его функционирования в наше время, его взаимодействия с другими языками, активизированного

бурной переводческой деятельности, единым научным творчеством, устойчивого и длительного двуязычия огромных масс населения с единой хозяйственно-административной базой и сближающимися культурными и бытовыми традициями.

В первую очередь здесь наблюдается выработка общих лексико-словообразовательных и фразеологических черт, подробно рассмотрению которых автор посвящает главу в своем теоретическом разделе — «Процессы образования общего лексического фонда и вопрос о заимствованиях». Эта тема находит свое развитие и в других разделах монографии, ср. особенно страницы, посвященные активизации и дифференциации по примеру русского языка женских соотносительных обозначений лиц в разных языках народов СССР и других славянских языках (стр. 295 и др.).

Роль русского языка в формировании общего словарного фонда языков народов СССР и особенности освоения заимствований в русском языке служат И. Ф. Протченко развинутой и глобальной иллюстрацией общей концептуальной мысли (хотя, разумеется, она могла бы быть проиллюстрирована и другими, пусть менее яркими примерами — например из области синтаксиса). Специфика заимствований, рассмотренных на социолингвистическом фоне языковой жизни в СССР, показана весьма удачно семантико-тематическим анализом, использующим при иных подходах; любопытно, что в этом смысле специфичен самый состав как максимального, так особенно минимального общего лексического фонда. Принципиально специфичными предстают в книге семантические процессы и группировки словообразовательных элементов, заимствуемых слов и фразеологических единиц.

Еще более конкретные и частные иллюстрации изложенной концепции дает практическая часть монографии, раскрывающая и детализирующая глобальную иллюстрацию самостоятельными исследованиями отдельных частных, но очень важных и показательных явлений. Так, в самом деле, общественно-политическая лексика, спортивная терминология, активизация субстантивации, новые процессы в образовании названий лиц суть наиболее показательные семантико-тематические сферы, которые интенсифицированы, если не вызваны к жизни спецификой нашего послеоктябрьского развития и которые наиболее ярко демонстрируют взаимодействие социальных потребностей и внутренних законов развития русского языка: «...воздействие социальных условий проявляется здесь особенно отчетливо» (стр. 101). И. Ф. Протченко весьма наглядно рисует ситуацию: новое содержание потребовалось обозначить; новые формы обозначения явились последствием собственно языкового

процесса — пришел в движение поисковый механизм в «лингвистических ресурсах»; появившиеся обозначения отразили как социальную потребность, так и «внутренние факторы». Так, для обозначения женщин по должности, профессии, роду занятий (чего требовала жизнь и новые трудовые отношения) было опережено пять возможностей: усиление активности словообразовательных суффиксов (стр. 101—133), активизация субстантиватов (стр. 215—271), новые типы согласования, в том числе распространение «согласования по смыслу», а также составные обозначения (стр. 275 и сл.). Интенсивные процессы в обширном разделе наименований лиц, признанные отличительной чертой русского языка советского периода, явились для исследователя прекрасным примером того «звена», в котором языковая система, в частности словообразовательная, «...развиваясь по своим внутренним законам, испытывает весьма сильное воздействие социальных факторов. Анализируемый материал убеждает в том, что социальные факторы способствуют активизации словообразовательных процессов» (стр. 273).

Анализ процессов в отдельных структурно-тематических классах слов с учетом социолингвистики приводит к очень интересным наблюдениям. Так, для структуры общественно-политической лексики принципиальным оказывается ее внутренняя группировка по классам слов, связанных соотносительностью понятий и специфичностью семантических процессов (на стр. 121—132 описано девять таких классов). В сфере спортивной и военно-физкультурной терминологии организующим стержнем выступают типы переносного и окказионального употребления терминов; для названий лиц, особенно среди активизированных субстантиватов, императивной оказывается соотносительность не только в словообразовании, но именно в функционально-понятийном плане (ср. хотя бы: *красные* — *красноармейцы*, *красногвардейцы*, *большевики*; *белые* — *белогвардейцы*, *белки* и пр. на стр. 220; ср. также при разборе субстантиватов ряды наименований типа *разделальная* — *разделальная* — *разделала* на стр. 226, 238). Для названий лиц в целом основополагающим процессом, развивающимся на переломлении внешних и внутренних факторов, является перераспределение словообразовательных средств вообще (стр. 273).

Вот как И. Ф. Протченко показывает один из излюбленных процессов: в спортивной терминологии, которая как семантико-тематическая сфера вообще обрела в русском языке самостоятельность лишь в советское время в связи с массовостью и доступностью занятий спортом широким массам населения, «перезагрузки» физкультуры и спорта в дореволюционной России сравнительно с нашим временем

соответствовала и бедность специальной терминологии в этой области, хотя (будь реальными условия жизни) языковыми (в данном случае лексико-словообразовательных) затруднений не могло быть» (стр. 169). Ср. также: «В современном русском языке, собственно в советский период его развития, наблюдается заметное усиление процесса субстантивации, в результате которого сложились многие продуктивные словообразовательные типы» (стр. 237).

Дело не столько в том, какие типы производства слов индуцируются внешними коммуникативными потребностями, сколько в самой смысловой сущности этих коммуникативных потребностей и условий: «В условиях все возрастающей политической активности, широкого привлечения трудящихся к обсуждению и решению государственных задач, к выполнению многообразных общественных функций эта лексика органически входит в повседневную речь, становится неотъемлемой частью активно употребляемого словаря современного русского языка» (стр. 103). Эти слова, отнесенные автором к общественно-политической лексике, имеют, несомненно, значение более широкого, общего вывода. Из внутренних тенденций развития языка невидимо хотя бы такое качество общественно-политических наименований советской эпохи, как четкое определение коммунистического содержания стоящих за ними понятий, их «точность, в известном смысле — терминологичность» (стр. 112) или как отсутствие в них той «стабильности, какая свойственна, например, профессионально-технической терминологии, где наблюдается большая традиционность, устойчивость» (стр. 104).

В то же время исследование И. Ф. Протченко утверждает историческую перспективу, преемственность развития даже столь специфичных лексико-тематических сфер. Это блестяще выполнено в особо выделенных композиционно этюдах, посвященных таким актуальным рядам, как *работник, работница, рабочий* (стр. 133—148) и *лазутчик, агент, разведчик, чекист* (стр. 148—159). Современное семантико-стилистическое богатство и тонкая стилистико-смысловая дифференциация слов в этих рядах рисуется как итог раскрытия в советских условиях длительно складывавшихся потенций: «Здесь мы имеем пример такой эволюции значения слов, при которой новый строй жизни, советские общественные отношения как бы вдохнули в них новое содержание...» (стр. 148).

Опора не только на синхронное наблюдение, но и на диахронно придает убедительность и научную значимость очень многим примерам, данным в основном тексте практических глав: *коллективист, общественник, товарищ, партиец, большевик, коммунист*; ср. расширение сочетаемости слов *куст, венок, прослойка, курс, элемент, треугольник, спайка, ячейка, сеть, уклон, перегиб* и т. д.

Таким образом, «наша общественно-политическая терминология, правдиво запечатлевая явления жизни прошлого и настоящего, отражает в то же время революционную устремленность в будущее, перспективу общественного развития» (стр. 110).

Сказанного достаточно, чтобы утверждать, что перед нами оригинальная и интересная книга. Она написана четким и простым языком и по манере изложения, по вниманию к фактам языка, по богатству этих фактов она весьма напоминает работы замечательного нашего лингвиста В. И. Чернышева. Ее можно с удовольствием рекомендовать читателям.

Разумеется, при чтении книги И. Ф. Протченко возникает и ряд возражений, сомнений, вопросов. Почему, например, излагая в пунктах 6, 7 и 8, а отчасти и в 9 (в разделе «Процессы образования общего лексического фонда...») причины принятия русского языка в качестве общего средства коммуникации и сотрудничества советского народа, автор ничего не говорит о выдающихся лингвистических качествах русского языка — незаурядного явления в языковом творчестве человечества? Разумеется, неверно сводить к совершенству русского языка причины его выдвижения на межнациональной и международной аренах, но столь же неверно и игнорировать это совершенство. Цитируемые в книге авторитеты, среди которых и Ф. Энгельс (стр. 36—37), и выдающиеся литераторы разных национальностей (стр. 48 и др.), особо подчеркивали именно внутренние качества русского языка, его силу, богатство, красоту, гибкость и необычайные возможности при переводе на него с других языков. Иное дело, что все эти понятия еще ждут своего социолингвистического да и собственно лингвистического обоснования.

Можно упрекнуть автора за не слишком понятый пример с эллиптированными сказуемыми в заголовках и лозунгах на стр. 63 — если он призван показать выработку общих черт в разных языках, то необходимо было бы дополнить его иноязычными параллелями. На стр. 162 и сл. следовало бы дать анализ семантического соотношения основ в сложных словах и не ставить слова типа *паровоз* и типа *лесовоз* в один ряд. На стр. 165 и сл. недостаточен анализ слов с компонентом *авто-* (более тонкое их рассмотрение совсем недавно предложено А. А. Радченко). Подобные упреки можно продолжить, как и замечания о том, чего нет в книге и что рецензенту хотелось бы в ней видеть. Но все они не снижают общего высокого впечатления от монографии И. Ф. Протченко.

Перед нами глубокая и вдумчивая исследование, выполненное с последовательностью партийных позиций и серьезно продвигающее наше знание о развитии русского языка в советском обществе.

В. Г. Костомаров.

«Атласул лингвистик молдовенеск», ын доуэ волуме, 4 пәрдь. Ынтокмит суб кондукчера луй Р. Удлер. Редактат де Р. Удлер ши В. Комарицки ку партиципация луй В. Мельник ши В. Павел. — Кишинэу, «Карта молдовеняска», 1968 — 1973.

Молдавский лингвистический атлас (АЛМ) составлен на основе материалов, собранных в полевых условиях в 1957—1965 гг. по определенной программе¹. Поскольку история создания атласа, техника исследования и общая характеристика собранных материалов подробно изложены во многих рецензиях², ниже будут разобраны только некоторые общие и теоретически важные вопросы.

Подобно большинству атласов, Молдавский лингвистический атлас преследует цель закрепить многие быстро исчезающие диалектные особенности, чрезвычайно важные для исследования народно-разговорных черт языка, для выявления в синхронном срезе исторических особенностей развития диалектного и литературного языков, для изучения соотношений литературного языка и диалектов и, в частности, для установления интенсивности продвижения литературных волн и отнесения говоров, для изучения контактных явлений, для исследования диалектной основы литературного языка в прошлом и в наши дни.

При сходстве задач лингвистических атласов техника работы — собирание материала и нанесение его на карту — может быть различной. Авторы АЛМ, отлочно осведомленные в общих вопросах лингвогеографической проблематики и в особенностях романской, славянской и других лингвогеографических школ, учли положительные стороны в методике сбора, регистрации ответов, обработке и картографировании материалов своих предшественников. Традиции Жильерона нашли отражение, например, в приемах собирания материала (характере анкеты), в синтетических картах атласа («словесных», по терминологии Р. Я. Уд-

лера), которые позволяют установить фонетические, морфологические, лексические и семантические особенности слова. Наряду с этим, авторы АЛМ применили также ряд достижений советской лингвогеографии. Так, и в программе, и в атласах вопросы (карты) сгруппированы по явлениям (фонетическим), по тематическим группам лексики с указанием предмета в целом и его составных частей. Кроме того, в атлас введены обобщающие карты, значительное внимание уделяется социальной и возрастной категориям и стилистической оценке слова, смысловым комментариям, в которых обращается внимание и на возможности фразеологической сочетаемости данного слова³.

Учет авторами достижений романской лингвогеографической школы дает возможность ввести молдавский материал в общероманскую лингвистическую карту. Если бы атлас был сделан иначе, то его ценность уменьшилась бы во много раз, потому что диалектный материал молдавского языка интересен не только сам по себе, но и для будущих общероманских штудий — для тех исследователей, которые отважатся изучать лингвогеографически всю территорию распространения романских языков, как это в области лексики, сделано, например, в ряде работ Г. Рольфа и П. И. Рощки⁴.

С изданием рецензируемого атласа заполняется последнее в лингвогеографическом плане белое место в европейской Романии. Это дает возможность не только по-новому построить диалектные работы, но и перестроить сравнительно-историческую грамматику романских языков. Я имею в виду известную сравнительно-историческую грамматику Фр. Днца (написанную более ста лет тому назад) и В. Мейера-Любке (вышедшую лет 90 тому назад). Все то, что написано в области романистики с тех пор (М. В. Сергиевский в СССР, Й. Йордан в Румынии,

¹ См.: «Программа собирания сведений для составления лингвистического атласа молдавского языка», под ред. Р. Я. Удлера, В. С. Сорбалэ, В. А. Комарицкого, В. Ф. Мельника и Р. Г. Пиотровского, Кишинев, 1960; Р. Удлер, Атласул лингвистик молдовенеск, в кн.: «Атласул лингвистик молдовенеск», I, Кишинэу, 1968, стр. 5—20.

² См. рецензии, опубликованные в журналах «Коммунист Молдавии», 1968, 10; «Нистру», 1969, 3; «Лимба ши литература молдовеняска», 1969, 4; ВЯ, 1969, 5; ФН, 1969, 5; «Анале штинцифиче (филологиче) але Университэций де Стат В. И. Ленин дин Кишинэу», 1970, III, «Ынвэцэторул советик», 1970, 6; «Нистру», 1973, 5; «Secretări de lingvistică», 1973, 2; «Реферативный журнал ИНИОН АН СССР. Языкознание», 1974, 3, серия 6; «Реферативный сборник ОНИОН АН МССР», 1974, 12, и др.

³ См.: Р. Я. Удлер, Приемы регистрации ответов и методы их картографирования в региональном атласе, «Лимба ши литература молдовеняска», 1961, 4; его же, Принципы составления, задачи и особенности региональных лингвистических атласов, «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 23 VIII—2 IX 1967)», М., 1967.

⁴ См.: G. R o h l f s, Romanische Sprachgeographie, München, 1971; П. И. Р о щ к а, Лингвогеографические этюды Романии (на материале терминов виноградарства, виноделия и садоводства). АКД, Л., 1971.

И. Тальянини в Италии, Э. Бурсье во Франции, Б. Видос в Голландии и др.), не представляет собой сравнительно-исторической грамматики даже в плане традиционной грамматики В. Мейера-Любеке. Это каждый раз лишь подступы к этой грамматике. Основу такой грамматики, на мой взгляд, мог бы составить только материал, в котором в тесном единстве были бы представлены данные литературного языка и диалектов. Последнее возможно лишь при использовании лингвогеографических и диалектных источников всех зон романского ареала. Это позволило бы в современных терминах и понятиях, на новом уровне, строить сравнительно-историческую грамматику романских языков.

Как известно, территория Молдавии лингвогеографически была обследована в картах макроатласов восточно-романского массива Г. Вейганда (1901), С. Пола и Э. Петровича (1930—1938). В атласе Г. Вейганда на территории современных Молдавской ССР, Черновицкой и Одесской областей УССР зафиксированы особенности говоров 47 сел, а в атласе Э. Петровича — 8 сел. АЛМ построен таким образом, что дает возможность сопоставления материалов (общими для атласа Г. Вейганда и АЛМ является 31 населенный пункт, для атласа С. Пола и Э. Петровича и АЛМ — 31 населенный пункт), а это в свою очередь приводит к возможности наблюдать говоры в развитии, увеличивает достоверность собранного материала.

Составление атласов является огромной творческой работой, требующей знаний, умения, определенных навыков, колоссального терпения и, что очень важно, особого таланта. При этом, составлять атлас может только исследователь, имеющий общую диалектную и лингвогеографическую концепцию. Как известно, атлас является материалом, требующим дальнейшей обработки и исследования. Лишь как явление вторичное атлас может представлять собой само исследование. Часто, уже внутри атласа, некоторые карты составлены изоглоссным методом. Иногда в конце атласа встречаем серию карт, в которых обрабатываются материалы самого атласа. Таковыми являются серия карт АЛМ, в которых на тех же шаблонах нанесены изоглоссы, сделанные при помощи условных обозначений на основе первичных карт атласа. Эта серия карт дана в виде сводных или «интерпретативных» (в терминологии Р. Я. Удлера) карт (см. карты №№ 428—430, 710—721, 838, 1017—1035). Они представляют собой переработанные материалы диалектологического атласа, которые подтверждаются данными частоты употребления явления как такового, а не единичного факта. Сводные карты суммируют этот материал, подают его в удобном для исследования виде, приближаясь тем са-

мым к большим обобщениям. Даже без дополнительных разъяснений и материалов эти карты комментируют (интерпретируют) то или иное явление и по сути дела являются источником ареального исследования полевого материала.

Основные лингвогеографические проблемы, решение которых подсказывает лингвистический атлас Молдавии, следующие:

1. Составление диалектной карты молдавского языка.
2. Уточнение диалектной основы литературного языка. Бесспорно то, что при изучении литературного молдавского языка была определена и его диалектная основа, но это определение могло быть только априорным из-за отсутствия лингвистического атласа.
3. Проблема центра и периферии, выявление архаизмов и неологизмов в маргинальных говорах, вопросы иррадиации центральных говоров.
4. Проблема иррадиации за пределы основной территории в форме так называемой «островной» диалектологии. Говоры поселений в иноязычной среде, островные говоры, сохраняют многие черты говоров метрополии, но в современного их состоянии, а того времени, когда предки современных носителей языка переселились из разных мест основного массива. Так, говоры Николаевской и Кировоградской областей близки к говорам северо-восточной группы, говоры восточной части Украины имеют общие черты с говорами юго-западной группы, говоры Омской области — с говорами северо-западной и буковинской групп. Исследование всех этих особенностей становится возможным благодаря тому, что в атлас включено 30 пунктов островных ареалов: на Украине — в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Ворошиловградской областях, в Абхазии, в Краснодарском крае, в Омской области и в Приморском крае РСФСР, в Казахстане и в Киргизии (см. АЛМ I, карту № 4).

5. Проблема соотношения микро- и макроатласов, которая может быть поставлена на основании сравнения данных АЛМ и предшествующих атласов⁵. В связи с этим важны вопросы о темпах и характере развития, об изменениях в системе диалекта и понятии «синхронный срез».

6. Вопрос о соотношении языковых и политико-административных границ. Материалы сопоставления дают возможность сделать вывод о том, что хотя не-

⁵ См.: М. А. Бородин, М. Г. Волох, Н. Л. Сухачев, Микро- и макроатласы Романии (К вопросу интерпретации лингвистической карты), сб. «Лингвогеография, диалектология и история языка», Кишинев, 1973, стр. 9—16.

которые политические и административные границы исчезли более 50 лет тому назад, их влияние ощутимо и ныне. В рамках новых государственных границ, в силу новых условий границы языковых явлений изменяются — повсеместно проникают литературные варианты, с одной стороны, и расширяется территория распространения особенностей говоров центрального массива, с другой⁶. Эти наблюдения приобретают особую ценность в рамках известного тезиса К. Хаага о том, что исчезнувшие политические границы являются барьерами для языковых движений не дольше 300 лет; влияние новых границ отчетливо обнаруживается уже через 30—40 лет⁷.

Следует сказать, что многие из этих вопросов были уже в большей или меньшей мере разработаны, и прежде всего в работах Р. Я. Удлера, В. А. Комарниченко, В. Ф. Мельника, В. Г. Загаевского, В. С. Сорбалэ, В. Н. Стати и др. Так, на территории Молдавской ССР и прилегающих районов Одесской и Черновицкой областей УССР выделены на основании фонетических, лексических и частично морфологических особенностей следующие территориальные подразделения по группам говоров: 1) центральная, 2) юго-западная, 3) северо-восточная и 4) северо-западная. Отдельные группы образуют говоры Северной Буковины и говоры Закарпатья.

До сих пор исследователями рассматривались отдельные черты говоров наиболее «броские», либо случайно выхваченные, поскольку представить картину более или менее полную невозможно, не имея в руках хорошего и подробного лингвистического атласа.

Поставленная в начале рецензии цель — остановиться лишь на некоторых общих и теоретически важных вопросах — не лишает меня, однако, права сделать и некоторые критические замечания. Первое из них касается характера «интерпретативных» карт, приложенных, как упоминалось, в конце атласа. Эти карты могли бы быть более динамичными. Одно из ценнейших свойств карты — это, как часто говорил акад. В. М. Жирмунский, ее динамика. Вот эту динамику карты важно было бы показывать в «изоглоссных картах» АЛМ, чересчур статичных. В частности, это было бы существенно для обозначения направления воли распространения литературного языка, отесняющих диалекты на периферию, и, соответственно, для показа степени сужения ареалов распространения юго-

западных, северо-восточных и северо-западных говоров молдавского языка.

Второе замечание относится к одной из актуальных проблем современной лингвогеографии — к проблеме микро- и макроатласов, которая встала с особой остротой с тех пор, как после завершения национальных атласов многие исследователи перешли к созданию региональных атласов. Для разных территорий она решается по-разному. В АЛМ, в предисловии к нему и в комментариях рассказывается достаточно подробно о расхождении между данными АЛМ и предшествовавших ему макроатласов, точнее об ошибках этих атласов. При этом утверждается, что в основном материалы АЛМ и макроатласов совпадают. В результате в своих дальнейших работах Р. Я. Удлер утверждает, что за последние шестьдесят лет диалекты в общем не изменились. Такое представление об этом вопросе в восточнороманской зоне не может удовлетворить читателя. Возникают следующие вопросы: следует ли распространить сделанные наблюдения на всю территорию восточнороманских атласов, или предположить, что в Молдавии анкета была проведена предшественниками составителей АЛМ в более редкой сетке и с меньшим вниманием, чем к остальным зонам? Или может быть неточность формулировок и показа негативной и позитивной стороны при решении этого вопроса относится только к Молдавии? Как сочетаются такие наблюдения, да и вся ситуация в целом, с тем, что в основном говоры не изменились? При общем движении на разрушение говоров, особенно в такой зоне, как Молдавия, это утверждение выглядит неправдоподобным, да и сами материалы АЛМ и уже проведенных по нему наблюдений противоречат этому утверждению. Конечно, говоры остались и очень многие их черты не изменились, но нужно не столь уж большое количество дифференциальных черт для того, чтобы изменилась их система. К тому же, с точки зрения ареального распространения, картина изменилась весьма основательно из-за продвижения центральных говоров. Возможно, правильно было бы говорить о сохранении ядра тишичности основных молдавских диалектов (с точки зрения их территориальной, ареальной характеристики), а не языковой системы в целом, тем более, что, как все диалектные атласы, АЛМ ориентирован на поиск «архаичных» черт языка.

Сказанное никак не меняет высокой оценки, данной АЛМ. Достоверность рецензируемого атласа столь высокая, что АЛМ, несомненно, будет содействовать постановке и решению многих общих вопросов романистики.

М. А. Бородинка

⁶ См.: Р. Я. Удлер, Обусловленность границ фонетических явлений социально-историческими факторами, «Тезисы докладов и сообщений совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка», М., 1973, стр. 52—53.

⁷ См.: «Немецкая диалектография», под ред. В. М. Жирмунского, М., 1955, стр. 84.

А. Ф. Манаенкова. Лексика русских говоров Белоруссии. — Минск, изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1973. 184 стр.

В последние десятилетия наряду с огромнейшей работой по изучению диалектов на территории русского языка ведется весьма интенсивное обследование русских говоров, находящихся на иноязычных территориях. При изучении таких говоров перед исследователем встают в первую очередь три задачи: 1) установление их диалектной принадлежности в составе своего языка; 2) определение степени влияния окружающей языковой среды в различных сферах языка; 3) выяснение основных процессов, характеризующих развитие этих говоров. Исследовательской практикой установлено, что чем дальше друг от друга диалект и окружающая его среда, тем легче решать эти задачи. Напротив, чем ближе, чем роднее они, тем труднее отделить в диалекте свое, унаследованное от прошлого и общее с родственным языком, от приобретенного в результате длительного общения.

Появление русских переселенцев на исконной белорусской земле в районе Ветки (БССР, Гомельская обл.) исторические источники относят к 80-м годам XVII в., связывая его с усилением преследований старообрядцев со стороны русского правительства. Выбор А. Ф. Манаенковой для своего исследования говора Ветки следует признать удачным, ибо тут старообрядцы занимают более обширную территорию по сравнению со старообрядческими поселениями в других частях Белоруссии. В течение длительного времени Ветка была руковождающим центром духовной жизни старообрядцев, и условия бытования русского языка здесь были во многих отношениях специфичными. Занимая окраинное положение на белорусской территории, будучи в близком соседстве с украинским языком и русскими материковыми говорами, язык Ветки отражает сложные процессы, пережитые в течение почти трех столетий, и поэтому представляет особый интерес для историков русского языка.

В течение почти двух десятилетий изучает А. Ф. Манаенкова гор русских переселенцев Ветки¹. В 1973 г. ею издана специальная монография по лексике этих говоров. Наиболее тщательному обследованию в ней подвергся говор с. Леонтьево, ставшего опорным пунктом изучения языка Ветки. Кроме того, обследовано еще семь населенных пунктов. Материал собирался исследователем в полевых условиях в течение 1955—1970 гг. В последние годы в обследовании принимали участие и студенты БГУ, проходившие производственную практику по русской диалектологии.

¹ См.: А. Ф. Манаенкова, Говор русского села Леонтьево Ветков-

Рецензируемая работа А. Ф. Манаенковой состоит из введения, двух основных глав, заключения, списка сокращений и указателя слов.

В главе «Сельскохозяйственная лексика» (стр. 12—86) рассмотрены лексика полеводства, наименования сельскохозяйственных орудий, обозначения видов обработки земли, животноводческая лексика и лексика зернового хозяйства; слова, связанные с уборкой сена, а также терминология льноводства, птицеводства, пчеловодства и терминология ремесел.

Объектом главы «Лексика крестьянского быта» (стр. 87—160) явились наименования построек и их частей; слова, связанные со строительством, планировкой усадеб, жилища; наименования повозок, их частей, упряжи; названия предметов хозяйственного и домашнего обихода; слова, связанные с отоплением, освещением, уборкой и мелким ремонтом; лексика, связанная с питанием; диалектные наименования одежды, обуви и головных уборов.

Выбор для исследования этих разрядов лексики вполне оправдан и обоснован, так как они наиболее полно сохраняют старинную традиционную лексику, дающую возможность более полно и надежно решать поставленные автором задачи. Вместе с тем следует заметить, что автор поступил совершенно правильно, оставив в стороне древнюю, общеславянскую по происхождению лексику, которая без заметных структурных и семантических изменений сохраняется от древности в восточнославянских языках и по этой причине почти ничего не дает для выявления особенностей взаимодействия отдельных говоров в более позднее время.

Привятое в работе деление лексики на тематические подгруппы в известной мере ского района Гомельской области (Фонетические особенности), «Труды по языкознанию [Белорусск. гос. ун-та им. В. И. Ленина], 1, 45, Минск, 1958; е е ж е, Морфологические особенности говора села Леонтьево Добрушского района Гомельской области (Имя существительное), сб. «Доследаванні на беларускай і рускай мовах [Беларуск. дзярж. ун-та імя У. І. Леніна], Мінск, 1958; е е ж е, Белорусская лексика в говоре русского села Леонтьево Гомельской области, «Уч. зап. [Латв. гос. ун-та им. Петра Стучки], 92, 1968; е е ж е, Морфологические особенности говора села Леонтьево Добрушского района Гомельской области (Глагол), сб. «Лексікалогія і граматыка [Беларуск. дзярж. ун-та імя У. І. Леніна], Мінск, 1969; е е ж е, Вопрос о южновеликорусско-белорусской общности в лингвистической науке, «Вестнік Беларуск. дзярж. ун-та імя У. І. Леніна». Серыя IV, 1972, 1.

ре условно и субъективно, и для решения поставленных автором задач более приемлемой была бы классификация материала по ареалам распространения на восточнославянской языковой территории. Однако такое изучение материала возможно лишь при условии полного и равномерно отражения в лексикографических источниках всей диалектной лексики восточнославянских языков. В настоящее время исследователь еще не располагает такими пособиями, особенно по белорусскому языку. Поэтому он не может точно распределить материал по территориальному признаку, ибо у исследователя нет уверенности, что то или иное слово, не зафиксированное в диалектных словарях, действительно не употребляется на данной территории.

Всего в монографии А. Ф. Манаенковой представлено свыше 400 диалектных слов и терминологических сочетаний, выявленных автором в словарном составе ветковских говоров.

Изучаемые слова А. Ф. Манаенкова анализирует с разных точек зрения. Прежде всего называется изучаемое слово, которое обыкновенно приводится в своей исходной форме, но записывается по правилам современной русской орфографии. Затем раскрывается значение этого слова, причем в одних случаях автор дает свое, авторское толкование, в других — приводит непосредственный диалектный иллюстративный материал, который с достаточной полнотой раскрывает семантику данного слова. Как правило, далее приводятся сведения о фиксации слова в диалектных словарях русского языка с указанием территориального распространения его в говорах, помещаются также соответствующие эквиваленты белорусского, украинского и польского литературных языков или их говоров. Автор обращает внимание на семантическое развитие изучаемых слов, а также на словообразовательные особенности их в отдельных языках и говорах. Во многих случаях А. Ф. Манаенкова приводит и этимологические справки по существующим этимологическим словарям. Автор тщательно изучил все важнейшие доступные в настоящее время лексикографические пособия в виде диалектных, толковых и этимологических словарей и существующую теоретическую литературу, благодаря чему ему удалось дать сравнительно полную и точную лексикографическую, семантическую и территориальную интерпретацию изучаемых лексических единиц.

Основные наблюдения А. Ф. Манаенковой сводятся к следующему.

При общности словарного состава языка Ветки между отдельными говорами обследованных населенных пунктов имеются некоторые расхождения в обозначении одной и той же реалии, одного и того же понятия. Эти расхождения могли

явиться в результате неравномерного воздействия на речь жителей различных сил иноязычного окружения или литературного русского языка, но они могут отражать и лексические различия между близкими микросистемами.

Несмотря на известную замкнутость, имеющую в основе своей мотивы религиозного характера, русские пришельцы вступали в более или менее тесные контакты с окружающим белорусским населением. Естественным следствием контактов было взаимное влияние, различное по степени своей интенсивности со стороны говоров того и другого языка. На диалектное белорусское воздействие, испытываемое русскими говорами, наставлялось влияние литературного русского языка. При этом окружающие белорусские говоры могли быть проводником влияния своего национального языка. Довольно близко украинское соседство, отхожие промыслы могли также оставить свои следы на русской речи ветковцев.

В монографии показано, что изменения словарного состава говора в иноязычном окружении, кроме случаев ассимиляции, характеризуется больше приобретениями, чем потерями, поэтому даже при длительном пребывании в чужой языковой среде он сохраняет часть своих исконных лексических единиц. Поэтому именно показания словаря представляются наиболее важными в установлении диалектной принадлежности носителей современных ветковских говоров.

Различные диалектные слова неодинаковы по степени своей распространенности: одни существуют на очень значительной территории русского языка, другие характеризуются более узкой локализацией. Значение диалектной лексики более узкого распространения для решения вопроса об исконной принадлежности данных говоров куда более важно в сравнении с лексикой широкой известности. Однако в связи с отсутствием сводного словаря всех говоров русского языка понятия диалектного слова широкого или узкого распространения останутся не только условными, но и весьма рискованными. Пользуясь показаниями словарей и картотек, в настоящее время можно делать лишь предположительные замечания о степени распространенности того или иного слова на территории русского языка.

Значительную часть рассмотренных диалектных слов составляют лексемы, имеющие довольно широкую известность на территории русского языка. Многие из таких слов представлены на правах областных в словарях литературного русского языка. Свойственны они языкам белорусскому и украинскому, а часть — польскому: *бабка* «кладь хлеба», *жито*, *жениво*, *кросна*, *кудель*, *кужель*, *кузня*, *кут* «угол», *яда*, *мост* «пол», *ночель*, *пехтерь*, *поветь*, *прасло*, *арь* и др. В пределах наз-

ванных языков между такими словами могут быть незначительные фонетические и словообразовательные отличия (ср. русск. *огорожина*, белорусск. *агародзіна*, *гародзіна*, укр. *городина*, польск. *ogrodzina*). Различия в словообразовательной структуре могут переплетаться с некоторыми специфическими семантическими оттенками.

Будучи в русском языке диалектными, в других восточнославянских языках перечисленные и подобные слова в подавляющем своем большинстве входят в состав литературных. Вероятно, определенная доля их составляет ту часть древнерусского наследия, которая при формировании литературного языка русской народности осталась за его пределами, сохранившись лишь в говорах.

Среди русских диалектных лексем, общих с белорусским и украинским, есть такие, которые свойственны преимущественно южным говорам, но встречаются также в отдельных северных: *будка* «собачья конура», *волна* «овечья шерсть», *копа*, *ряшка*. Значительное место среди русской диалектной лексики, общей с украинской и белорусской, принадлежит словам, ареалы распространения которых, согласно имеющимся данным, занимают территорию южновеликорусских говоров и не заходят на северновеликорусские земли: *эйю* «навоз», *горелка*, *грубка*, *дула*, *колотовка*, *морква*, *зрянка* «кочерыжка капуста», *цебер*, *цепильня* «рукоятка цепа» и др.

Обнаруживается также группа слов, общих для белорусского, украинского и южновеликорусских говоров, размещенных на юге, юго-западе и западе исследуемой территории. Во многих случаях этот ареал захватывает также говоры среднерусские. Входящие сюда слова разнообразны по своей тематической принадлежности: *банька* «часть косы», *грабильня*, *калоша*, *коваль*, *кроква*, *куль*, *лой*, *лусть*, *лутка*, *мливо*, *мостница*, *олей*, *отоса*, *скибка*, *фортка* «калитка», *щула*, *юшка*, *жать*, *жлуктить*, *крышить*, *снетать* и т. п. Изучение данных слов позволяет предполагать проникновение их в русскую диалектную среду из соседних белорусского и украинского языков. Это проникновение связывают с эпохой существования Литовско-Русского государства, в составе которого оказалась часть южновеликорусской области. Но существует и другое объяснение. В свое время А. И. Соболевский, Е. Ф. Будде, а позже С. М. Кардашевский искали причины общности в более древней эпохе, связывая ее с общностью племенного состава предков носителей этих диалектов.

Часть словарного состава, общая для белорусского и украинского языков, юго-западной и западной полосы южновеликорусских говоров, представляет значительные трудности в смысле изучения ее генезиса в ветковских говорах. Ее мож-

но рассматривать как усвоенное курскими диалектами наследие древних племенных диалектов, как украинские слова, перешедшие в курские говоры и перенесенные оттуда предками нынешних ветковцев и как результат непосредственного белорусского влияния. Без специальных исторических разяснений не представляется возможным указать один из трех названных путей появления этих слов в языке Ветки. Поэтому при определении исконной диалектной принадлежности ветковских говоров указанная часть их словарного состава оказывается нейтральной и непоказательной.

В русских диалектах имеются также и такие слова, которые являются общими для них и лишь для какого-либо одного восточнославянского языка. Русско-белорусские слова на территории каждого языка имеют различные ареалы, причем особенно пестрой выглядит картина их распространения на русской языковой территории. Одни из них отмечены в южных и северных русских говорах, другие не выходят за пределы западных, юго-западных и северо-западных говоров, третьи охватывают лишь юго-западную часть южновеликорусского наречия. Общие русско-белорусские словарные единицы неодинаковы и по степени распространенности на белорусской территории. Однако русско-белорусский ареал далеко не всегда позволяет предполагать влияние в каком-либо определенном направлении. Скорее всего можно считать, что общие слова могли возникнуть в русских и белорусских говорах вне всякой зависимости одних от других на основе единых элементов лексики по одинаковым словообразовательным моделям.

В ветковских говорах значительно меньше русско-украинских слов, неизвестных белорусскому языку. Вместе с тем, русские говоры Ветки содержат слова, неизвестные другим восточнославянским языкам, кроме русского. Различным частям словарного состава ветковских говоров на территории России соответствуют ареалы различных очертаний. При решении вопроса о территориальном происхождении ветковцев наибольшую доказательную силу могут иметь слова, свойственные лишь определенной местности и неизвестные другим. Сопоставление диалектных русских слов с ветковскими указывает на наибольшую близость ветковской лексики к лексике курско-орловской. Курское происхождение ветковцев подтверждается и некоторыми этнографическими данными, которые также привлекаются автором при рассмотрении отдельных слов.

В работе А. Ф. Манаенковой изучен большой лексический материал, где каждое слово потребовало особого, специального подхода. Априорно трудно ожидать, чтобы весь этот материал был освещен безупречно во всех отношениях. Само

собой разумеется, что никакой рецензент не в состоянии оценить достоверность этого материала со стороны его происхождения, распространенности в говорах, семантической и словообразовательной характеристики и т. д., ибо для достижения такой цели рецензенту пришлось бы повторить большую часть проделанной автором работы. Надо также заметить, что выявление возможных неточностей в освещении того или иного слова не повлияло бы на общую оценку работы, поскольку выводы автора основываются на большом фактическом материале, который в большинстве своем не вызывает сомнения.

Все же по монографии А. Ф. Манаенковой можно сделать несколько замечаний общего характера.

Перед исследователем говоров, находящихся на иноязычной территории, одним из основных вопросов является определение степени влияния окружающей языковой среды. Об этом говорит и А. Ф. Манаенкова во «Введении» (стр. 7). К сожалению, этот вопрос почему-то оказался сознательно обойденным исследователем. Между тем, при характеристике отдельных слов автор разрозненно говорит о несомненном белорусском влиянии (ср. слова *иржевник, колеса, комель, кровина, обротъ, привязь, пуця, снадать, трава* и др.). Совершенно очевидно, что без специального освещения вопроса о белорусском лексическом влиянии общая характеристика словарного состава изучаемого говора не может быть полной.

Автора исследования можно упрекнуть и в том, что он слишком мало использовал материалы исторической лексикологии восточнославянских языков. От автора нельзя требовать, чтобы он самостоятельно изучил лексику письменных памятников восточнославянских народов. Однако существующие в настоящее время картотеки словарей древнерусского, старорусского и старобелорусского языков, несомненно, дали бы возможность дополнить характеристику многих слов. Например, А. Ф. Манаенкова, ссылаясь на С. И. Коткова, отмечает, что наименование *бурак* встречается в белгородских, курских и в брянских письменных памятниках первой половины XVIII в. (стр. 47). Но в бе-

лорусской письменности это слово зафиксировано уже в 1593 г. Освещение слова *цибуля* также сопровождается ссылкой на С. И. Коткова, который отметил его в белгородском письменном памятнике 1744 г. (стр. 49). Однако это слово фиксируется уже белорусским памятником конца XV в. В белорусских памятниках XVI в. обычными являются слова *клямка, куль, пуця, скиба, фортка, шоба* и др., учет этих и подобных фактов позволил бы более уверенно говорить о путях проникновения многих изучаемых слов в говор ветковцев.

Видимо, следовало бы больше внимания уделить общей характеристике языковой ситуации в Белоруссии в период проживания здесь старообрядцев. Относительная устойчивость языка ветковцев, несомненно, связана с тем, что здесь русский литературный язык начал распространяться раньше белорусского и длительная роль его в общественной жизни была более важной, чем белорусского литературного языка. Это обстоятельство, конечно, не могло не содействовать устойчивости ветковского словарного состава, который испытывал некоторое воздействие лишь со стороны окружающих белорусских говоров, но не со стороны белорусского литературного языка.

В целом же монография А. Ф. Манаенковой представляет несомненный интерес для восточнославянского языковедения. Проведенное в исследовании изучение взаимодействия двух близкородственных языков обнаруживает ряд интересных закономерностей, которые в такой полноте не проявляются в случае взаимодействия языков разных систем. Материалом исследования убедительно показано, что характер изменения лексики говоров, оказавшихся в соседстве с другим языком, находится в зависимости от ряда факторов: общественно-политических, экономических, религиозно-нравственных и лингвистических, а также от продолжительности пребывания пришельцев на иноязычной территории.

Книга А. Ф. Манаенковой дает ценный материал как для истории восточнославянских языков, так и для общего языковедения.

А. И. Журавский

Г. П. Князькова. Русское просторечие второй половины XVIII в. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1974. 253 стр.

Монография Г. П. Князьковой органически входит в серию лексикологических исследований языка XVIII в., которые являются своего рода главами фундаментальной исторической лексикологии русского языка. Это известные работы ее

коллег по Словарному сектору Института русского языка — Л. Л. Кутиной, Ю. С. Сорокина, Е. Э. Влржаковой, Л. А. Войновой, В. В. Замковой и ряда других лингвистов-лексикологов. Эти исследования и книга Г. П. Князьковой

объединены методологически, созданы на базе картотеки Словаря XVIII в. Они отличаются не только тем, что вводят в научный оборот новые материалы, но, и это главное, новой интерпретацией ряда явлений в истории языка XVIII в., о которых сложились традиционные, но тем не менее неверные представления.

Обычно подчеркивается значение изучения языка XVIII в. для углубленного понимания процессов развития языка XIX в., особенно пушкинской поры, что несомненно, но хотелось бы обратить внимание на важность данных языка XVIII в. и их интерпретации для объяснения ряда явлений в языке XVII в., который известен нам по несравненно меньшему количеству письменных источников, чем XVIII в. Письменная фиксация слов обычно отстает во времени от их реального употребления, а лексикографические описания отражают появление того или иного слова в языке часто со значительным опозданием. Именно поэтому существенно и ретроспективное рассмотрение фактов языка XVIII в., особенно в сфере живой речи.

Среди последних работ по лексикологии XVIII в. книга Г. П. Князьковой занимает свое особое место. Она посвящена наименее традиционной и наименее разработанной теме — анализу просторечной лексики. Изучение русской просторечной лексики важно в самых различных аспектах — в плане истории литературного языка и как косвенный источник устной разговорной речи, диалектного словаря. Вместе с тем следует подчеркнуть, что тема просторечия является чрезвычайно сложной в методологическом плане, особенно применительно к языку XVIII в. Здесь и трудности вычленения самого понятия, определения объекта исследования, сложность и обилие материалов, при этом часто материалов, не описанных лексикографически, не изученных этимологически, здесь и трудности в изучении языка XVIII в. в целом, отличающегося бурными процессами вхождения в употребление новых слов различной семантики и стиля, обилием окказионализмов различного происхождения, множественностью языковых норм.

Монография Г. П. Князьковой состоит из семи глав. Первая из них посвящена обзору и характеристике источников, обоснованию их отбора. Вторая глава — генетическим истокам просторечия как функционально-стилистической категории лексики. В третьей главе рассматриваются отдельные модели производных слов, в различной мере характерные для просторечия. В четвертой — семантические особенности просторечия. Пятая глава содержит анализ просторечия в плане выражения отношения говорящего к факту, анализ так называемых оценочных слов. В шестой главе показывается пути оформления просторечия как особого слоя

лексики литературного языка. В седьмой, заключительной, главе рассматриваются вопросы отношения Н. М. Карамзина и его последователей, с одной стороны, и А. С. Шишкова и его сторонников, с другой, к просторечью в сфере литературного словоупотребления. Таким образом, просторечная лексика второй половины XVIII в. рассматривается в этой книге на значительном материале и с различных сторон.

Г. П. Князькова хорошо знает тексты XVIII в., свободно в них ориентируется, хотя только печатных книг в Сводном каталоге 1725—1800 гг. значится более десяти тысяч названий, не считая более 500 периодических изданий. В монографии использованы материалы Словаря XVIII в. и собственная картотека автора в 12 000 карточек. Уже самый отбор и объем источников в данном исследовании имеет громадное значение для изучения языка XVIII в. Г. П. Князькова выходит за границы традиционных источников, на которые до недавнего времени опирались в своих работах исследователи языка этого периода. Она не ограничивается анализом текстов лучших писателей эпохи. Как неоднократно отмечалось, памятники русской речи XVIII в. до недавнего времени были изучены далеко недостаточно. Исследования последних лет и работы Г. П. Князьковой, в частности, показали, что анализ языка так называемых «рядовых» авторов XVIII в. дает весьма значительные результаты, позволяет сделать наблюдения общего характера, для которых факты, почерпнутые только из образцовых сочинений того времени, оказались явно недостаточными. Тексты, на которых построено исследование Г. П. Князьковой, в значительной своей части в плане просторечия используются здесь впервые. Материалы, вводимые Г. П. Князьковой, разнообразны и тематически, и хронологически, и по составу авторов. Достаточно указать, что только список условных сокращений, применяемых в книге, составляет 16 страниц петитом. Особенно широко в работе используются тексты комедии и комической оперы, притчи и басни, эпиграммы и сатиры, дневников и писем, журнальных публикаций различного содержания, книг научно-публицистического характера, записи фольклора. В то же время, где это нужно автору в сравнительном плане, учитываются тексты высокого слога. Особо следует выделить широко привлекаемые материалы переводов, которые почти не учитывались языковедами до самого последнего времени, хотя переводная литература, по подсчетам исследователей, во второй половине XVIII в. составляет две трети от общего числа книг, изданных в этот период. Замечу попутно, что и в настоящее время русские тексты переводов (особенно Петровского времени и позднее) специально — в плане сопоставления

словаря перевода с языком оригинала — почти не изучаются. Между тем такой тип исследования представляет собою весьма ценный источник сведений о значении русского слова, не менее информативный, чем анализ двуязычных словарей, который получил достаточно широкое распространение только в работах последних десятилетий. Давние филологические традиции и отработанные приемы сопоставительного исследования древнеславянских переводов различных изводов и редакций и их протографов применительно к более поздним переводным русским текстам почти не учитываются.

Монография Г. П. Князьковой насыщена материалом, но читателя не покидает ощущение, что множество лексических фактов, добытых автором непосредственно из текстов, осталось за пределами книги. Свои положения Г. П. Князькова обычно иллюстрирует целыми списками слов, но сравнительно редко примеры даются в контекстах, еще реже — в цитатах (что, несомненно, имеет внешние причины — заданный объем книги), а между тем самый предмет анализа — просторечное слово, т. е. слово, вошедшее в книгу из живой речи, отличающееся и семантически, и стилистически от специфических книжных слов, требует подачи его в контексте. Этим материалом вполне владеет автор, но в значительном числе конкретных случаев он скрыт от читателя монографией.

Вовлечение в исследование весьма значительного количества источников, которые ранее не учитывались при изучении языка XVIII в. или же учитывались выборочно, позволило автору не только дать описание и многоаспектный анализ просторечия второй половины XVIII в., но и определить его роль в формировании русского литературного языка второй половины XVIII в. в целом. При этом ряд лексических явлений получает в работе новое освещение и толкование, последнее выходит за рамки сведений по изолированным словам, а показывает в совокупности данных существенные различия в семантике и стилистике словарного состава XVIII и XIX вв. Тем самым создается необходимая фактическая основа для более глубокого объяснения процесса создания национального русского литературного языка в пушкинскую эпоху, для которой демократизация речи была особенно характерна.

Г. П. Князькова подходит к просторечию как к функционально-стилистической категории, при этом она учитывает, что такой аспект требует постоянного внимания к определяющим особенностям, составляющим эту категорию, прежде всего к тому, что стилистическая окраска слова изменчива, подвижна во времени и зависит от условий употребления. Она учитывает и стремится избежать опасность нарушить историческую перспективу, осо-

временить словоупотребление XVIII в. В этом отношении перед автором стояли значительные трудности, которые преодолеваются продуманными приемами исследования — кропотливым анализом множества контекстов из разнообразных источников, сопоставлением лексикографических характеристик слова, проверкой более ранних словоупотреблений на более поздних в границах изучаемого периода. Последнее представляется мне особенно интересным и результативным: вторая половина XVIII в. не была единой в словоупотреблении, в течение этого времени в словаре происходили разнохарактерные изменения (быстрая архаизация ряда слов, появление множества неологизмов, перемещение семантических центров в широко употребительных многозначных словах, различные стилистические модификации). Г. П. Князькова проделала громадную работу по сопоставлению материалов пятитомных «Аналогических таблиц» с обоими изданиями Словаря Академии Российской и с несколькими многоязычными словарями XVIII в., в том числе со словарями С. Волчка, И. Нордстета, Н. Курганова, К. Кондратовича (при полноте лексикографических источников несколько удивляет отсутствие среди них интересного словаря И. Гейма, правда, он был опубликован на рубеже XIX в.).

Очень важны наблюдения и выводы Г. П. Князьковой в связи с изменениями в употреблении просторечия на протяжении второй половины XVIII в., т. е. в границах изучаемого ею периода. Это умение видеть движение там, где его обычно не обнаруживали, и показать его на множестве фактов является, на мой взгляд, одним из основных достижений автора монографии. В 50—70-е годы, как показывает исследовательница, просторечные слова группируются прежде всего в памятниках низкого и среднего слога. Позднее, в 80—90-е годы, происходит характерная перегруппировка значительных масс просторечных слов, множество ранее отчетливо стилистически окрашенных лексем теряет просторечный колорит и переходит на положение стилистически немаркированных, нейтральных слов литературного языка. В тот же период ряд слов, характерных для определенных (преимущественно низких) жанров литературы, выходит за границы языка художественной литературы. Одновременно наблюдается и перемещение ряда первоначально нейтральных слов в разряд просторечных.

В монографии Г. П. Князьковой большое внимание уделяется характеристике типов значений, свойственных просторечию. Выделяются пейоративные значения (незаслуженно меньшее внимание, на мой взгляд, уделяется различным видам слов с уменьшительными и ласкательными значениями); специально описываются

просторечные значения, образованные посредством метонимических и метафорических переносов в словах с основными книжными или нейтральными значениями (типа *благодать, мытарь* или *баня, бедн. каша*). Интересно наблюдение Г. П. Князьковой о многочисленности синонимических рядов просторечных слов (типа *лежень, сидень, увальень; рожа, рыло, харя; плакида, плакса, плаксун, рева*), выявляющее, как мне представляется, одно из характерных отличий категории просторечия от славянизмов. Для последних типичен не ряд, а пара синонимов — славянизм и его нейтральный дублет (ср. *очи — глаза, но буркала, зенки, бельма*). При обилии синонимов автор отмечает слабую выраженность автономических противопоставлений в сфере просторечной лексики.

В книге поставлена тема словообразования в плане изучения просторечной лексики, описывается ряд словообразовательных моделей производных слов (преимущественно двух лексико-грамматических классов — существительного и глагола, при этом особенно обилие материал по глаголу), выделяются модели различной степени продуктивности в пределах изучаемой категории слов, но этот аспект лексикологического анализа здесь только намечен, а между тем он заслуживает специального монографического исследования.

Таковы основные положения книги Г. П. Князьковой. Следует отметить, что в работе содержится множество интересных комментариев, посвященных употреблению отдельных слов или групп слов (например, о словах *бремя* и *беремя*, *крыша* и *кровля*, *жара* и *жар*, *прыткий*, *ретивый* и *рылый* и мн. др.).

Даже краткий обзор монографии «Русское просторечие второй половины XVIII в.» показывает, как богата содержанием, материалами и идеями эта книга, как своевременно ее издание. Перед нами первое фундаментальное описание просторечной лексики второй половины XVIII в., т. е. такого слоя словарного состава, который во многих отношениях определил направление развития русского литературного языка в целом в последние эпохи его истории.

Отдавая должное работе Г. П. Князьковой в целом, отмечу некоторые положения и конкретные примеры в этой книге, которые представляются мне недостаточно убедительными. Прежде всего несколько соображений в связи с основным понятием работы — термином «просторечие». Автор справедливо отмечает отсутствие четкой интерпретации этого понятия в литературе XVIII в., в высказываниях ученых и писателей, а также отсутствие достаточно точного определения применительно к конкретным историческим эпохам развития русского литературного языка в лингвистических трудах

XIX и XX вв. «Объектом нашего исследования», — пишет Г. П. Князькова, — является просторечие в аспекте литературного языка, понимаемое как функционально-стилистическая категория, обладающая стилистической маркированностью, проявляющейся как сниженность, опрощенность» (стр. 9). Это определение можно принять. В нем отражены существенные компоненты понятия: 1) принадлежность просторечия к литературному языку; 2) стилистическая его маркированность, проявляющаяся как опрощенность. Но далее автор пишет: «...понятие „разговорная речь“ идентично в то время понятию „просторечие“ как форма существования „языка“ (стр. 14). Далее: «Разговорная речь в то время занимала промежуточное положение между письменным литературным языком и диалектами» (там же). «Для первой половины XVIII в. характерна адекватность понятий просторечие — общая разговорная речь» (стр. 21). Таким образом, просторечие и разговорная речь в дальнейшем не дифференцируются, кроме того, стирается существенное различие в употреблении просторечия в первой и второй половине века. Я думаю, что просторечие как лексическая категория — факт литературного языка в его письменной форме, у него свои особые функции как у специфической стилистической категории («опрощенность»). Разговорная (=устная) речь — источник просторечия, но сама разговорная речь в XVIII в. не входит в понятие «литературный язык», при этом разговорная речь — единственный, по моему глубокому убеждению, источник просторечия, какими бы признаками генетическими (этимологическими) не обладало то или иное слово. Поэтому я думаю, что вторая глава монографии («Генетические особенности просторечия») имеет своим объектом не просторечие, а разговорную лексику (которая в данном случае изучается автором опосредствованно — по материалам литературного языка, т. е. через косвенный источник). Просторечие — «простое реченье», говоря языком XVIII в., — могло войти в литературный, прежде всего в художественный текст только из живой, повседневной, простой речи, при этом в самой разговорной речи те или иные слова (воспринимаемые в литературном употреблении как просторечные) могли и не иметь стилистической окраски, которую они в качестве просторечия получали в литературном контексте. Для характеристики просторечия как функционально-стилистической категории литературного языка XVIII в. принципиально безразлично, является ли в своей основе *кургуевый* общеславянский, *крыша* восточнославянским, *амуриться* французским или *грамотей* греческим. Проблемы генезиса существенны для истории каждого из этих слов как слов русского языка, но применитель-

но к просторечию как категории принципиально возможно учитывать только непосредственный источник — живую речь (которая могла иметь в своем составе слова самого различного происхождения, в том числе и старославянские, и неславянские, воспринятые в живом общении и через письменный язык). Просторечие не было бы просторечием, если бы имело своим непосредственным источником книгу. Поэтому, например, комментарии автора о церковнославянском происхождении просторечного для XVIII в. слова *супружник* (и особенно *супружница*) представляются мне излишними, так как в литературный язык этого времени *супружник* попало из повседневного употребления, а не из церковнославянских памятников. Замечу, что в церковнославянском языке слово *супружник* образовалось из *супруг* с продуктивным суффиксом живых славянских языков *-ъникъ* (ср. аналогичные др.-русск. *супрь* и *супрьникъ*); к тому же в данном случае важно было бы (для истории слова в русском языке) отметить семантические его отличия от церковнославянского употребления.

Ряд лексем, анализируемых во второй главе, в плане этимологии объясняется несколько упрощенно (например, утверждение о греческом происхождении слова *сандал* без учета его семантических модификаций, о тюркском происхождении слова *кочан*; утверждение об общеславянском или восточнославянском происхождении ряда слова — на стр. 64; точнее было бы здесь указать на преимущественное употребление таких слов в определенных группах языков или в отдельных славянских языках).

Вызывает возражение отнесение ряда слов к просторечию. Так, например, нельзя считать доказанным, что слово *кочан* (см. стр. 64, 89, 115 и др.) — просторечное в XVIII в. (о слове *кочень* в работе не упоминается, хотя, если оно известно в текстах этого времени, видимо, оно и было просторечным, а *кочан* — нейтральным, как и ряд других слов, относящихся к сфере «грубых» реалий). Вряд ли существенно *трясавица* (стр. 54) в смысле к Державину употреблялось как просторечное. Словарь 1847 г. еще толкует его как церковное, в известных мне областных словарях приводятся другие словообразовательные варианты, между тем это слово весьма часто встречается в требниках, и, видимо, воспринималось

носителями языка XVIII в. (постоянными читателями требника) скорее как книжное, чем просторечное речение. Нельзя рассматривать как просторечное для XVIII в. и слово *прищипа*, это все еще типично книжное слово, за которым стоит непрерывная давняя традиция книжного употребления, ср., видимо, нейтральное *башня*, которое также (и без недостаточных оснований, на мой взгляд) Г. П. Князькова относит к просторечию (стр. 64).

Следуя традиции, Г. П. Князькова считает книжными аффиксами суффиксы *-ство* и *-ость* (стр. 99 и сл.). Я думаю, что эта точка зрения должна быть пересмотрена. Данные последних исследований (от обзорной книги болгарского ученого Ив. Лекова «Словообразовательни склонности на славянските езици» — 1958, докторской диссертации Н. М. Шанского до только что опубликованной монографии Е. Н. Прокопович, В. Н. Хохлачевой и Н. Т. Шелиховой «Суффиксальное словообразование в восточнославянских языках XV — XVII вв.») говорят скорее о том, что форманты *-ство* и *-ость* (как и некоторые другие!) являются общеславянской особенностью, известны большинству славянских говоров. Книжными их считают только потому, что множество конкретных слов, с ними образованных, по типу значения (отвлеченные существительные) чаще употребляются в книжной речи, чем в повседневной. Обильные материалы в книге Г. П. Князьковой, по моему, подтверждают именно такую интерпретацию данных формантов.

В заключение отмечу недочеты в издании книги. Так, выводы к работе в целом не выделены, а даны как параграф последней главы (см. стр. 231). В книге встречаются опечатки (дата выхода Словаря А. Л. Дювернуа, например, не 1824 г., а 1894 г. — стр. 62; А. Л. Дювернуа родился в 1840 г.), особенно много искажений в наборе греческих слов (здесь часто отсутствует знак ударения, а знак придыхания дается над согласной, много буквенных опечаток). Особенно огорчает отсутствие словоуказателя. Индексы слов в лексикологических работах печатаются все реже и реже, что весьма затрудняет пользование такого рода изданиями; в данном случае нарушается одна из давних и лучших традиций академического издания.

Р. М. Цейтлин

В. Д. Бондалетов. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Выпуск первый. Условные языки как особый тип социальных диалектов. Под ред. и с предисл. члена-корр. АН СССР Ф. П. Филина. — Рязань, 1974, 110 стр. + 1 карта.

В разработке общетеоретической и практической проблемы «Язык и общество» советское языкознание имеет неоспоримые успехи. Вопросы социальной обусловленности языка попали в поле зрения советских ученых уже в 20—30-е годы (работы Б. А. Ларина, В. М. Жирмунского, Н. М. Каринского, М. В. Сергеевского, К. Н. Державина и др.); с тех пор они не переставали интересовать наших лингвистов, социологов, философов, историков, психологов. Особенно широкое исследование проблем социальной лингвистики развернулось у нас в 60 и 70-е годы, когда вышли в свет монографии, сборники статей и другие материалы, связанные с исследованием и описанием языкового материала в социологическом аспекте¹.

И все же, как отмечает в предисловии к рецензируемой книге Ф. П. Филин, «в широкой социолингвистической проблематике остаются участки, которые пока нельзя считать хорошо разработанными. Одним из них являются социальные диалекты» (стр. 4).

Рецензируемая книга написана В. Д. Бондалетовым, одним из крупнейших специалистов по изучению условных языков русских и других восточнославянских ремесленников, торговцев и близких к ним социальных групп. В течение последних двух десятилетий автор сумел организовать тщательное экспедиционное обследование почти всех «месторождений», где в прошлом жили ремесленники-отходники и торговцы (офени, прасолы и др.) и была распространена условная, или тайная, речь. К книге приложена карта-схема «Распространение условно-профессиональных языков в прошлом и теперь».

По-видимому, для подавляющего числа условных языков записи В. Д. Бондалетова и его помощников окажутся последними, поскольку уже сейчас в обследованных местах арго либо уже окончательно исчезли, либо находятся на грани окончательного распада.

К аргогической лексике, записанной во многих областях страны, автор добавил значительное количество материалов, извлеченных из архивных рукописей XIX и XX вв. ряда городов РСФСР, а также Украины и Белоруссии. В распоряжении В. Д. Бондалетова оказались

аргогические данные, включающие не менее 30 тысяч лексических единиц, что во много раз превышает материалы, накопленные его предшественниками в XVIII—XX вв.

В рецензируемой книге дается всесторонняя характеристика условных языков русских ремесленников и торговцев. Автор выявляет их функции, показывает их промежуточное положение между искусственно созданными и естественными языками. В работе характеризуется лексико-понятийная система арго, определяется удельный вес в этой системе собственно профессиональных слов, проводится классификация аргогической лексики по характеру ее отличия от общенародной лексики; предлагается принципиальное разграничение условно-профессиональных арго и воровского жаргона; выявляются, наконец, социально-экономические предпосылки исчезновения тайных языков ремесленников-отходников и торговцев, а также прослеживаются конкретные формы и пути этого процесса.

Во «Введении» говорится о том, что лингвистическая сущность условного «языка» заключена в его лексической системе (включающей не понятные для окружающих слова), изменение же и сочетание слов осуществляются по законам родного языка. Например, фраза *В масовской дробне вяче салуги переводится так: В нашей реке много рыбы и т. п.*

В аргогическом словообразовании очень заметны и легко вычленимы общенародные (и диалектные) продуктивные морфемы: *сурьха* «старуха», *хрунятина* «свинина», *дьяббха* «вода», *сбранъа* «брат» и др. Своих служебных слов условные арго не имеют, заимствуя их (как и другие грамматические категории и средства) из общенародного языка.

Подсчеты, проведенные автором на текстах арго и словарных материалах, показывают, что на долю всех знаменательных частей речи в арго (как и в общенародном языке) приходится около 90% слов, а на долю «частич речи» (общенародных по своему характеру) — 10%. Среди самостоятельных слов арго имена существительные составляют около 50%, имена прилагательные — 6%, глаголы — 26%, наречия — 5%. В общих чертах эти данные сходны с теми, которые получены при статистическом обследовании русского литературного языка: существительные в нем составляют 44%, прилагательные — 13%, глаголы — 24%, наречия — 9% (см., например, «Частотный словарь современного русского литературного языка» Э. А. Штейнфельдта).

Грамматические роды в арго по количеству охватываемых слов распределяются следующим образом: мужской род —

¹ «Язык и общество», М., 1968; «Русский язык и советское общество», М., 1968; «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969; «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970; «Язык и общество», 1—3, Саратов, 1967—1974, и др.

53%, женский — 43%, средний — около 3% и общий род — менее 1%.

Автор демонстрирует большие возможности арготического материала для изучения народного словообразования (в особенности морфологического словопроизводства), показывает интересные случаи преодоления суффиктивизма в соотносительных парах слов со значением мужского и женского пола: *лог «мужик» и лбага «женщина», вбран «брат» и вбранка «сестра»*.

Лексика арго насыщена примерами своеобразной многозначности (своеобразной «семантической аморфности»), отмечаемой и другими исследователями). Например, в арго пензенских портных слово *свѣтлик* означает «день», «утро», а также «солнце», «свет» и «окно», «огонь» и т. п. Характерны значительные расхождения в семантике одних и тех же слов по вариантам арго: например, *кбторь* — это «мальчик», «парень», «человек», «брат»; *кочевѣ* — «голова» и «шапка»; *гальмб* — «молоко» и «масло» и т. п.

В этом же разделе читатель находит краткую сводку опубликованных и рукописных материалов по условным русским арго (с начала XVII в. до наших дней).

Изучение условных арго имеет значение как для общего языкознания, так и для познания закономерностей русского языка, а также для изучения социально-экономической истории общества. Известно, например, что В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» отмечал особый жаргон жителей с. Красное (так называемый условный «матройский язык») в качестве характерной черты территориальной замкнутости, свойственной мануфактуре.

Анализ иноязычных включений в арго дает в ряде случаев уникальные сведения об экономических, культурных и иных связях русского населения с народами других национальностей.

Совершенно справедливо, на наш взгляд, замечание автора о том, что необходимо более четкое разграничение диалектной и арготической лексики — в связи с подготовкой ряда региональных диалектологических словарей и сводного «Словаря русских народных говоров». Действительно, без хорошего знания условно-профессиональных арго невозможно правильно квалифицировать слова, являющиеся в одних местах диалектизмами (например, *дубѣс* «сарфан» или *басарѣля* «овца» — в говорах Среднего Урала), а в других — арготизмами (те же слова в условных языках костромских или горьковских шерстобитов).

В основном разделе книги — «Условные языки как особый тип социальных диалектов» — автор прежде всего останавливается на проблемах, связанных с социальной основой языковой дифференциации и на функциях условно-профессиональных языков.

В факте существования социальных диалектов, по-своему отражающих неоднородность социальной структуры общества, нагляднее всего видна органическая связь собственно языковых и внеязыковых явлений. Как известно, признание этой связи и стремление к исследованию ее конкретных форм и проявлений характеризует марксистское языкознание с момента его появления в XIX в. (см. работы К. Маркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга) вплоть до наших дней. Недифференцированный подход к социально обусловленным фактам языка со стороны ряда буржуазных языковедов (когда под общую рубрику «специальных языков» подводятся «языки» религии, права, канцелярии, поэзии, крестьян, нищих, охотников, горняков, печатников, торговцев, моряков, солдат, науки, философии и т. п.) не только затрудняет выяснение чisto языковой специфики принципиально различных категорий, но и дает искаженное представление об их связях с экстралингвистическими явлениями (Хирт, Бауман, Гюнтер и др.).

В соответствии с представлениями автора, условно-профессиональные арго имели несколько функций (или коммуникативных назначений). Основная их функция — конспиративная (эзотерическая, засекречивающая, а также эфемистическая). Другая их функция (обычно выраженной слабее) — экспрессивная, или эмоционально-выразительная. В том, что профессиональному арго, помимо функции засекречивания, свойственна и экспрессивная функция, крестя, по мнению В. Д. Бондалетова, причина того, что, несмотря на уничтожение социально-экономической базы — отсутствие у нас корабейничества и отходничества, — условная речь кое-где частично сохраняется и теперь: «Утратив свою основную, конспиративную функцию, эти „языки“ держатся своей второй, экспрессивной функцией. С ее утратой наступит полное и окончательное исчезновение условно-профессионального арго» (стр. 19).

Являются ли условно-профессиональные языки искусственными? Отвечая на этот вопрос, автор приводит различные (часто взаимоисключающие) точки зрения, анализирует факты, свидетельствующие об искусственности арго или, напротив, сближающие их с естественными языками, и приходит к общему выводу: условные языки занимают промежуточное положение между языками искусственными и естественными. Их формирование как языков секретного общения и использование в этой функции несомненно было связано с вмешательством сознательного творчества; однако это сознательное вмешательство не простиралось на всю лексическую систему, а касалось лишь отдельных ее элементов. Жизнь условных языков (пополнение словаря, образование «диалектов» и т. п.) в основ-

ном протекает по естественному закону, мало поддающимся сознательной регуляции.

Главными носителями условных арготизмов являются следующие три группы: 1) ремесленники-отходники (портные, валяльщики, шерстобиты, шорники, жестяники, печники, штукатуры, бондари, коновалы и др.); 2) торговцы-разносчики (офены, прасолы, «маяки», «крестовики») и базарные торговцы (лошадиные барышники и др.); 3) профессиональные нищие (старцы, «любки», монахи-«лабори», музыканты-лирники и др.).

Не менее 95% лексического фонда каждого арготизма составляют обозначения обычных, «повседневных» предметов, признаков, действий и т. д., не имеющих прямого отношения к профессии арготирующего. Собственно «профессиональная» лексика присутствует в них в виде примеси к непрофессиональной массе слов. Так, в арготе орловских шорников, пензенских валяльщиков и портных профессиональные слова составляют примерно 4% их лексики; у костромских шерстобитов, ивановских холодных кузнецов — около 3%, у калужских портных — около 5% и т. д.

По наблюдениям автора, наиболее значительна в количественном отношении профессиональная лексика у ремесленников-отходников, занимавшихся обработкой шерсти. Беднее профессионализмами арготизмы портных. Очень бедны профессиональными словами-арготизмами условные языки прасолов (лошадиных барышников) и коновалов. Единичны арготизмы-профессионализмы также в условном арготе пензенских свечкоделов и торговцев свечами. Это особенно показательно на фоне того, что в общенародном языке, например, в профессиональной речи воскобоев и пчеловодов мы видим богатую терминологию для обозначения сортов воска и различных процессов его обработки.

На материале одного из вариантов арготизма (аблязовских портных, с типичным словарным запасом в 400—450 слов) автор дает представление о лексико-понятийной системе условно-профессиональных языков (стр. 28—29).

Критически анализируя опыты предыдущих классификаций, В. Д. Бондалетов выделяет восемь основных типов арготизмов (в зависимости от характера отличия «условного» слова от соответствующих слов общенародного или диалектного языка): 1) словарные арготизмы (например, *воксёр* «лес», *чулкс* «бог»); 2) словообразовательные арготизмы (*кадёга* «кадка», *пекёра* «печь»); 3) словарно-фонетические арготизмы (*филэто* «пальто», *вёчело* «человек»); 4) фонетико-морфологические арготизмы (*саёмка* «сад», *хвостёрка* «хвост»); 5) фонетико-словообразовательные арготизмы (*тележная* «стелга», *четырин* «четыре»); 6) семантические арготизмы (*домовый* «мельник», *аршин* «купец»); 7) семантико-грамматические арготизмы (*скрипячая* «дверь», *сидячий* «стул»); 8) функциональные арготизмы (*неботарь* «сапожник», *пищаль* «ружье»). На стр. 36—45 рецензируемой книги подробно анализируются выделенные типы или разряды.

В заключительных разделах говорится о принципиальных различиях между условно-профессиональными языками и воронским жаргоном (это два разных типа условной речи, вызванных к жизни разными социальными причинами и имеющих разное функциональное назначение), а также рассматриваются социально-экономические предпосылки отмирания условно-профессиональных арготизмов и основные закономерности этого процесса.

Возникнув еще в недрах феодального общества как отражение замкнутости профессиональных объединений (корпораций, артелей и т. п.), условные языки в эпоху зрелого капитализма становятся категорией пережиточной. Однако капитализм со свойственными ему противоречиями и экономической многоукладностью не может нанести уничтожающего удара по всем старым профессиям (ремеслам), включая и мелкую торговлю вразнос, «отхожие промыслы». Территория распространения условно-профессиональных арготизмов неуклонно сужалась, однако еще в XIX в. они бытовали в десятках городов и тысячах сел более чем 20 губерний. И лишь Великая Октябрьская социалистическая революция впервые создала экономические предпосылки для уничтожения социальной основы, порождавшей или поддерживавшей существование языков старых отхожих промыслов и примитивных форм торговли. О деградации и исчезновении их в наши дни свидетельствуют следующие выделяемые автором факторы: 1) уменьшение числа лиц, владеющих условной речью; 2) сужение территории распространения арготизма; 3) функциональное преобразование арготизма — превращение его из средства конспиративной и эзотерической коммуникации в средство своеобразной экспрессии экзотерического порядка; 4) омертвление всех приемов арготического словотворчества и катастрофическое уменьшение объема словаря.

В «Примечаниях» содержится ссылка на использованную научную литературу; список, превышающий 200 названий — наиболее полная из опубликованных библиографий по арготической речи.

В «Приложениях» даются тексты на условных арготизмах XVIII—XX вв. (стр. 77—82), а также «Офенско-русский словарь» (около 600 слов), составленный по материалу, собранному в 1961 г. в Вязниковском р-не Владимирской обл. Ценность такого рода материалов состоит в том, что перед нами синхронная запись, сделанная в пределах конкретной территории, а не обычный в таких случаях свод-

ный асинхронный реестр слов, носящий не собственно лингвистический, а скорее этнографический характер. В ряде случаев, однако, в словарь включен не собственно арготический материал; иногда это оговаривается в комментариях к слову (например, *зйбать* «говорить»), а иногда нет (сомнительно, на наш взгляд, включение таких просторечных общерусских слов, как *пацёнок* «подкидыш», *носопёрка* «нос», *мастёрка* «дело», ср. *мастёрить* «мастерить, делать что-н.», *бикрёнь* «бок», ср. *набекрёнь*, *сивонить* «морозить, дуть», ср. *просифонить* «продуть на сквозняке, на ветру» и некот. др.).

В целом книга В. Д. Бондалетова представляет собой первую в нашей научной литературе обобщающую теоретическую работу по одному из типов социальных диалектов, имеющему интересную судьбу в истории русского языка. Она вводит в научный оборот большой и необычный по своей повизне лексический и фразеологический материал, предлагает целый ряд самостоятельных теоретических положений и принципиально новых решений сложных вопросов частной социолингвистики.

Книгу В. Д. Бондалетова характеризует методологическая четкость позиции, композиционная ясность, доступность изложения. Эти качества особенно важны для работы, являющейся не только ис-

следованием, но и учебным пособием. Книга рекомендована Министерством просвещения РСФСР в качестве учебного пособия по спецкурсу «Социолингвистика», а также по курсам «Общее языкознание», «Введение в языкознание».

В последующих выпусках пособия, как это явствует из предисловия, будут рассмотрены основные способы образования арготизмов, иноязычные элементы в словарном составе арго, дан анализ сходства и различия между русскими условно-профессиональными языками, поставлен вопрос об их происхождении (из одного или нескольких источников), а также показано отражение арготической лексики в диалектологических словарях русского языка и рассмотрен вопрос о лексикографическом оформлении арготических словарных материалов.

Таким образом, с выходом всех выпусков (их предполагается три или четыре) будет закончено первое в отечественном языкознании фундаментальное монографическое описание — на большом фактическом материале — условных языков русских ремесленников и торговцев как одного из важнейших социальных диалектов русского языка. В заключение можно пожелать их скорейшего опубликования.

Л. И. Скворцов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12—15 мая 1975 г. в г. Уфе при Башкирском пед. ин-те проходила VIII межвузовская конференция Казанского зонального объединения кафедр русского языка по вопросам морфологического строя русского языка и методики обучения морфологии в вузе и школе. В ее работе приняли участие представители научных и учебных учреждений Москвы, Ленинграда, Самарканда, Уфы, Казани, Чебоксар, Сыктывкара, Глазова, Стерлитамака, Йошкар-Олы, Елабуги, Бирска. Было прослушано 75 докладов, посвященных актуальным проблемам современного русского языка, его истории и методики преподавания в школе и вузе.

Конференцию открыл ректор Башкирского пед. ин-та Р. Г. Кузеев. С информацией о работе Казанского зонального объединения выступила председатель зоны Л. З. Шакирова (Казань). О работе органов народного образования и кафедр русского языка педагогических институтов по совершенствованию обучения русскому языку в школе говорила зам. нач. Управления школ Министерства просвещения РСФСР С. А. Чехова, обратившая особое внимание на профессиональную направленность обучения студентов и на тесную связь кафедр зоны со школой.

И. В. Баранников (Москва) ознакомил участников конференции с современными требованиями к исследованию нарушений грамматических норм русского языка нерусскими учащимися и студентами.

О совершенствовании подготовки учителей русского языка для национальных школ говорил ректор Казанского пед. ин-та М. З. Закиев. Докладчик рассказал о сложившейся в институте системе подготовки учителя-русиста для национальных школ.

Л. З. Шакирова в докладе «Научные основы изучения морфологии русского языка в тюркоязычной школе» подчеркнула необходимость научного обоснования содержания и системы обучения морфоло-

гии русского языка в национальной школе. При этом важно учитывать особенности русского и родного языка учащихся и руководствоваться устойчивыми достижениями современной лингвистики и дидактико-психологическими принципами обучения.

В докладе В. И. Кодухова (Ленинград) был дан анализ системы знаний по глаголу в вузовских курсах. Докладчик подчеркнул, что лингвистика усвоила системность в большой степени как логическую проблему, как принцип и методику рассмотрения отдельных явлений и категорий. Однако системность предполагает также принцип многоаспектности, согласно которому изучаемое явление рассматривается со всех сторон, во всех связях в разных лингвистических курсах. Был проанализирован вопрос о морфологии глагола как системе форм и категорий (вид, время и т. д.) и отмечено, что в вузовском преподавании недостаточно освещены лексикологический и особенно стилистические аспекты глагола. А. Н. Стеценко (Москва) в своем выступлении показал роль лингвистических дисциплин исторического цикла в подготовке учителя русского языка в национальной школе. Доклад акад. АН СССР А. В. Телуева (Москва) был посвящен одному из важнейших вопросов современной методики русского языка — проблеме языкового развития учащихся. Докладчик подробно остановился на характеристике этого процесса, начиная с речи детей трех-пяти лет и кончая речью выпускников средней школы.

На конференции работало четыре секции.

На секции современного русского языка были обсуждены различные аспекты основных морфологических категорий русского языка. Большая часть докладов была посвящена глаголу.

В докладе Г. Н. Акимовой (Ленинград) рассматривается так называемый союдинный куст, организуемый финитным глаголом. При сопоставлении его с субстантивным кустом,

с одной стороны, а также с нелично-глагольными кустами (причастным, деепричастным, инфинитивным) — с другой, отмечается максимальная критическая ширина глагольно-финитного куста в связи с ведущей ролью личного глагола в структурной и семантической организации предложения. Л. Л. Булагин (Ленинград) понимает залог как систему форм глагола, способных/неспособных обозначать направленность действия на предмет, обозначенный подлежащим. Морфологическая проблематика залога, которую автор считает самостоятельным, независимым от синтаксиса аспектом, заключается, во-первых, в установлении системы залоговых форм, во-вторых, в определении их морфемного состава, и, в-третьих, в квалификации характера залоговой оппозиции. Л. А. Варакин (Уфа) показал, что во многих глагольных рядах совпадение обобщенного лексического значения приставки и производящей основы приводит к подавлению (нейтрализации) значения префиксальной морфемы (*группировать* — *группировать*, *пеленать* — *запеленать*). Актуализированным моментом становится момент грамматический (значение совершенного вида). Поэтому префикс является показателем перфективации.

Семантическая структура переходных глаголов рассмотрена Т. А. Кильдибековой (Уфа). Л. В. Иванова (Уфа) осветила приемы использования глагольных структурно-семантических типов в целях стилистической аранжировки текста. Вопросу об именном и глагольном окказиональном образовании в русском языке (на материале шпем А. П. Чехова) посвятила свое выступление В. Е. Захарова (Глазов). Структурно-грамматические связи глаголов движения и производных имен действия проанализировала А. М. Хамидулина (Уфа). О сдвиге видового значения глаголов под влиянием перфективирующих условий контекста говорила Л. П. Брюкова (Чекбоксары).

Большое внимание присутствующих привлекли доклады, посвященные общетеоретическим вопросам. Много выступлений в прениях вызвал доклад Л. М. Васильева (Уфа) «Морфологические категории», в котором были рассмотрены некоторые типы грамматических категорий в их отношении к частям речи. А. А. Панова (Глазов) пришла к выводу, что морфема на соответствующем ей уровне лишена лексического и грамматического значения; на уровне слова она приобретает реляционное значение, которое может быть обнаружено при ассоциативном и парадигматическом анализе. Слово в противоположность морфеме обладает значением безотнесенности к его парадигматической соотнесенности. Л. А. Андреева и С. Ф. Занько (Казань) в совместном докладе показали

лексико-грамматические способы выражения понятия состояния в русском языке, причем для их выделения были использованы чисто семантические критерии. Подуменная картина лексико-грамматических средств выражения понятия состояния резко контрастирует с тем, что обычно включается в состав категории состояния. В. В. Новицкая (Уфа) попыталась выявить морфологические средства выражения категории количества в русском языке.

Г. М. Частова (Уфа) наметила принципы выделения морфем переходного типа (префиксоидов). Р. М. Трифонова (Уфа) считает, что к числу морфологических чередований следует относить только те, которые обусловлены морфологической позицией. Последняя определяется, исходя из характера альтернирующей фонемы и морфемы, вызывающей альтерниацию фонем. В. И. Котлеев (Чекбоксары) предложил стратификационную модель языковой структуры и установил место фонемы в иерархии языковых уровней с позиций отечественных фонологических школ.

Разнообразной была тематика докладов, посвященных анализу отдельных частей речи: синонимические образования в области имен прилагательных (Г. Б. Таймасова, Чекбоксары), периодизация процесса формирования наречий (М. В. Потапешкина, Стерлитамак), характеристика гибридных слов, совмещающих функцию союза и частицы (Н. А. Андрамонова, Казань). Вопросы словообразования были затронуты в докладах Э. А. Шагинурова (Бирск) и С. А. Карпухина (Стерлитамак).

В нескольких докладах были рассмотрены синтаксические аспекты морфологических категорий. А. С. Попов (Глазов) показал, что числительные, обладая несогласуемой категорией падежа (именительного), характеризуются грамматической предметностью. Их можно рассматривать как особую (ущербную) группу существительных, выступающих в предложении в роли подлежащего и имеющих разнообразные по форме заместители. В докладе Г. К. Хамидиной (Казань) описаны особенности функционирования предикативных единиц в языке современной художественной прозы. Г. С. Шпарага (Стерлитамак) проанализировала способы морфологического выражения стержневого слова в сравнительных оборотах на материале произведений М. Шолохова. Предметом особого обсуждения на секции явился вопрос о методах и приемах проведения практических и лабораторных занятий по курсу современного русского языка (С. И. Сноцкова, Казань).

На секции диалектологии и истории русского языка основными были вопросы, связанные с

эволюцией глагольных форм в русском языке. А. Н. Стеценко свой доклад «История дееспричастий» посвятил истории именных действительных причастий и образованию дееспричастий. На материале древнерусских памятников было показано употребление именных действительных причастий в предикативной функции и процесс превращения их в дееспричастие. В докладе С. П. Лопушанский (Казань) были сообщены результаты исследования простых глагольных форм прошедшего времени по материалам различных списков русских летописей и других памятников XI — XIV вв. Сравнительно-исторический, структурно-семантический и статистический анализ языкового материала позволил автору показать существенно важную роль перегруппировки глагольных основ в эволюции древнерусской оппозиции аорист: имперфект и в становлении единой претеритальной формы на -а в русском языке. А. И. Софронова (Казань) проследила тесную взаимосвязь между единым направлением семантико-стилистического развития группы глаголов с префиксом *воз-* одного словообразовательного типа и общей тенденцией в изменении их морфологической структуры. А. А. Аминова (Казань) в своем докладе затронула вопросы, связанные с проблемой глагольной синонимии, и показала механизм развития синонимических отношений приставочных глаголов, принадлежащих к разным лексико-семантическим типам. И. Э. Еселевич (Казань) исследовала специфику включения собирательных существительных в числовые противопоставления и вскрыла причины распада числовой парадигмы у ряда собирательных имен с учетом их семантической и словообразовательной эволюции.

В ряде докладов была рассмотрена история и дальнейшая эволюция форм, генетически восходящих к древнейшим славянским **ŷ-*основам. В докладе Ю. П. Чумаковой (Уфа) уточняется ранняя семантическая структура праславянского образования **činŷ < činŷ < *keŷnŷ-*, в результате чего в круг древних основ на **ŷ-* включаются апофонические варианты **činŷ/*čelŷ*, отраженные в специальной ткаческой терминологии всех славянских языков. Л. С. Андреева (Казань) на материале рукописных источников XVI — XVII вв. показала взаимодействие словообразовательных типов имен существительных и прилагательных, генетически восходящих к основам на **-ŷ*. Л. И. Коналова (Казань) проанализировала синтаксические условия параллельного употребления форм род. пад. на *-а* и *-у* в деловых памятниках XVI — XVIII вв. В. Е. Ушаков (Иошкар-Ола) в докладе «Акцентные варианты имен существительных в древнерусском языке XIV в.»

привел многочисленные случаи колебаний в акцентуации существительных, что является отражением противоречивых тенденций развития древнерусской акцентной системы.

Синтаксическая проблематика истории русского языка затронута в докладе О. М. Трахтенберг (Стерлитамак), показавшей, что изменения в глагольном управлении периода формирования русского национального языка происходят в зависимости от изменений в префиксальном оформлении глагола, и в сообщении А. М. Кирсановой (Елабуга), рассмотревшей особенности структуры предложно-падежных словоформ со значением условия в русском языке конца XVIII — начала XIX в.

Специальное заседание секции было посвящено вопросам русской диалектологии, среди которых центральное место заняла проблема межязыковых контактов русских говоров в окружении тюркоязычного и финно-угорского населения (М. С. Михеева, Сыктывкар; А. А. Аюпова, Уфа). Р. Ю. Юналеева (Казань) в докладе «Из истории русских слов с тюркским корнесловом *баш*» проследила судьбу такого рода лексем в русском языке на материале памятников XVI — XVII вв. и словарей последующего периода. Р. Д. Антонова (Казань) пришла к выводу, что при выяснении качества гласных заударных слогов следует учитывать не только их удаленность от ударения, но и принадлежность к той или иной грамматической категории.

Впервые на конференциях зоны на заседании специальной секции были обсуждены вопросы вузовской методики. Большая часть докладов и сообщений секции методики преподавания русского языка в вузе была посвящена изучению словообразования в курсе современного русского языка (И. А. Исаева, Йошкар-Ола; Г. А. Анисимов, Т. Н. Семенова, Т. Э. Хмара-Борщевская — Чебоксары; Ю. А. Харатьян, Стерлитамак). О постановке спецкурса и спецсеминара по применению технических средств на кафедре русского языка Казанского пед. ин-та сообщила Г. А. Жданова (Казань). Ряд докладов затрагивал проблему усвоения студентами национальных групп глагольных форм на занятиях по практическому курсу русского языка (Ф. Ю. Ахмадуллин, Казань; Т. П. Алексеева, Стерлитамак; А. Я. Медведева, Чебоксары; Л. Е. Юрсова, Стерлитамак).

Работа секции методики преподавания русского языка в школе была посвящена различным проблемам обучения русскому языку в национальной и русской школе: анализу системы способов словообразования в учебниках IV — VI классов (А. Н. Тихонов, Самарканд), трудным для нерусской аудитории аспектам морфоло-

гии русского языка (М. Г. Хайруллина, Уфа; А. Ш. Асадуллин, Казань; Р. В. Альмухаметов, Уфа), проблеме развития речи учащихся (Н. А. Мунькова, Казань; А. Б. Ишемгулова, Уфа; С. Г. Сунаршин, Уфа; Т. И. Газеева, Стерлитамак). Важный вопрос о взаимосвязи морфологии и синтаксиса при обучении русскому языку учащихся национальной школы был поставлен в докладах К. Б. Ишемгуловой (Уфа), Г. А. Анисимова (Чебоксары), С. Я. Янгировой (Бирск), К. З. Закирьянова (Уфа).

Результаты обучающих экспериментов, проведенных в татарских и марийских школах по теме «Глагол», представлены в

в докладах Р. Б. Гарифьяновой (Казань) и С. П. Лосевой (Йошкар-Ола).

На заключительном пленарном заседании конференции были приняты решения, направленные на дальнейшее повышение научно-теоретического и учебно-методического уровня преподавания русского языка в вузах зоны. Проведение конференции способствовало обмену мнениями по наиболее актуальным вопросам теории и методики преподавания русского языка и координации научно-исследовательской и методической работы кафедр русского языка, входящих в зональное объединение.

Л. А. Андреева (Казань)

XVII пленарное заседание Международного комитета славистов

В Берлине и Баутцене (ГДР) 2—8 сентября 1975 г. состоялось XVII пленарное заседание Международного комитета славистов (МКС), в котором приняли участие слависты — представители 23 стран. Советская делегация была направлена на это заседание в следующем составе: председатель Советского комитета славистов (СКС), вице-председатель МКС акад. М. П. Алексеев (руководитель делегации), зам. председателя СКС чл.-корр. АН СССР Д. Ф. Марков, председатель Белорусского комитета славистов, член МКС чл.-корр. АН БССР М. Р. Судник, ответственный ученый секретарь СКС д-р филол. наук А. Н. Робинсон и ст. научн. сотр. Секции общественных наук Пре-

зидиума АН СССР канд. филол. наук В. С. Барахов.

Главной задачей заседания МКС была разработка тематики VIII Международного съезда славистов (Югославия, Загреб — Люблина 1978 г.), в соответствии с которой все национальные комитеты славистов должны представить в МКС конкретные темы докладов. Советский комитет славистов принимает до 1 марта 1976 г. от соответствующих научных организаций темы докладов (с краткими аннотациями и указанием пунктов тематики съезда, к которым они относятся) для их рассмотрения и отбора. Ниже публикуется утвержденная МКС тематика VIII Международного съезда славистов.

Тематика VIII Международного съезда славистов

Общая тематика

1. Проблемы развития славянских языков, литератур, фольклора и истории культуры в XX в.
2. Теоретические и методологические

- проблемы сравнительных исследований в славистических дисциплинах, включая вопросы их сопоставления и типологии.
3. Л. Н. Толстой и наше время*.

Секционная тематика

I. Языкознание

1. Основные тенденции и новейшие явления (включая и социолингвистические) в развитии славянских языков и диалектов в XX в.
2. Проблемы диахронической и синхронической морфологии и морфонологии славянских языков.
3. Контакты славянских языков между собой и с неславянскими языками.
4. Проблемы типологии систем славян-

- ских языков, особенно в области синтаксиса.
5. Проблемы этимологии и семантики славянских языков.
 6. Основные направления науки о славянских языках в XX в.
 7. Основные проблемы развития древних славянских языков.
 8. Славянская ономастика и ее место среди гуманитарных наук*.

* Звездочкой помечены темы, которые имеют значение для нескольких славистических дисциплин.

II. Литературоведение

1. Мировое значение славянских литератур XX в. и развитие литературных направлений и жанров (поэзия, проза, драма).
2. Методологические основы сравнительного изучения славянских литератур.
3. Поэтика и типология славянского романа в контексте европейского романа.
4. Закономерности развития древних славянских литератур (генезис, контакты, типология).
5. Античное наследие в славянских литературах.
6. Л. Н. Толстой и наше время.

III. Литературно-лингвистическая проблематика

1. Литературные стили и развитие поэтического языка в славянских литературах в XX в.
2. Устное народное творчество и его соотношение с письменной литературой и развитием средств языковой выразительности.
3. Проблемы интерпретации и художественного перевода славянских текстов (включая поэтику) и проблемы текстологии.
4. Стилистическая формация как проблема литературной периодизации.

5. Критерии различения литературно-лингвистических единиц в произведениях отдельных авторов и определенных периодов.
6. Литературно-лингвистическая проблематика в произведениях Л. Н. Толстого.

IV. Фольклористика

1. Фольклор славянских народов в XX в. Новые процессы в народной культуре. Соотношение с литературой.
2. Поэтика и стилистика славянского фольклора на сравнительной основе*.
3. Язык фольклора с учетом диалектов и в соотношении с литературным языком*.
4. Связи между славянским и неславянским фольклором.

V. Историческая проблематика

1. Основные проблемы истории и истории культуры славянских народов в XX в.
2. Национально-освободительные движения южных славян во второй половине XIX в. и отношение других славянских народов к этим движениям.
3. Этногенез славянских народов (включая связь с античностью)*.
4. Проблемы истории славистики*.

CONTENTS

Articles: Fr. K o p e č n y (Brno). On the new etymological dictionaries of Slavonic languages; **Discussions:** O. P. S u n i k (Leningrad). On some topical problems of Altaic studies; B. K. G i g i n e i š v i l i (Tbilisi). Case system of common Daghestanian in the light of the general theory of ergative structure; M. M. M a k o v s k i j (Moscow). Correlation of individual and social factors in language; I. P. I v a n o v a (Leningrad). Word-structure and grammatical categories in Germanic languages; A. A. B r a g i n a (Moscow). Synonyms or quasi-synonyms?; **Materials and notes:** T. I. D e š e r i e v a (Moscow). On the definition of the verbal aspect category; E. R. T e n i š e v (Moscow). On the language of the Kalmucks in Issyk-Kul; V. I. I v a n o v (Čeboksary). Correlation of sentence and paragraph length; M. A. P e i s a k h o v i č (Rovno). Astrophic verse and its forms; **From the scientific heritage:** S. O. K a r c e v s k i j. Comparison; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Fr. K o p e č n y (Brno). A propos des nouveaux dictionnaires étymologiques des langues slaves; **Discussions:** O. P. S u n i k (Léningrad). Problèmes actuels des études altaïques; B. G i g i n e i š v i l i (Tbilisi). Système des cas en daghestanien commun à la lumière de la théorie générale de la structure ergative; M. M. M a k o v s k i j (Moscou). Rapports des aspects individuels et sociaux de la langue; I. P. I v a n o v a (Léningrad). Structure du mot et catégories morphologiques des langues germaniques; A. A. B r a g i n a (Moscou). Synonymes ou quasi-synonymes?; **Matériaux et notices:** T. I. D e š e r i e v a (Moscou). Contribution à la définition de l'aspect verbal; E. R. T e n i š e v (Moscou). La langue des kalmouks d'Issyk-Koule; V. I. I v a n o v (Čeboksary). Rapports de longueur entre proposition et alinéa; M. A. P e i s a k h o v i č (Rovno). Vers astrophique et ses formes; **De l'héritage scientifique:** S. O. K a r c e v s k i j. Comparaison; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — «Български език»
 ВЯ — «Вопросы языкознания»
 ВИ — «Вопросы истории»
 ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
 ВФ — «Вопросы философии»
 ВДИ — «Вестник древней истории»
 ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
 ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
 «Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
 «Ип. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
 РФВ — «Русский филологический вестник»
 ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
 ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
 ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук
 (Росс. АН), АН СССР»
 СбНУ — «Сборник за народни умотворения»
 ФП — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
 ADAW — «Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für
 Sprachen, Literatur und Kunst
 AfsIPh — «Archiv für slavische Philologie»
 AKGW — «Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
 AL — «Acta linguistica»
 AO — «Archiv orientalni»
 APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse
 BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językosnawczego»
 BSLP — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris»
 BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»
 BCLC — «Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague»
 BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
 CFS — «Cahiers F. de Saussure»
 IF — «Indogermanische Forschungen»
 IJJ — «Indo-Iranian journal»
 IJAL — «International journal of American linguistics»
 JA — «Journ. asiatique»
 JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
 JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»
 JФ — «Јужнословенски филолог»
 JP — «Język polski»
 JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
 JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
 ISFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
 KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermani-
 schen Sprachen»

- MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
MSFOu — «Mémoires de la Société finno-ougrienne»
MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen u. Halle)
PMLA — «Publications of the modern language association of America»
REG — «Revue des études grecques»
RÉSŁ — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»
RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego»
RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
RLR — «Revue de linguistique romane»
RO — «Rocznik orientalistyczny»
SaS — «Slovo a slovesnost»
SMS — «Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, narodopis a literárnu históriu»
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or. — «Studia orientalia»
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
UAIb — «Ural-Altäische Jahrbücher»
UJB — «Ungarische Jahrbücher»
ZfeltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slawistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Неприятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

ИСПРАВЛЕНИЯ

В № 4, 1975 г. на стр. 104 в ст. 17 следует читать: Г. А. Меликишвили, на стр. 107 в ст. 55: З. Сарджвеладзе.

Последний абзац на стр. 113 должен начинаться словами: «В именниках народов Кавказа возрастает доля имен, употребляемых у русских¹¹². Этому посвящали свои исследования Л. В. Гогичаева и Э. А. Григорян».

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28/X-1975 г. Т-18395 Подписано к печати 30/XII-1975 г. Тираж 7125 экз.
Зак. 3012 Формат бумаги 70 × 108^{1/16} Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5^{1/4} Уч.-изд. л. 16,8